

Мне всегда была близка революционная эстетика: взрыв пассионарности, огненно-революционные ценности, наибольший накал ее я вижу в 1917—20-х годах. Мне кажется, что потом все несколько угасало, с каждым последующим периодом система умирает без огненного стержня... Искры революции — это искренность, утверждение ценностей от сердца.

Егор Летов

Два противоположных могущественных мира сошлись и сжигают один другого. Горе стоящим посреди!

Андрей Платонов. Два мира

Кто более жесток: белые или красные? Вероятно — одинаково, ведь и те, и другие — русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток — наиболее активный.

Максим Горький. О русском крестьянстве



ВОЛЬНИЦА

Гражданская война
в забытой прозе
1920-х годов

Москва
2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(0)5
В 71

В 71 Вольница. Гражданская война в забытой прозе
1920-х годов — М.: Common place, 2017. — 370 с.
ISBN 978-999999-0-30-1

В настоящий сборник вошли художественные произведения, посвященные первым пореволюционным годам в России, борьбе сторонников и противников наступивших перемен. Авторы — писатели-попутчики, все они так или иначе приняли революцию, но не всегда и не во всем разделяли позицию большевиков. Они писали и о запредельной жестокости Гражданской войны, и о стихийном характере народных выступлений. «Свой» взгляд на происходящее стоил попутчикам дорого: трое из пяти представленных авторов заплатили за него жизнью.



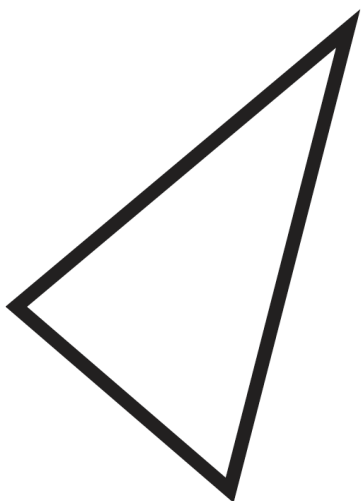
ISBN 978-999999-0-30-1

Публикуется под лицензией Creative Commons
Разрешается любое некоммерческое
воспроизведение со ссылкой на источник

Оглавление

Борис Пильняк. Голый год	8
Андрей Соболев. Салон-вагон	172
Александр Мальшкин. Падение Даира	252
Артем Веселый. Вольница	288
Глеб Алексеев. Мертвый бег	304
 <i>Вместо послесловия</i>	
Максим Горький. Русская жестокость	362

Борис
Пильняк



ГОЛЫЙ ГОД

РОЖДЕННЫЕ В ГОДА ГЛУХИЕ
ПУТИ НЕ ПОМНЯТ СВОЕГО.
МЫ, ДЕТИ СТРАШНЫХ ЛЕТ РОССИИ,
ЗАБЫТЬ НЕ В СИЛАХ НИЧЕГО.

А. Блок

8

ВСТУПЛЕНИЕ

В книге «Бытие разумное, или нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:

«Каждая минута клянется судьбе в сохранении глубокого молчания о жребии нашем, даже до того времени, когда она с течением жизни нашей соединяется; и тогда, когда будущее молчит о судьбине нашей, всякая проходящая минута вечностью начинаться может».

I

ОРДЫНИН ГОРОД

На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход вврата сии.

И вот выписка из постановления Ордынинского Сиротского Суда:

«1794 года Генваря 7-го дня Понедельник в Присутствии Ордынинского Городского Сиротского Суда — господа присутствующие прибыли в двенадцатом часу пополудни:

Дементий Ратчин, градский голова.

Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Зябров, градский староста.

Слушали — — —

Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа именита и честна, благодарить и чествовать.

Расписались — — —

Из Присутствия вышли во втором часу пополудни и проследовали в Собор для молебствия».

9

Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордынинский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге, гусиным пером, с затейливыми завитушками.

Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами, — двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте, в соляных рядах (теперь уничтожены), на торговой площади (теперь

Красная), — каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем, чтобы осьмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков.

Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей стал за прилавок, — с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядьи, в своем двухэтажном доме за воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.

В Кремле были казенные дома и церкви, под Кремлем, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах). Весь день и всю ночь, каждые пять минут били часы в соборе, — дон, дон, дон! — И первыми просыпались в Кремле гуси (свиной в Кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями появлялись кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в Управление будочники со столами на головах (издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам, — надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром, и не в будках, а в канцеляриях, куда приносили им столы). Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и, если спросонья будочник спрашивал:

10

— Кто идет? —

надо было всегда отвечать:

— Обыватель!

В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно, специалистом был околоточный Бабочкин.

Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осенясь крестами, купцы. Пробегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиаль-

ную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым, и единственным пороком его было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат рыболовной его страсти (об этом даже доносил епископу поэт-доносчик Варыгин). Ярыга Огонек-классик кричал отцу:

— Всемиловейший господин!.. Понимаете?.. —

Но батюшка спеша только отмахивался.

А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться ческой. Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему и говорил:

— Великодушный господин! Vous comprenez? Вам говорит Огонек-классик...

И Бланманжов давал семитку. Бланманжов был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике, дома — голая, а летом и осенью фрукты из сада своего продавала в окошко, в одной рубашке.

Приходил к казенке боец Трусков, пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговцы, разносчики. Ярыги покупали собачьей радости и разбредались по делам. Заезжали извозчики на своих «калибрах», спросонья говорили:

— Пожа!.. пожа!..

А над городом подымалось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное. Над землей, над городом, проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные.

Веснами старухи с малолетками ходили к Николае-Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенью мальчишки пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и «новенькими», — на смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии; невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал писателя Надсона, разговор иссякал,

и жених спрашивал про географию; невеста говорила, что она была у Николы-Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где отбывал воинскую повинность. На Николу вешнего, на Петров день, на масленую были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили тайком к доктору Елеазарычу. Зимой по субботам ходили к водопойщику в баню. Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби окунуться разок-другой. По воскресеньям же зимним были кулачные бои, бились с ямскими и реденевскими, начинали с мальчишек, которые кричали: — «Давай! давай!..» — кончали стариками, — но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, веселиться и размножать крупичатых цыганят, а на обратном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи, в Крещенский вечер на всех дверях малевали мелом кресты.

События в городе бывали редки, и если случались *комеражи* вроде следующего:

Мишка Цвелев — слесарев — с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и — давай в окна камнями садить. Цвелев — слесарь на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные, — он на пожарных с топором; пожарные — теку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли, —

— если случались такие *комеражи*, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом.

В соляных рядах на торговой площади около епархиальной лавки стоял рундук — единственная книжная торговля — под вывеской:

ПРОДАЖА И ПОКУПКА
 УЧЕБНИКОВЪ, ЧЕРНИЛЬ, ПЪРЬЕВЪ
 И РУЧЕКЪ.
 И ПРОДЧИХЪ ПЕРИОДИЧЕСКИХЪ
 ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ ИЗДАНИЙ
 А.В. ВАРЫГИНА.

Под рядской иконой Сорока свв. Великомучеников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял картуз на икону, картузы шли в духовное, училище. Заведывал епархиальной торговлей о. Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки на рыбной ловле: — на камнях, якорях или привязи? В епархиальной лавке играли в шашки, и собиралась интеллигенция — Бланманжов, А.В. Варыгин. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели «аблокаты» и языки (слово и дело!): аблокаты писали кляузы и бумаги, языки свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юродивые, — Зябров над ними «измывался»: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачок Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфетные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.

Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:

не — дают, а скалывают,
не — уступить, а сколоть,
не — продавай, а прикалывай,
не — торгуйся, а божись,
не — 150 руб. 50 коп., а арци-иже-он-кон иже-он-кун,
не — 90, а твердо-он.

Покупателям надо было двери отворять и за ними двери затворять: не обмеришь, не обманешь — не продашь. Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на счетах, читал вслух библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и, под вечной лампадой, проучивал, смотря по вине: или двуххвосткой, или валогой. В двенадцать приходил хлебник: давал на хлебника приказчикам пятак, а мальчикам три копейки, выходил к о. Левкоеву поиграть в шашки, по гривеннику партия, — обыгрывал всех молча: чёской заниматься не любил. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.

Запорка была половина восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город засыпал, и на вопрос:

— Кто идет? —

надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:

— Обыватель!..

В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича Ратчина было безмолвно, лишь вечером из подвала, где жили приказчики с мальчиками, неслоь придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штиблеты, а у мальчиков штаны (дабы не шаманались ночами), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым «учил». В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось, горела лампада. Вечером, за ужином, Иван Емельянович сам резал во щях солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:

— Ешь со всем!

Ивана Емельяновича звали не иначе, как — сам и папаша. Жили под пословицею: «Папаша придет — все дела разберет»¹. Была у Ивана Емельяновича дебелая жена, гадавшая на кофе о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душевной спальне Иван Емельянович долго молился, — о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих, — читал псалмы. Спал чутко, мало, — по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечою, снова молился, пил чай, приказывал — и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может, потому, что это был день?), и из коморок выползали к «самой» приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол своего сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости-родня. 24 июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощенное воскресенье приказчики и мальчишки кланялись Ивану Емельяновичу в ноги, и он говорил каждому:

— Открой рот, дыши! — чтобы учуять водочный запах.

Так, между домом, лавкой, библией, поркой, женой, Машухой, — прошло сорок лет. Так было каждый день — так было сорок лет, — это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.

Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было все: и бабки, и чушки, и купанье на реке у перевозчика, и змеи с трещоткой, и голуби, и силки для щеглят, и катанье на простынках, и покупка-продажа подков, и кулачные бои, — это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме как в училище

¹ Пословица гласит: «Дело не наше, сказала мамаша, папаша придет — все дела разберет».

и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам возрос, кольцами завилась русые кудри. Сердце Доната было создано к любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буэнос-Айрес, в Нью-Йорк, — перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу, — городское училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием: Бланманжов так и задавал: выучить к завтраму путешествие в Йоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь. Донат полюбил комнатную девушку Настю, черноокою и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух Жития свв. Отец. Настя садилась против, опирала ладонями голову в черном платочке, и — пусть никто кроме нее не слушал! — Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя, — великим постом они говели и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Ордынине двадцать семь церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, приметил Доната с Настей, сообщил о Левкоеву, а тот Ивану Емельяновичу. Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрал Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-Ламе и поставил единицу, потому что к Далай-Ламе европейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его коло-

кольным звоном, тихие Настины глаза — навсегда остались прекраснейшими в жизни Доната.

Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку, через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в «Европу». Стал ходить с отцом за прилавков. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белоборского монастыря о. Пименом; летом заходил к нему ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруде, гуляли по парку, затем в келии, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, вроде следующего:

О, дево! крине рая!
Молю тя, воздыхая:
Воззри на мя умильно,
Тя возлюбил бо сильно!²

Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели «Коперника»³ («Коперник целый век трудился...») и «Сашки-канашки» с припевом на мотив «Со святыми упокой». Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквями, врос-

2

Вот продолжение стихотворения:
Чернец аз есмь смиренный,
Зело в тя влюбленный,
Забывый об обете
(Держи сие в секрете!)
И, аще не противен
Тебе аз, грешный Пимен,
Молю лобзанье дати.
В субботу аз тя ждати
У врат священных буду...
Затем... порнография.

3

«КОПЕРНИК ЦЕЛЫЙ ВЕК ТРУДИЛСЯ»...

шими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, — и Пимен же рассказывал Донату о том, что есть в мире тоска. Пимен же познакомил Доната с Урываихой: июньскими бессонными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице-вдове миллионера-ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в двухспальную постель. Любили страстно, шептались — говорили — ненавидели — проклинали. Ростовщик Урываев — семидесятилетним — семнадцатилетней взял Оленьку в жены, для монастырского блуда, вытравил в ней все естественное, умирая завещал ей опеку. Красавица-женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, «замудровал»...

Но и эта последняя любовь Доната была недолгой, — на этот раз донес, донос в стихах написал поэт-доносчик А.В. Варыгин.

Кто знает?

Кто знает, что было бы с Донатом?

В 1914 году, в июне, в июле горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушьи.

В 1914 году загорелась Война и за ней в 1917 году — Революция.

18

В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали — на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты — убивать и умирать. Доната угнали в Карпаты. В Ордынине провожали солдат до Ямской слободы.

Первым погибнул в городе Огонек-классик, честный ярыга, спившийся студент, — умер, — повесился, оставив записку:

«Умираю потому, что без водки жить не могу.
Граждане и товарищи новой зари! — когда класс
изжил себя — ему смерть, ему лучше уйти самому.
Умираю на новой заре!»

Огонек-классик умер пред новой зарей.

В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу, — и последний раз схитрили купцы, «отцы города»: инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то полное свое согласие, но назначили столь несуразно мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах, на заводе. Поезда пробегали мимо города, как угорелые, — и все же первый поезд встречали обыватели, как праздник, — вываливали к Вологе, а мальчишки для удобства залезали на крыши и ветлы.

И первый поезд, который остановился около самого Ордынина, — это был революционный поезд. С ним вернулся в Ордынин Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юности, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое, и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить — старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.

По древнему городу, по мертвому Кремлю ходили со знаменами, пели красные песни, — пели песни и ходили толпами, когда раньше древний, канонный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами с волкодавами у ворот. Кругом Ордынина лежали леса, — в лесах загорались красные петухи барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.

Дом купца Ратчина был взят для Красной гвардии. В доме Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду с винтовкой, кудри Доната вились по-прежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь — страсти и ненависти. Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбегались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната, на их месте строился Народный Дом.

Вот и все.

Вот еще что (кому не лень, иди, посмотри!): каждый

день в без пяти семь утра к новой стройке Народного Дома, как раз к тому месту, где была торговля «Ратчин и Сын», приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью, — каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это — Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.

В городе — голод, в городе скорбь и радость, в городе слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешочники, оспа и тиф.

На кремлевских ордынинских воротах уже не надписано:

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход воврата сии.

Впрочем, в городе, кроме купцов, были дворяне, мещане и разночинцы, город же лежит за тысячу верст отовсюду, в Закамьи, в лесах, и в город приходили *белые*.

В летописи летописец сказал о землях ордынских: —

«Стоит город Ордынин из камня. А земли те богаты камнем горючим и рудою магнитной; к коей пристаёт железо», —

и за Ордыниным полег завод металлургический. Земли же ордынинские — суходолы, доли, озера, леса, перелески, болота, поля, тихое небо, — проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Проселки, — ползут-вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо идти, хочет пройти попрямее — свернет, проплутает, вернется на прежнее место!.. Две колеи, подорожники, тропка, а кругом, кроме неба, или ржи, или снег, или лес, — без конца, без начала, без края. И идут по проселку с негромкими песнями: иному те песни — тоска, как проселок. Ордынин родился в них, с ними, от них.

В летописи и «Истории Великокороссии, Религии и Революции» летописец архиепископ Ордынский Сильвестр сказал о людях ордынских:

«Жили в лесах, как звери, ели все нечистое, срамословие между ними пред отцами и невестками; браков среди них не бывало, но игрища между селами, сходились на игрища, на плясание и на всякие бесовские игрища и здесь умыкали себе невест, с которыми уговаривались, имели по две и по три жены; если кто умирал, творили тризну по нем, затем приготавливали великий костер (кладу) и, положивши на нем мертвеца, сжигали его, и после этого, собравши кости, влагали их в сосуд малый и ставили его на столбе на путях, что делают и до сего дня».

И теперешняя песня в метели:

— Метель. Сосны. Поляна. Страхи. —

— Шооя, шооя, шооояя...

— Гвиуу, гаауу, гвииуууу, гвиииууууу, гааауу.

И: —

— Гла-вбумм!!.

— Гла-вбумм!

— Гу-вуз! Гуу-вууз!..

— Шоооя, гвиуу, гаааууу...

— Гла-вбуммм!!.

И —

Китай-город

21

Это из его, Китая, бродяжеств —

Начали в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-Город, за китайской стеной, ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и зипунах, — сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи, — икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, — весь в котелке, совсем Европа. — А ночью из каменных

закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в этой пустыне из подворий и подворотен выползал тот: Китай без котелка, Небесная Империя, что лежит где-то за степями на востоке, за Великой Каменной Стеной, и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. — Это один Китай-Город.

И второй Китай-Город.

В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей товаров, сменных на рубли, франки, марки, стерлинги, доллары, лиры и прочие, — после октябрьского разгуля, под занавес разлившегося Волгой вин, икор, «Венеции», «европейских», «татарских», «персицких», «китайских» и литрами сперматозоидов, — в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забитых палаток, из безлюдья — смотрит солдатскими пуговицами вместо глаз — тот: ночной московский и за Великой Каменной Стеной сокрытый: Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы — вместо глаз.

22

Тот Московский — ночами, от вечера до утра.

Этот — зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

— Это из его бродяжеств.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, с трех сторон мокрые сосны, и третий день дует ветер: примета знает, что ветер ест снег. Март. В соснах — поселок, за холмами — город, в лощине — завод. Не дымят

трубы, молчит домна, молчат цеха — и в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от фрезеров и аяксов, от молотов и кранов, из домны, из прокатного от поржавевших болванок — глядит: Китай, усмеваются (как могут усмеяться!) солдатские пуговицы.

Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Врешь! Врешь! Загорит еще домна, покатают болванки, запляшут еще аяксы и фрезеры!

— Вре-ошь! Вре-оошь! — и это не истерически, а быть может, разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами. — Это Архип Архипов.

НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Белые ушли в марте — и заводу март. Городу же (городу Ордынину) — июль, и селам и весям — весь год. Впрочем, — каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и Таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду. — Донат Ратчин — убит белыми: о нем — все.

ИЗЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I

ЗДѢСЬ ПРОДАЮТСЯ ПЪМАДОРЫ

В городе, городское, по-городскому.

Древний город мертв. Городу тысяча лет.

Знойное небо льет знойное марево, и вечером долго будут желтые сумерки. Знойное небо залито голубым

и бездонным, церковки, монастырские переходы, дома, земля — горят. Сон наяву. В пустынной тишине бьют стеклянным звоном колокола в соборе: — дон, дон, дон! — каждые пять минут. Этими днями — сны наяву.

На монастырских воротах красная вывеска с красной звездой: —

— Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа.

У монастырских ворот часовой. И из дальних келий несутся в пустыню дня неуемные звуки кларнета, — то учится играть на кларнете начальник народной охраны товарищ Ян Лайтис. Древен монастырь Введенъ-на-Горе; от келии к келии, от церкви к церкви идут переходы, и к белым стенам прилепились, наросли боковушки, ставшие от времени коричневыми. Ночами похож монастырь, как Василий Блаженный, на декорации из театра. Введенъ-на-Горе: — были у России дни, когда Россия шла от Москвы, от московских застав, шла на восток и на север, в леса и пустыни, монастырями, в расколе. Стоит Ордынин в Закамьи, — к южному краю небесному степи, к северному — леса да болота, к востоку — горы. Стоит Ордынин на холме, над рекою Бологого, в лесах, город из камня. И неизвестно, кто по кому: князя ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин по князьям прозвался?⁴

24

Последний раз город жил семьдесят лет назад. Была у России такая эпоха, — черт его знает, как назвать эту эпоху! — когда и России-то собственно не было, а было некое бесконечное, в зное засохшее пространство с полосатыми верстами, мимо которых мчались до Петербурга чиновники, с тем, чтобы перед императором там прочесть свою залихватскую подпись, — и у чиновников не было лиц, а было нечто, вымороченное в синее — казенное — жандармское сукно; — недаром по июльскому зною — по Гоголю — в те дни мчались чиновники в шубах, — мчались с тем, чтобы у застав, в полосатых будках, менять подорожные и проезжать

⁴ Князя же Ордынины, впрочем, выродились уже в ростовщиков.

города с приглушенными глухарями. Было у России в те дни лицо выморочено, как у чиновников, походили те дни на испепеляющий июль, тот, что приносит голод и засуху. Недаром та эпоха разразилась Севастополем. И от этой эпохи остался в Кремле, у заставы, против монастырских ворот, дом, — халуйской архитектуры! — с полосатой будкой у ворот, выкрашенный в киноварь, но с белыми пилястрами в каждом простенке и с голубыми наличниками. Князя Ордынины раздвоились на Ордыниных и Волковичей, но и генералы Волковичи перевелись, жил в правой угловой Андрей Волкович, помещался в подвале сапожник Семен Матвеев Зилотов, снимали в мезонине комнаты советская барышня Оленька Кунцда обыватель Сергей Сергеевич. — Князя же Ордынины — разместились в другом конце парка у Старого Взвоза, у Старого Собора, не в родовом уже, а в купеческом доме: *мамаши Ордыниной*.

Против дома монастырские ворота, справа соборная площадь, исхоженная столетиями, истомленная многими зноями, за соборную площадью Ордынинский дом, тоже архитектуры халуйской (бывший — купцов Попковых!), сзади обрыв, поросший медноствольными соснами. С холма от заставы видна река Волога, за рекой, за полями и заводами, в лесах далеко видны: белые колокольни, реденевские и иные. И за лесом, в новых холмах черные трубы торчат: завода, — это уже иное.

Знойное небо льет знойное марево, вечером будут желтые сумерки, — и вечером под холмом вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь, за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливые песни. Город будет уже спать: город застарел в военном положении. Ночью от полов и заводей пойдут туманы. Ночью по городу ходят дозоры, бряца винтовками. Ночью — ночью обыватель Сергей Сергеевич спустится к Семену Матвееву Зилотову, в свежем одном белье, сядет по-холостому на подоконник, поджав отекавшие свои ноги, и будет рассказывать о соусе майонезе и о телячьих котлетах.

— Дон! Дон! Дон! — бьют куранты в соборе.
Иные дни. Теперешний век.

У иссохшего в ревматизме сапожника Семена Матвеева Зилотова скошено иссохшее лицо на сторону. Мигая кривым своим глазом, он говорит:

— Ноне идет осьмья тысячи четыреста двадцать седьмой год! — И добавляет с усмешкой: — Не верите? — Проверьте-с! Я же клянусь: ей-черту, пентаграмма!

У Семена Матвеева Зилотова, в подвальном окне, кроме кардонки с сапогом, как раз против вывески:

— Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа, — приклеено объявление:

— Здѣсь продаются пѣмадоры, —
и нарисован красный помидор.

Горят камни. В Кремле пустыня. Иные дни. Сон наяву. — В заполдни придет со службы из Отдела Народной Охраны Оленька Кунц, будет распевать романсы, а желтыми сумерками пойдет с подружками в кинематограф «Венеция».

Бьют куранты:

— Дон! Дон! Дон!

— Здѣсь продаются пѣмадоры. —

Оленька Кунц и мандат

День отцвел желтыми сумерками, к ночи пошли сырые туманы.

В монастыре, утром на службе, Оленька Кунц размножала на «Ренео» мандаты. В маленькой келии было по-прежнему, как при монахинях, чисто и светло, на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, в монастырском саду пели птицы. Оленька Кунц вертела:

«МАНДАТ.

ДАН СЕЙ ТОВ.....НА ПРАВО

ПРОИЗВЕСТИ У ГР.....ОБЫСК
 И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, АРЕСТ.
 Начальник Охраны —
 Секретарь —
 Делопроизводитель —».

И под своим «делопроизводитель» Оленька Кунц расписывалась неумелым своим почерком и все же с хвостиком подписи: — «О. Ку», и палочки, и хвостик.

В монастыре утром, в исполкоме (тоже на оконцах здесь грелись бальзамины), в исполкоме собирались — знамение времени — кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках у губ, в движениях утюжных, — и дерзании. Из русской рыхлой, корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста! Впрочем, Карл-Маркса никто из них не читал, должно быть. Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) сказал: «Или — воля голытьбе, или — в поле на столбе!» Архип Архипов с зари сидел в исполкоме, писал и думал — день встретил его с побледневшим лбом, над листом бумаги, со сдвинутыми бровями, с бородою чуть-чуть всклокоченной, — а воздух около него (не так, как всегда после ночи) был чист, ибо не курил Архипов. И когда пришли товарищи, и когда Архипов передал лист своей бумаги, среди прочих слов прочли товарищи бесстрашное слово: расстрелять.

И еще — тем же утром в монастыре, в дальней келии за бальзаминами, у наугольной башни, поросшей мохом, — мохом в молве народной поросший архиепископ Сильвестр писал сочинение о «Великороссии, Религии и Революции». Бывший кавалергард и князь, мохом поросший седенький попик в черной ряске, архиепископ Сильвестр сидел у столика в бумагах, и на

столике среди бумаг лежала черного хлеба краюха, и в высоком кувшине стояла вода из ключа. В бальзаминах оконце было высоко, а у двери сидел черный монашек-келейник, один и случайный в девичьем монастыре. Попик, мохом поросший, писал поспешая, и монашек, в забытьи, старорусские песни мурлыкал, знаясь в зное.

О. Ку (и палочки, и хвостик).

После службы Оленька Кунц ходила в столовую, говорила с подружкой о новом знакомом из Всепрофинанса и затащила подружку к себе. От калитки до заднего хода — по доскам, среди муравы проложенным по заглохшему двору, пробежали, шумя каблучками, шаткой лестницей, мимо удушливого нужника, поднялись в мезонин, распахнули оконца и пели:

В ТОМ САДУ, ГДЕ МЫ С ВАМИ ВСТРЕТИЛИСЬ,
ХРИЗАНТЕМЫ КУСТ...

Вскоре снова сбежали на двор, в сад пошли, ели малину. День отцвел желтыми сумерками, в сумерки Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. В «Венеции» к Оленьке Кунц подошел начальник Народной Охраны товарищ Ян Лайтис, — в темноте, когда «играла» Холодная, жал Оленьке руки товарищ Лайтис. Затем Оленька Кунц ходила с Лайтисом к обрыву, под обрывом в тумане горели огни голодающих, шли уже туманы, и город безмолвствовал — среди лесов, среди болот, — в военном положении: Оленька Кунц хохотала, когда дозоры спрашивали пропуск, и в смехе прижималась наивно к товарищу Лайтису. Товарищ Лайтис, в бархатной куртке, говорил о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете.

Оленька Кунц попрощалась с товарищем Лайтисом у садовой калитки, садом прошла в дом, на минутку вспыхнул в мезонине огонь, и дом замер. Ночь была темная, и седые, сырые поползли из Поречья туманы.

И тогда зазвонили резко у ворот (там, где полосатая стояла будка). Колокол прозвучал жалобно. У ворот стоял товарищ Лайтис с нарядом солдат. Отпер калитку Андрей Волкович.

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь есть квартира овицера-дворянина-здундента Волковися?

Андрей Волкович безразлично ответил:

— Обойдите дом, там по лестнице, во второй этаж.

Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво и лениво пошел в дом, к парадному входу. Товарищ Лайтис с нарядом, гуськом, по доскам, среди дворовой муравы проложенным, пошел к заднему ходу. Лестница привела к заколоченной двери.

— Не здесья.

— Двери ломайте!

Дверь разломали, за дверью валялась побитая мебель, стоял биллиард. Новую дверью вошли на сгнившие хоры, и хоры затрещали под тяжестью тел, в полумраке коптящих зажигалок, шарахнулись в зале серые тени, посыпалась известь:

— Не здесья! Лесенка там на площадке, повыше. В мезонине запахло ночной кислотой и жильем.

На двери Сергея Сергеевича висела визитная карточка. Сергей Сергеевич появился в двери, в нижнем одном белье, со свечой, отекший, дрожал, как осина, и свет от свечи расходился дрожащий.

— Где здесья квартера Волковича?

— Он не здесь! Он внизу! От парадного влево две комнаты!

— Обыскать! Дом оцепить.

В доме Андрея Волковича уже не было.

Товарищ Лайтис показал Сергею Сергеевичу мандат, где за подписью Лайтиса поручалось товарищу Лайтису произвести обыск и арест, — и была там еще — подпись — Оленьки Кунц:

К Оленьке Кунц постучались! Оленька Кунц плакала. К ней вошел товарищ Лайтис.

— Это нехорошо, нехорошо! я не одета, уйди! —

Оленька Кунц свою грамматику образовывала и читала неприличным, говоря на вы, употреблять глагол во множественном числе. Оленька Кунц говорила: «вы меня любит?», а не — «вы меня любите?»

Оленька Кунц сидела на кровати, поджав ноги, в сорочке, и за окном у кровати, вдалеке лиловела заря. Сорочка не скрыла Оленьки Кунц, хоть и сложила руки Оленька Кунц на груди, и упорно уперлись в грудь Оленьки Кунц глаза товарища Лайтиса, потом скользнули по полным коленам. Губы Оленьки, в плаче, сжались кокетливо, точно вишенки.

— Это нехорошо, нехорошо! Я не одета. Мне жалко Андрюшу! Уйди!

Товарищ Лайтис вышел. Сергей Сергеевич бегал по дому, тяжело оседая на каждую ногу, служаая. Андрея Волковича не нашли. Начальник Народной Охраны ушел. Сергей Сергеевич провожал. По улицам ползли сырые туманы, вдалеке лиловела заря.

Оленька Кунц плакала, в серой рассветной нечистой мути, плакала обиженно Оленька Кунц; ей было жалко Андрюшу Волковича, и она любила поплакать. — И в серой рассветной нечистой мути понесся по дому богатырский хохот: то хохотал Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич тяжело заступал, оседая на каждую ногу, вниз по каменной лестнице в подвал к Семену Матвееву Зилотову. Семен Матвеев стоял около печки, печь полыхала, в баночках грелись у огня какие-то снадобья.

— Видал?! — сказал Сергей Сергеевич саркастически и захохотал, держась за живот.

Семен Матвеев ответил:

— Пинтограмма, а не пинтогон.

— Молодец! А?! Сам отпер и — пожалуйста в задний проход! А? Хо-хо! Ищи в поле ветра. Хо-хо!..

— Единственно жаль, что русский. Ей-черту. Одаче: — зришь сей знак? — иностранец найден.

— Видал?! Хо-хо!.. Все варишь? — Ты бы изжарил сви-
ную котлетку! Хо-хо, не укупишь!

Серою нечистой мутью начинался рассвет, и ползли по улице сырые туманы. На рассвете в тумане заиграл на рожке пастух, скорбно и тихо, как пермский северный рассвет.

Сергей Сергеевич сел по-холостому, на подоконник, поджав под себя отекавшие свои ноги. В печи, пред полымем, в тигельках грелись какие-то клеи, из-за печки был выдвинут столик с раскрытыми книгами, где «ш» походило на «т» и «в» походило на «ц», и с глобусом, на котором Россия была закрашена красным. Семен Матвеев Зилотов, нося сосредоточенно от печки к столу тигельки, ходил походкой, похожей на походку старого кобеля.

Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово — Москва, а в углах — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошел к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по-новому сложил пятиугольник — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидор, окрашенный снизу красным.

— Зришь сей знак? — сказал с великою строгостью Семен Матвеев Зилотов. — Иностранцы грады, вместе сошедшись, поклонились граду Москве. Но Москва осталась в унижении.

Семен Матвеев подошел к печке и вылил жидкость из одного тигелька в другой, появился сизый дым, зашипело, запахло жженою серой.

— Пентаграмма, — сказал Семен Матвеев и стал у стола, опираясь рукою о глобус. — Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну.

— Ты про что? — спросил Сергей Сергеевич.

— Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну. Зришь, что творится в России?

— Известное дело — хамодержавие, голод, разбой, — что творится!.. — ответил Сергей Сергеевич. — Свирина —

семьдесят пять! Что творится?! Россия кверху ногами ходит. — Сергей Сергеевич улыбнулся. — Ты вот пойдешь, купи-ка мне колбасы копченой! хе-хе! — Сергей Сергеевич желчно повеселел: — Хо-хо!.. Андрей, Андрей-то как! — «пожалуйста во второй этаж!» Хо-хо!.. Видал?! Хо-хо!

— Постой! — воскликнул Семен Матвеев Зилотов и стукнул рукою по глобусу. — Россия против всего мира? В России голод, смута, смерть? — и будет двадцать лет!.. Клянись, — познаешь тайну!..

Сергей Сергеевич желчно повеселел.

— Ну, что?! — клянусь!

— Клянись: ей-черту, пентаграмма!

— Клянусь: ей-черту, пентаграмма! Ну, что?!

Семен Матвеев задвигался нелепо, присел на корточки, утвердил равновесие и зашептал:

— Через двадцать лет Россия спасется. В монастыре, из игуменьиной келии, — там теперь Лайтис, товарищ, — есть переход теплый в зимнюю церковь. Во алтаре!

— Ты про что?

— Иностранец — Лайтис, товарищ! Во алтаре! Через двадцать лет будет спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю.

— Ты про что?

— Ольгу Семеновну Кунц — с иностранцем Лайтисом. Красавица. Девственница. Кровью алтарь обагрится. А потом все сгорит, и иностранец, — огнем!

— Ты про что? хочешь мстить за Волковича? — Сергей Сергеевич спросил серьезно и тихо.

— Нет, Россию спасти!

(...И ТОГДА ИЗ ПОДВОРОТЕН СМОТРИТ СОЛДАТСКИМИ ПУГОВИЦАМИ: КИТАЙ, НЕБЕСНАЯ ИМПЕРИЯ)...

— Ну, а Ольга Семеновна причем?

— Ольга Семеновна — девственница! Красавица.

— Да ты про что? с голоду, что ли? Ты бы, вместо снадобий, щи бы варил!.. Уж пора!..

— Слушай! Зри!

Семен Матвеев Зилотов взял со стола толстую книгу и стал читать:

«Кто дерзнет разрешить от всех преступлений, которые век наш позорят, от всех пороков, распространяющих повреждение в государствах, от всех неустойств, общих и частных, которые общество вздыхать принуждают? — от недра праха даже до величия дневного светила, все приводит к познанию независимого Винювника, держащего цепь существ, и который един есть начало оных. Все вещает в одно же время душе, разуму, а особливо внутреннему чувству, которое вопрошающего его никогда не обманывает. Чем более мы собираем свои мысли, тем вяще замечаем сей знак неограниченной власти, сию печать величества, изображенную со всех сторон и на всех предметах!»

Жил Семен Матвеев подобно раку-отшельнику, и подвал его был его раковиной: стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой — и валенок летел в угол, стоило махнуть второй ногой — и второй валенок становился в углу рядом с первым; стоило Семену Матвееву неловко двинуться на печке, и посыпались бы рассыпавшиеся кирпичи, и никогда этого не бывало, ибо Семен Матвеев Зилотов даже во сне привык лежать необыкновенным просительным знаком; — стоило Семену Матвееву среди ночного мрака пожелать иметь при себе «Пентаграмму, или Масонский знак, перевод с французского», — он свешивался с печки и безошибочно брал со стола «Пентаграмму» и наощупь знал страницы.

33

Серая рассветная муть сползла с земли, загорелся день, яркий-жаркий. Серые туманы ушли в небо. Сергей Сергеевич поднялся к себе наверх. Оленька Кунц уже встала, плескалась водой, плескаясь, было запела:

В том саду, где мы с вами встретились...

— но вспомнила о товарище Лайтисе и обиженно замолчала. Сергей Сергеевич на таганке варил себе кофе из

жженой ржи и, притворив поплотнее дверь, достал откуда-то из потайного места кусочек сахара и кусочек сыра; кофе же пил, разостлав на столе салфетку. После кофе, закурив папиросу, Сергей Сергеевич брился, надевал чесучовый пиджак с разъеденными потом подмышниками; затем шел на службу в сберегательную кассу, где каждое первое число писал в «Ведомостях» о том, что «операций за истекший месяц не происходило» и «вкладов не поступало». Перед службой Сергей Сергеевич заходил в некий домик, где меняли запонки на масло; на службе, в зное, жужжали мухи, и Сергей Сергеевич, обливаясь потом, играл с помощником в преферанс с болваном; после службы Сергей Сергеевич ходил в советскую столовую, брал в судке домой обед, дома обедал, снова разостлав салфетку, после обеда спал и в сумерки шел на бульвар прогуляться.

— Нечто философическое о возрождении, и:

— СМЕРТЬ СТАРИКА АРХИПОВА, —

другого начетчика, — этим же рассветом.

Серую нечистую мутью зачинался рассвет. На рассвете заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, как пермский северный рассвет. И огородник Иван Спиридонович Архипов встал у себя под горой с пастушьим рожком, из глиняного рукомоЙника тщательно мылся Иван Спиридонович на крылечке, затем, засучив рукава сюртука своего, доил в коровнике корову, — и не пошел, не в пример другим дням, на гряды.

34

Мутью зачинался рассвет. В черной избе у Ивана Спиридоновича, в комнате, где можно чертить затылком по потолку, и с приземистыми оконцами, стоял письменный ореховый секретер (верно сползший с чердака волковичевского дома, волковичевский же дом как раз над головой на горе стоял, и происходили Архиповы от волковичевских дворовых), и диван стоял кожаный, на котором, не раздеваясь, спал всегда Иван Спиридонович. Запалив две свечи на столе, отчего рассвет за оконцами посинел, сел Иван Спиридонович к столу и, в очках,

с лицом худым и хмурым, читал толстую медицинскую книгу. — В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип, в кожаной куртке пришел бодро на кухню, пил, стоя, молоко и ел ржаной хлеб. Отец книгу оставил, ходил около, не по-старчески прямо, как всегда, руки заложив за спину.

— Медицина, как думаешь, — можно ей доверять? — спросил старик безразлично и вгляделся пристально в окно.

— Медицина — наука. Можно. А что?

— Так. Книгу у Данила Александрыча брал, листовал... Жары-то, жары какие!. Тоже, думаю, можно, — Иван Спиридонович постоял у окна, пристально всмотрелся в холм с Кремлем и волковическим домом, сползшим парком под самый обрыв.

В рассвет же ушел Архип в исполком, а старик в своей комнате прилег на диван, — как никогда, — не стал готовить похлебки. И лишь когда уходил сын, подходил Иван Спиридонович к окну и долго провожал сына взглядом, и в глазах, впалых и хмурых, были тогда печаль и нежность. А в девять (половина седьмого по солнцу) Иван Спиридонович, переменяв старый сюртук на новый, валенки сняв, белый плат обмотав вокруг шеи и по уши надвинув картуз с клеенчатым козырьком, пошел в больницу к доктору Невленинову. Дорога вверх шла через рощицу, пахло здесь сыростью и черемуховой вязью. Черемуховую ветвь наклонил к себе Иван Спиридонович, упали капли росы. Иван Спиридонович оторвал кустик, понюхал листья, растер их меж пальцев и сказал вслух, задумчиво и хмуро:

— Все же жизнь — прекрасная вещь.

И так с кустиком и шел до больницы, обсаженной веселыми елочками. В больнице сидел в кабинете доктора Невленинова, за письменным столом, как у себя, неподвижно, положив локти на белую клякс-бумагу. Даниил Александрович пришел с Натальей Евграфовой, и Наталия Евграфовна в белом платье стала тихо в стороне у окна.

— Ты меня знаешь, Данил Александрыч, со мной го-

ворить надо прямо, — Иван Спиридонович заговорил первым не здороваясь. — Делал исследование? Рак?

— Рак, — ответила Наталья Евграфовна.

— И ошибки в этом нет?

— Нет, мы проверили тщательно.

— Стало быть, рак!

— Да.

Иван Спиридонович скрестил узловатые свои пальцы, усмехнулся хмуρο, помолчал.

— Так... Книгу твою почитал я, Данил Александрыч. Там сказано, что рак в желудке — болезнь неизлечимая. То есть, стало быть, смерть.

— Можно сделать операцию, — ответила тихо Наталья Евграфовна.

— Можно сделать, совершенно верно. Только это поллеатив-с, сами вы знаете, — говорил все время Иван Спиридонович, обращаясь к Даниилу Александровичу. — Сделаете вы мне операцию, а через два месяца снова делать надо. На старости лет мне мучиться трудно. Да и года, довольно! — Иван Спиридонович помолчал. — Ведь сам ты, Данил Александрыч, знаешь... Да... — и замолчал, поперхнувшись.

36 Был тут один момент нехороший. Иван Спиридонович зорко следил за глазами Даниила Александровича, и глаза эти, серые, большие, на старческом лице, печальные и милые вдруг ушли куда-то от темных глаз Ивана Спиридоновича; Иван Спиридонович высоко поднял свою голову, был на шее у него белый платок вместо галстука, и показался платок этот.

— Ну, прощайте, одначе!..

— А как пищу вы принимаете? — спросила, поспешила спросить Наталья Евграфовна.

— Молоко, то есть? стакан в день выпиваю. Вам на прием надо одначе!.. Прощайте!

— Нет, погоди, не спеши, Иван!

— Нет, прощай, Даня! Всего тебе лучшего!

Это всеми троими было сказано сразу. И было это нехорошо.

Даниил Александрович оставлял Ивана Спиридоновича, но тот не остался, заторопился. Лишь в прихожей, насунув картуз, повернулся Иван Спиридонович поспешно, сжал крепко руку Даниила Александровича и поцеловал его.

— Смерть ведь. Дай еще поцелую!

На глаза Ивана Спиридоновича навернулись слезы, Даниил Александрович крепко прижал его к себе. Через прихожую прошла Наталья Евграфовна, Иван Спиридонович отвернулся к стене, сказал глухо:

— Старики мы, молодым место надо. Пусть поживут!

В ЭТОТ ДЕНЬ, В ЭТОТ ЧАС БЕССТРАШНОЕ НАПИСАЛ В ИСПОЛКОМЕ СЛОВО — СЫН АРХИП АРХИПОВ: — *РАССТРЕЛЯТЬ.*

Дома Иван Спиридонович лег на диван лицом к стене — и так пролежал неподвижно до сына. А сын пришел в пять, то есть в полчаса третьего по солнцу. И вместе они провели день, в домашних делах и заботах, до вечерней солдатской зари, что всегда играет в казармах, в девять по солнцу. В шесть Архип Иванович таскал воду с Вологи на гряды, поливал огурцы и капусту, на Вологе просматривал жерлицы (любил рыбу ловить), новых двух насадил окуньков, из исполкома рассылная принесла «Известия», — и у реки Архип Иванович застрял с газетами. Шло уже солнце к западу, напоздли желтые сумерки, от волковичевского сада вниз оседал малиновый дух, а на огородах пестрые огородницы орали песни. И в соборе били часы: дон-дон-дон! — точно камень, брошенный в заводь с купавами. В половине восьмого — на час — уходил Архип Иванович в город и, вернувшись, прошел к себе на чистую свою половину, сел за стол и сидел, как отец, очень прямо. Отец помогал сыну, считал на счетах, складывал числа быстро и точно. Темнело медленно, небо было зеленым, потом посинело, стало хрустальным.

И тогда в казармах заиграли зорю, и девушки на огородах пели очень грустное. В зорю пригнали коров, Иван Спиридонович пошел принять и доить. А когда он

вернулся, Архип Иванович уже кончил считать, сложил бумаги, и стоял среди комнаты. В комнате было темно, и месячный свет пал на переплет оконных рам и на пол. Был сын, как отец, невысокого роста, волосат, с бороною лопатой, и стоял, как отец, руки назад заложив, — тяжелые руки. Иван Спиридонович задержался минуту у дверей и вышел, и вернулся со свечой, поставил свечу на стол, сам сел около стола, локти на стол положил.

— Архип, надо мне с тобой поговорить. Слушай, — сказал строго старик. — У ученого философа какого-то, ты знаешь, сказано, что, если человеку надо два месяца умирать, да еще страдать при этом от болезни, так лучше — того, самому позаботиться... Ты еще говорил, что с этим согласен, потому-де, что смерть уж не так и страшна, — говорил Иван Спиридонович, тихо и медленно, туго собирая слова; голова его была опущена.

Архип Иванович сдвинулся с места.

— Говори, отец, толком, — сказал сын покойно. — К чему говоришь? Слышишь? — и вот, когда сказал сын это *слышишь*, голос его дрогнул.

— Был я сегодня в больнице у Данила Александрыча. И сказал он мне, что у меня неизлечимая болезнь, рак желудка, через два месяца мне умирать, а это время страдать и мучиться страшными муками. Понял?

Архип Иванович проделал странный круг по комнате: пошел быстро к отцу, но, сделав два шага, круто повернул к двери, но снова вернулся и стал покойно около письменного стола, у оконца, спиной к отцу.

38

— Ты говорил, Архип, да и я понимаю так, что лучше уж спозаранку. Говорил ты это, думаешь так?

Архип Иванович ответил не сразу и ответил глухо:

— Да. Думаю так, — сказал глухо.

— То есть, что лучше умереть — самому позаботиться?

— Да, — сказал глухо.

— И я тоже думаю так. Ведь умрешь — и ничего не будет, все кончится. Ничто будет.

— Только, отец, — и слово *отец* дрогнуло больно. — Ты ведь отец мне, — всю жизнь с тобой прожил, от тебя прожил, — понимаешь, тошно!

Иван Спиридонович повозился на стуле, точно что-то искал, затем поднялся и постоял, — и подошел к сыну, положил руки к нему сзади на плечи, прижал голову к кожаной куртке, к спине.

— Знаю. Понимаю. Ты мне — сын! Долго думал — говорить с тобой, нет ли?.. Трудно. Очень трудно, — пере-неси! Мне тоже трудно. Пожить еще надо бы, на тебя, на сына, посмотреть, — на дела твои, ты ведь сын мне, кровь моя!.. Но гнить заживо, голодать, от боли орать — не хочу, не желаю! Погляди на меня.

Архип Иванович повернулся, встретились две пары темных глаз: — одни хмурые, больные, с блестящими широкими зрачками, на пергаментном лице, — другие молодые, упорные, вольные. Молчали долго и долго были неподвижны.

— Подожди, отец, я сейчас приду.

Архип Иванович вышел на двор, сел на крылечко около рукомоиника, смотрел в небо, на звезды: уже перегибался июнь на июль, сменил платиновые июньские звезды на серебро, и были звезды как подушки царя Алексея на бархате его Азии. А Иван Спиридонович снова сел за стол, скрестил пальцы, смотрел на свечу. Иван Спиридонович потушил ее дуновением, зажег снова, сказал:

— Был огонь, и не стало его, и опять есть. Странно!

Архип Иванович вошел через полчаса крепкой своей походкой, сел рядом с отцом и сказал ровным, тоже всегдашним голосом:

— Я бы на твоём месте, отец — — Делай как лучше, отец, как знаешь.

Иван Спиридонович встал, встал и сын, молча поцеловались. Иван Спиридонович порылся в заднем сюртучном кармане, вынул платок носовой, еще неразвернутый, развернул его, но глаз не утер, ибо были сухи они, и, смятым уже, положил платок в брюки.

— Ты живи, сын, дела своего не бросай! Женись, детей народи, сын...

Повернулся, взял свечу и ушел. Архип Иванович стоял, заложив руки назад, точь-в-точь как отец. Затем по-

дошел к окну, растворил его и так и остался стоять до рассвета. В Кремле в кинематографе «Венеция» играл духовой оркестр, и шли от реки туманы.

Иван Спиридонович, на черной своей половине, в своей комнате, лег на диван, лицом к стене, и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серою мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начала таять, и пахло гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал, и прошли эти часы с вечера до зари совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню, взял там из угла с полки револьвер, по дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, потушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот.

ГЛАВА II

ДОМ ОРДЫНИНЫХ

Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князя ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям? — князя же Ордынины сроднились с Попковыми.

40

Часы у зеркала — бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) — здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальни матери, Арины Давыдовны, — и кукушка кричит пятнадцать, и кукушка — как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!.. — Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, разошедшая после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре — тоже еще уцелевшей. Красным огоньком

ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге вмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть, — он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.

Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной, — и теперь двоятся мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве, — и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея — художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь, — надо быть бодрым!

Снова бьют subtlyно и стеклянные часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, — вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени, — освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом — и лицо иконописно.

Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп — матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, — через щель видит Глеб, — у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной

и серой, — экстазное что-то — или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволию, капиталами Попковых, — а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, — изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.

В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые — тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленное, должно быть?) веками и развешенное теперь — по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза. — Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:

— Кто там?

Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.

— А это кто? — это вы, Глеб Евграфович? — спрашивает из-за дверей женский голос.

— Я. Кто там?

— Это мы, я, Марфуша, да Егор Евграфович.

— Егорушка?

И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.

... И ЗА ДВЕРЬЮ ИДЕТ ПЬЯНАЯ ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ ...

Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша, — дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет — денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.

— Егорushка, милый!.. — говорит Глеб, обнимая брата. Егор молчит.

— Что же ты молчишь? Не рад?

— Мне стыдно, брат, — говорит Егор трудно. — Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..

Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.

— Я рад тебя видеть, Егор!..

— Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно... Матушка спит?.. А Борис? Ненавижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла... Я там с проституткою был...

Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.

— Егор, что ты? Нельзя так! — говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, взглядывает виновато на Марфушу.

И Марфуша понимает его, обещеченная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:

— Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны!.. Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить... Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала... А то Арина-то Давыдовна — затерзат.

Глеб поспешно отвечает:

— Конечно, поговорю. Конечно...

— Глеб, матушка спит?

— Спит, да.

— Я ее боюсь, да!

Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.

— Глеб, я был там... Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты — чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота, — говорит Егор и тихо добавляет: — Сейчас бы поиграть...

У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:

— Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?

А у материной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещающая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора. — Глеб — сознательно ли? — прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:

— Спасибо тебе, брат! Ты — брат!.. Борис — он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу... Молчи, знай... Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.

Снова молчит. Снова говорит:

— Поиграть бы сейчас на рояле... Но — спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!

И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.

По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.

— Егор Евграфович, я это... Провожу вас!.. — устало и любяще говорит Марфуша.

— Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.

— Егор Евграфович...

— Молчи!..

Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике — лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки

на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.

— Марфа! — говорит трудно Егор. — Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не преjdeши, и он велел быть чистым. Над землю величайшее очищение прошло — революция. Ты не знаешь, какая красота...

— Егор Евграфович, зачем вы там с той гуляли?..

— Когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться. Над собою!.. Уйди!

— Егор Евграфович...

— Вон уйди! Молчи!

Марфуша стоит неподвижно.

— Уйди, говорят! Дрянь! Уйди!

Марфуша медленно уходит, притворяя за собой низкую дверь.

— Марфа!.. Марфуша!.. Марфушечка! — и Егор судорожно гладит голову Марфуши дрожащими своими руками с иссохшими длинными (дворянскими) пальцами.

— Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло! А какая правда на землю пришла! Мать хрипит... за всех отвечает! За всех!.. Люблю тебя, попранную чистоту люблю. Помни — люблю. Уйду в музыканты, в совет!

— Егорушка!..

Егор тяжело и хрипло дышит и прижимает судорожно голову Марфуши к костлявой своей груди. Тускло горит моргас.

И снова бьют часы. Ведет ночь ночной свой черед — за домом зачарованный, и здесь мертвый. Пройдет еще один ночной час, и будет утро. Борис, большой, барски-полный и холеный, ленивой походкой человека, бродящего ночами в бессоннице, входит к Глебу.

— Глеб, ты спишь? У меня все спички.

— Пожалуйста.

Борис закуривает. Спичка освещает бритое его, холено-полное лицо, вспыхивает кольцо на мизинце. Борис

сидится около Глеба, хрускает под плотным его телом доска кровати, — и сидит, по привычке, выработанной еще в Катковском лицее в Москве, прямо и твердо, не сгибаясь в талии.

— Никак не могу предаться Морфею, — говорит хмуро Борис.

Глеб не отвечает, сидит сторбившись, положив руки на колени и склонив к ним голову. Молчат.

— Борис, мне сейчас Егор рассказал о мерзости. Ты сделал мерзость, — говорит Глеб.

— С Марфой наверное? Пустяки! — отвечает Борис медленно, с усмешкой и устало.

— Это мерзость.

Борис отвечает не сразу и говорит задумчиво, без всегдашней своей презирающей усмешки:

— Конечно, пустяки! Я большую мерзость сделал с самим собою! Понимаешь, — святое потерял! Мы все потеряли.

И Борис, и Глеб молчат. Луна, проходя небесный свой путь, положила лучи на кровать и осветила Бориса зеленоватым, призрачным светом, — тем, при котором воют в тоске собаки. Борис томительно курит.

— Говори, Борис.

— Весной, как-то, стоял я на Орловой горе и смотрел в долину за Вологою. Была весна, Волога разлилась, небо голубело, — буйничала жизнь — и кругом, и во мне. И я, помню, тогда хотел обнять мир! Я тогда думал, что я — центр, от которого расходятся радиусы, что я — все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция, и все лишь пешки в лапах жизни.

Борис молчит минуту, потом говорит злобно:

— И с этим я не могу примириться. Я ненавижу все и презираю всех! Не могу! Не хочу! Я и тебя презираю, Глеб, с твоей чистотой... Марфуша? Есть любовь. Марфуша и Егор любили? — Нате вам, к чорту! — Россия, революция, купцы сном хоромы накопили, и вот ты *чистый (целомудренный)* уродился, — к чорту!.. Нас стервятниками звали, а знаешь, стервами падаль зовется, с ободранной шкурой! Впрочем, от князей остались купчишки!..

Борис замолкает и тяжело дышит. Глеб молчит. Долго идет молчание.

— Бумеранг. Ты знаешь, что такое бумеранг? — спрашивает тоскливо Борис. — Это такой инструмент, который папуасы бросают от себя, и он опять возвращается к ним. Точно так же и все в жизни, подобно бумерангу... Глеб, мне много отпущено силы, и телесной, и той, что заставляет других подчиняться... и все, мною сделанное, мне возвратится! Я в двадцать пять лет был товарищем прокурора, мне секретные циркуляры присылали, охранять от пугачевщины. Ты кого-нибудь винишь?

— Я не могу винить. Я не могу!..

— А я виню! Все негодяи! Все! Князь Борис молчит томительно.

— Брат... Если я *не могу*?!

— Я не знаю, где путь твой. Я тоже потерял веру. Я не знаю...

— Я тоже не знаю.

— Читай Евангелие.

— Читал! Не люблю, — вяло говорит Борис.

Борис устало встает, подходит к окну, смотрит на дальнюю зорю, говорит раздумчиво:

— Были ночи миллион лет тому назад, сегодня ночь, и еще через миллион лет тоже будет ночь. Тебя зовут Глеб, меня — Борис. Борис и Глеб. По народному поверью в день наших именин, второго мая, запевают соловьи!.. Я делал мерзости, я насиловал девушек, вымогал деньги, бил отца. Ты меня винишь, Глеб?

— Я не могу. Я не могу судить, — поспешно отвечает Глеб. — «Мне отмщение, и аз воздам». Ты сказал о моей чистоте. Да, все ложь... — говорит он. Он подходит к Борису и стоит рядом. Последняя перед утром луна светит на них. — Борис, ты помнишь? — «Мне отмщение, и аз воздам»...

— Помню, — бумеранг. Я не люблю Евангелия. — Борис говорит сумрачно, лицо его хмуро. — Бумеранг!.. Самое страшное, что мне осталось, — это тоска и смерть. Стервятники вымирают. Вот скоро у меня выпадут зубы и сгниют челюсти, провалится нос. Через год меня, красавца-князя, удачника-Бориса, — не будет... А, —

а в мае соловьи будут петь! Тоскливо, знаешь ли! — Борис низко склоняет голову, сумрачно, исподлобья смотрит на луну, говорит вяло: — Собаки при луне воют... У меня, Глеб, сифилис, ты знаешь...

— Борис! Что ты?!

— Я не знаю только — порок прославленных отцов или... отец молчит.

— Борис!..

Но Борис сразу меняется. Гордо, как красивая лошадь и как учили в лицее, закидывает голову и говорит с усмешкой:

— Э?

— Боря!..

— Самое смешное, когда люди ажитируются. Э?.. Милый мой младший брат, пора спать! Adieu!

Борис медленно уходит от Глеба. Глеб много меньше Бориса. Он, маленький, стоит в тени. Борис твердо выходит от Глеба, покойно и высоко подняв голову. Но в коридоре никнет его голова, дрябнет походка. Бессильно волочатся большие его ноги.

В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается — грудью, животом, коленями — к мертвому печному холоду.

А ночь отводит уже ночной свой черед. И алой зарей — благословенное — настанет июньское утро. Глеб думает о себе, о братьях, о богоматери, об Архангеле Варахииле, платье которого должно быть все в цветах — в белых лилиях... Революция пришла белыми метелями и майскими грозами. Живопись, — иконопись, — старые белые церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула в четырнадцатом году война, —

(у нас в России горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце)

— там в Европе, рожденная биржами, трестами, ко-

лониальной политикой и пр., — если могла народиться в Европе такая война, то не осиновый ли кол всей европейской котелковой культуре? — эта Европа повисла в России — вздернутая императором Петром (и тогда замуравались старые белые церкви): — не майская ли гроза революция наша? — и не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий? — Но ведь нет же никакого бога, и только образ — платье Варахиила в белых лилиях! — Художник Глеб Ордынин приехал сюда на родину, с археологом Баудеком, чтобы производить раскопки.

И первая проснулась в доме мать, княгиня Арина Давыдовна, урожденная Попкова.

В муке рассвета мутные блики ложатся на пол и на потолок. За решетками окон светлый рассвет, а в темной комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две деревянных кровати под пологам. На темных стенах, в круглых рамках — едва можно разобрать — головные висят выцветшие портретики и фотографии. — И за пять минут до того как проснуться Арине Давыдовне, когда сладко еще храпит княгиня, бесшумно поднимается на своей постели сестрица Елена Ермиловна, урожденная Попкова, крестится одеваясь, причесывает облезшие свои волосы, — и бесшумно скользит по серым рассветным комнатам. Дом спит. Елена Ермиловна смотрит платье в прихожей, неслышно отворяет двери к спящим. — А когда кукукает кукушка, просыпается Арина Давыдовна, крестясь богатырской рукой. От постели, от княгини, от ног ее идет смрадный запах нечистого жирного человеческого тела.

— Ножки ваши, сестрица, чулочки надеть, — говорит Елена Ермиловна.

— Спасибо, сестрица, — отвечает княгиня басом. Моется княгиня по-старинному — в тазу. Потом старухи вместе вслух молятся, княгиня со стоном, с трудом трижды опускается на колени, — «Утренняя», «Царю

небесный», «Отче наш», «Ангелу хранителю», «Богородице», — за ближних, за дальних, за плавающих и путешествующих. Елена Ермиловна говорит, вдыхая в себя воздух, — и говорит шипящим речитативом.

Марфуша бегаёт по комнатам и говорит всем одно и то же, заученное:

— Наталья Евграфовна! Вам в больницу пора, самоварик на столе, матушка браняца!

— Антон Николаевич! Вам на очередь пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

— Ксения Львовна! На базарик вам пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

Арина Давыдовна в столовой за дубовым столом режет хлебные порции и пьёт чай. Елена Ермиловна бесшумно наполняет десятую чашку.

— Егор Евграфович вернулись ночью, привела их Марфонька, потом заходили они к Глебу Евграфовичу. Пропили они всю свою одежду. Глеб Евграфович им свою отдали... они им отпирали. — Елена Ермиловна говорит пришепетывая. — Борис Евграфович тоже заходили к Глебу Евграфовичу, а потом к папочке-князю. Папочка молились до утра. Наталия Евграфовна легли спать в двенадцатом часу, после обхода по улице опять шли с большевиком Архипкой Архиповым... Тоня тоже за большевиков стоит, разбили стакан и обозвали меня черным словом...

50

— Каким? — у Арины Давыдовны тяжело навалены губы одна на другую — и на третью; в глазах ее, некогда карих, теперь желтых, — власть.

— Стерьвой, сестрица.

— Угу!..

— Лидия Евграфовна с дочкою и Катерина Евграфовна вернулись из «Венеции» половина первого, были с ними Оленька Кунцова. В саду пели романсы.

— Угу... О, господи...

Как с цепи сорвался, забоцал ножищами по дому Антон.

— Марфушка, где моя сумка для хвоста?!

В столовой Антон шумно пьет жженую рожь, сопит и свищет, и ноги его, как подрастающий сеттер от блох, елозает под столом. Елена Ермиловна согбена у самовара.

— Здравствуйте, Тоничка, с добрым утром, — говорит она.

— С добрым утром, — отвечает сумрачно Антон, петушиным басом. — Я нынче пойду в союз молодежи записываться! А вы про что еще наябедничали бабушке?

— И-и-и, и не грех тебе? и не грех на старых людей?

— Знаем! Первейшая ябеда!.. Если бы ты была у нас во второй ступени, мы бы тебе каждый раз морду били бы и темную делали!

— Бурлак! Галах! — вот скажу сестрице..

— Вот и говорю, шпиенка... Давно уж в чрезвычайку пора! Вот скажу в союзе.

— Да разве я против советской власти?!

— Знаем!.. — Марфушка!.. где моя сумка для очереди?! — и опять по всему дому сорвались всяческие цепи.

В белом платье, чужая, молчаливая, пьет в столовой чай Наталия Евграфовна и уходит в больницу. Трехведерный самовар спел уже свою арию, смолкает, пищит, как муха у паука. Княгиня надевает шляпу-«капот» и с Марфушей и Ксенией идет на базар с узлами, продавать — те старинные платья, что остались от бабушек. С ними с базара придут татары в новеньких галошах, и все спустятся в кладовую. В кладовой пахнет крысами и гнильем, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы. Татары будут вскидывать на руке старинные ручной работы шандалы, серебро, фарфор, проеденные молью уланские, гусарские, кавалергардские, просто дворянские и сивильные мундиры (князей Ордыниных) и бекеша (купцов Попковых), будут хаять хладнокровно, назначать несуразное и тыкать своими сухими ручками, чтобы хлопнуть по рукам. Княгиня наткнется на забытую свою, от молодости оставшуюся, безделушку и будет горько плакать, пряча безделушку, чтобы продать ее в следующий раз. Потом татары поталалакают

по-своему, набавят, княгиня сбавит, ударят по рукам (обязательно ударят по рукам!), татары привычно-проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и поодиночке (обязательно поодиночке!) уйдут задним ходом под гору, блистая на солнце новенькими своими галошами. А княгиня будет плакать в кладовой, вспоминая найденную безделушку и связанное с ней.

В антресолях — из рода в род повелось у Попковых и Ордыниных — девичья часть, живут дочери. Низки здесь потолки и светло здесь — белы стены и квадратные оконца открыты. Девушкой в осьмнадцать лет вышла Лидия замуж тут же в Ордынине за помещика Полунина, — и ушла от него скоро, сменяв на Москву, на Париж (в Париже и родилась Ксения), встретила и сошлась с кавалергардом, и с ним разошлась, а сейчас же после этого встретила артиста Московского Императорского Большого театра, — и навсегда ушла в богему, — стала учиться петь, и ей удалось пение — к двадцати семи годам она поступила в тот же театр актрисой, где был и новый ее муж. Этого нового мужа она тоже кинула, но сцены не оставила и металась по воле господ бога и антрепренеров до тех пор, пока — Теперь она у матери. Младшая ее сестра, Наталья, вслед за ней, девушкой поехала в Москву, но свою жизнь сложила иначе: поступила на медицинские курсы к Герье и кончила их: — и у нее была первая глупая любовь, та, что сжигает всяческие корабли, но, если Лидия меняла любовь на любовь, — Наталия решила никогда больше не любить и осталась, чтобы быть лекарем, как написано у нее в дипломе, — и чтобы молчать.

52

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Самоварик на столе, матушка вернулись... Матушка браняца!

А за Марфушей издалека идет Елена Ермиловна, шумно и без спроса отворяет двери (и у нее такие происхо-

дят разговоры: — «Рисуете, батюшка Глеб Евграфович?» — «Рисую, Елена Ермиловна». — «Ну, и рисуйте на здоровье, господь с вами!..» — «Читаю, курю, одеваюсь, иду, сержусь, ложусь спать», — говорят ей, и она всем отвечает: — «Ну, и читайте, курите, одевайтесь, идите, сердитесь, ложитесь — на здоровье, господь с вами!..»). Елена Ермиловна бесшумно просовывает голову в комнату Лидии.

— Одеваетесь, матушка?..

— Елена Ермиловна, сколько раз вам говорить, что это невоспитанно — заглядывать не постучавшись. — Идите! Я не разрешаю вам быть здесь. Идите!..

Елена Ермиловна бесшумно исчезает за дверью.

— Крыса какая-то домовая, — говорит брезгливо Лидия Евграфовна.

Катерина, самая младшая, помогает одеваться. Лидия Евграфовна в белой одной кружевной рубашке и в черных чулках, обтягивающих стройные ее ноги до бедер, полулежит в низком кресле. Рубашка съехала с плеча, видны круглые ее плечи и большая, еще красивая грудь с матовыми сосками. Катерина причесывает обильные ее рыжие волосы. У Лидии Евграфовны карие глаза, тонок горбатый нос, и она хищно-красива. Катерина, полная и вялая, одета в неряшливый капот, но волосы ее — тоже рыжие и обильные — причесаны пышно.

— А-а! — берет гамму Лидия, чтобы испробовать голос, и говорит: — Так ты покажись Наталии, или еще с кем-нибудь... Ты когда заметила?

— Да я думаю, месяц, — вяло говорит Катерина.

— Ну, если месяц, можно повременить. Fausse-couche — это очень просто. — Лидия интимно улыбается. — Это ты который раз?

— Второй.

— А кто он?

— Каррик. Военрук. Офицер, но партийный, но не коммунист.

— А тебе сколько лет? .

— Девятнадцать, скоро двадцать.

— Однако! Я в твоём возрасте мужа, как чумы, боялась.

— Вон Оля Кунц почти каждый месяц. У нее какая-то повитуха есть... очень дешево. Ты удивляешься, теперь всё...

— Нет, обязательно к доктору! Никаких повитух. И вообще аборт несколько не полезен. Сегодня же ступай к врачу. Аах!.. — Лидия молчит долго, ломает руки и шепчет: — И опять такой длинный день, совсем ненужный, день, как пустыня... Ну, да, а я одна, одна! Есть сказка о царевне-лягушке, — зачем, зачем Иван-царевич сжег мою лягушечью шкурку?.. Ну, да...

А за открытыми оконцами в парке, над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь, всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах. В девичьих антресолях низки потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах. Всякая женщина — неиспитая радость. Впрочем, Наталья... В это утро Наталья сказала матери, что уезжает вон из дома, в больницу. Утром же мать повстречала в коридоре Егора.

— Егор, поди сюда! Говори правду.

Егор медленно подходит к матери, стоит около нее, — руки его опущены, опущена голова, тоскование и стыд в красных его глазах.

— Егор, ты пил вчера? Пьянствовал?

— Да, — тихо отвечает Егор.

— Где деньги взял?

Егор молчит.

— Где деньги взял? Правду говори!

— Я... Я пропил Натальину... Натальино пальто.

Мать коротко размахивается и бьет богатырской своей рукой по дряблой щеке Егора. Егор неподвижен.

— Вот тебе! Пошел вон и не смей от себя выходить. Не смей на музыке играть. Пошел вон! Молчать!

Егор согнувшись уходит. И тогда по комнатам несется свирепый крик Бориса:

— А я вот не хочу молчать! Вам пора помолчать! Надоело! Будет!.. Елена Ермиловна, Еленка! беги к Егору, крыса, и скажи, что я, Глеб, Наталья, — мы протесту-

ем! беги, крыса!.. Мать, купчиха, ты!.. берегись!.. Марфа! водки!.. Мать, полканша, купчиха — пойми твоим медным умом, что все мы с твоими робронами летим к чорту!.. К чорту, к чорту все!.. Аа-ах!.. Егор, иди, сыграй, сыграй Интернационал!

— Молчать, большевик! Я мать, я учу!.. Я кормлю!

— Что-о?! ты кормишь?! краденое кормит, — грабленное!.. Марфа, водки!..

В темной комнате княгини — темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две под балдахинном кровати. На темных стенах, в круглых рамках, головные висят выцветшие портретики и фотографии. Сумрачно опущены на окна гардины. В золотых очках, княгиня стоит у раскрытого своего секретера, раскрыты пред ней отчетные ее книги: «Провизионная», «Бой посуды», «Расчетъ прислуги», «Бѣльевая», «Одежная», «Дѣтская».

В «Бой посуды» княгиня вписывает:

«Тоня разбил один стакан».

В «Дѣтскую»:

«Наказан Егор, Наталья сошла с ума уѣзжать въ больницу жить изъ родительскаго Дома. Богъ ей Судія, въ подарокъ Ксеніи десять ру.» —

В «Бельевую» и «Одежную» княгиня вписывает проданное татарам и на базаре, и сумму ставит на приход в «Приходо-расходную».

И княгиня плачет. Княгиня плачет, потому что она ничего не понимает, потому что железная ее воля, ее богатство, ее семья — обессилели и рассыпаются, как вода сквозь пальцы.

— Вот в том тюрнюре, что продали сегодня, — говорит она в слезах Елене Ермиловне, — я в первый раз увидела княгиню-мать, когда приезжала невестой. У меня тогда была сирень в волосах, а был январь.

Впрочем, скоро княгиня уже не плачет. Она стоит у секретера с пером в руках, опираясь локтями о свои книги,

и рассказывает о давно ушедшем, цепляя одно за другое, родное, свое, давно — и так недавно — прошедшее.

— Был у нас помещик, Егоров, полковник в отставке, охотник, девяти вершков. Приехал в усадьбу и — ни к кому... взял с деревни двух сестер-девок и обеих клал с собой спать, и по целым неделям пьянствовал, а то на неделю в лес на охоту. И ни к кому!.. Священник у нас был, от пьянства заговаривал, очередь к нему, вся паперть в пробках, — значит, перед заклатьем последний раз... Отец Христофор. Отец Христофор поехал к Егорову, уговаривать. Егоров визит отдал — в церковь к обедне приехал, послушал пение, да как заплачет, да как к священнику в алтарь, да татаркой отца Христофора, — в алтаре!.. И опять к своим девкам. Потом увидел меня на дороге и — сошел с ума, девок-сестер прогнал, остепенился, стал вести знакомство с помещиками, пить бросил, на балы ездил. Мне письма писал... А один раз приехал на бал — в шубе, и в чем мать родила — и потом в молитву опять ушел, а девки опять к нему...

И княгиня, и Елена Ермиловна глубоко вздыхают.

— Все, сестрица, теперь плошает... все, — говорит со вздохом Елена Ермиловна.

— Это верно, сестрица. Раньше не так было... раньше...

— Опять же супруг ваш, сестрица, от миру отказались.

— У князей Ордыниных все так. И отец Ордынин тоже так... Бывало, князь...

56

— Опять же детки, забота... Вон Антон Николаевич опять меня обругали черным словом.

— Каким?

— Шпиенкой, сестрица.

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Уж накрыто на столе... Сейчас первое подам... Мамочка браняца!..

Обильное, знойное солнце идет в большие, закругленные вверху, окна зала, от света пустынным кажется зал. Глеб сдвинул свои эскизы в угол, загородил их ширмой: там, к стене обороченная, стоит его богомать. Глеб сидит за ширмой на окне, тихо в зале, от папиросы идет синий дымок. Тихо открывается высокая двухстворчатая дверь, и осторожно идет к роялю Егор.

— Глебушка, не могу удержаться. Прости.

— Играй, Егорушка. Егор опускает модератор, играет что-то свое, тоскливое безмерно и целомудренное.

— Это я, Глебушка, для Натальи сочинил. Про нее... Матушка услышит...

— Играй, играй еще, Егорушка...

— А знаешь, Глеб!.. Знаешь, Глеб!.. Хочется мне на весь мир, без модератора, Интернационал заиграть!.. и — и вплести в него потихоньку «Гретхен», как Петр Верховенский у губернаторши в «Бесах», — это для матушки!.. и — для Бориса! А-эх!..

Глеб думает об архангеле Варахииле, платье которого в белых лилиях, — и больно вспоминает о матери... В темной комнате матери на стенах висят головные портретки, уже выцветшие и в круглых золоченых рамках; потолки в комнате матери закопченные, в барельефах амуров, и стены в штофных обоях. В комнате матери, перед княгиней-матерью, Глеб опускается на колени, протягивает молитвенно руки и шепчет больно:

— Мама, мама!..

У подъезда звонят, приносят из Москвы телеграмму Лидии Евграфовне:

«Здоровье целую Бриллинг».

Лидия шлет Марфушу с обратной телеграммой, и из кладовой в мезонин тащат баулы.

ДВЕ БЕСЕДЫ. СТАРИКИ.

Знойное небо льет знойное марево. Зноясь на солнце, на пороге у келий черной монашек старо-русские песни мурлычет. В темной келии высоко оконце в бальзами-

нах, несветлы стены, кувшин с водою и хлеб на столе среди бумаг, — и келия в дальнем углу, у башни, мхом поросшей. Попик, мохом поросший, сидит у стола на высоком табурете, и на низком табурете сидит против него Глеб Евграфович. Черный монашек песни мурлычет, —

Э-эх, во субботу, да день ненастный!..

Зноет солнце, пыльные воробьи чирикают. Глеб говорит тихо. Лицо попика: просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп, как крышка у гроба. Слушает хитренький попик.

— Величайшие наши мастера, — говорит тихо Глеб, — которые стоят выше да-Винчи, Корреджио, Перуджино, — это Андрей Рублев, Прокопий Чирин и те безымянные, что разбросаны по Новгородам, Псковам, Суздалям, Коломнам, по нашим монастырям и церквам. И какое у них было искусство, какое мастерство! как они решали сложнейшие живописные задачи... Искусство должно быть героическим. Художник, мастер — подвижник. И надо выбирать для своих работ величественное и прекрасное. Что величавее Христа и богоматери? — особенно богоматери. Наши старые мастера истолковали образ богоматери, как сладчайшую тайну, духовнейшую тайну материнства — вообще материнства. Недаром и по сей день наши русские бабы — все матери — молятся, каются в грехах — богоматери: она простит, поймет грехи, ради материнства...

58

— Ты про революцию, сын, про революцию, — говорит попик. — Про народный бунт! Что скажешь? — Видишь, вот хлеб? — есть еще такие, приносят понемножку! А как думаешь, через двадцать лет, когда все попы умрут, что станет?.. через двадцать лет!.. — и попик усмехается хитро.

— Мне тяжело говорить, владыко... Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро,

небоскребы, лоск, блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности, — и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! и каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин! И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь европейской культуры шел к войне, мог создать эту войну четырнадцатый год. Механическая культура забыла о культуре духа, духовной. И последнее европейское искусство: в живописи — или плакат, или истерика протеста, в литературе — или биржа с сыщиками, или приключения у дикарей. Европейская культура — путь в тупик. Русская государственность два последних века, от Петра, хотела принять эту культуру. Россия томилась в удушьи, сплошь гоголевская. И революция противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век. На рубеже семнадцатого века был Петр... —

(— Пётра, Пётра! — поправляет попик.)

... — была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришел Петр, — и невероятной глыбой стал Ломоносов, с одою о стекле, и исчезло подлинное народное творчество... —

(— Эх, во субботу! — в зное снова мурлычет монашек.)

— ... — в России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за Октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция — верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции — Радищев. Неправда, — Петр. С Радищева интеллигенция стала *каяться*, каяться и искать мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болит за народ, и каждый народа не знает. А революции, бунту народному, не нужно было — чужое. Бунт народный — к власти пришли

и свою правду творят — подлинно русские подлинно русскую. И это благо!.. Вся история России мужицкой — история сектантства. Кто победит в этом борении — механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?..

Зноет солнце. Глеб молчит, и говорит поспешно попик:

— Сектантство? Сектантство, говоришь? А сектантство пошло не от Петра, а с раскола!.. Народный бунт, говоришь? — пугачевщина, разиновщина? — а Степан Тимофеевич был до Петра!.. Россия, говоришь? — а Россия — фикция, мираж, потому что Россия — и Кавказ, и Украина, и Молдавия!.. Великороссия, — Великороссия, говорить надо, — Поочье, Поволжье, Покамье! — ты мне внучек или племянник? — Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз, — наваждение! Все спутал!

Вскоре говорит один попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу, и строго смотрят глазки из бороды.

— Как заложились государство наше Великороссия? — начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси, — от печенегов таясь, от татар, от при и междоусобья княжеских, в лесах, один-на-один с вельсью и чудью, — в страхе от государственности заложились государство наше, — от государственности, как от чумы, бежали! Вот! А потом, когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украйну, на Яик. Не потому ли, не потому ли несла Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна она была им, ей в безгосударственности ее, в этнографии? — не нужна... Побежали на Дон, на Яик, — а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь — дошли до Москвы, власть свою взяли, государство строить свое начали, — выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую: как тропа лесная — тысячелетие, пустоши, починки, погосты, пере-

логи — тысячелетие. Государство без государства, но растет как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками, тогда из Киева побежав, потащились, и — что, думаешь, с собой потащили? — песни, песни свои за собой понесли, обряды, пронесли через тысячелетие, песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова — член семейства, а мерин каурый — брат по несчастью; вместо пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотьему богу, молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью, и народ от него — в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яик, — от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было? — лешаи, ведьмы, водяные, никак не господь Саваоф.

И серенький попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами, сощуренными в бороде:

— Видишь, краюху? — носят! Вот! Хи-хи! Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в Истории моей сказано. Мощи вскрывали — солома?.. Слушай, вот. Сектанты за веру на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили: — как там хочешь, а веруй по-православному! А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта, уравниены в правах! хи-хи-хи!.. Православная секта!.. и-ихи-хи-хи-хи... В секту за шиворот не потащишь!.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет, — ихи-хи-хи! — лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла, как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин... По тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят — религиозный подъем!.. Видишь, краюха?.. — носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей, — да носят-то все меньше и меньше. Я вот, православный архипастырь, пешочком хожу, пешочком... ихи-хи-хи!..

Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, жмуря в бороде глазки со слезинками.

Кирпичные стены келий крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу в темном кивоте черные лики икон пред лампадами хмуро молчат. И Глеб долго молчит. Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келии же сыро, прохладно.

— Да эээ!.. нельзя в полюшке работать!..

— Что же такое религия, владыко?

— Идея, культура, — отвечает попик, уже не хихикая.

— А Бог?

— Идея. Фикция! — и попик вновь хихикает хитро. — Владыко, преосвященный, говоришь? — из ума выживаю?.. из ума... восьмой десяток!.. не верю!.. Будет, поврали! понабивали мощи соломой!.. Ты — внучек?

— Владыко! — и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. — Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами — класс, буржуазия, социальное неравенство — и получится большевизм!.. А я хочу чистоты, правды, — бога, веры, справедливости непреложной... Зачем кровь?..

— А, а, без крови? — все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!.. Слышишь, как революция воет — как ведьма в метель! слушай: — Гвииуу, гвииуу! шооя, шоооя... гаау. И леший барабанит: — гла-вбум! гла-вбуум!.. А ведьмы задом-передом подмахивают: — кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится: — нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег: — шооя, шоооя, шооя... хмууу... И ветер: — гвииууу... Слышишь?

Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыко, ерзает на высоком своем табурете, — архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево, знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зноем, — а вечером будут желтые сумерки, и бьют колокола в соборе: — дон-дон-дон!..

Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большою своею широкою грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете беззубо стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами, выеденными молью, скалится на полки белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша, князь долго молчит и говорит хмуро:

— Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу...

— Барин!..

— Слышали?! Пусть он выпьет за второе мая... Можете не говорить ему, что это от меня... Н-но пусть он выпьет за второе мая!.. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом... За второе мая!.. Ступайте.

Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго остро смотрит на мать кумышки, потом пьет.

— За второе мая! — говорит он.

Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито-уверенными шагами. Дом притих в сумерках, в коридоре горит уже не светлая лампочка, тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княгиня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловой, отдыхает от дневных своих больших дел.

— Второго мая... второго мая, матушка, соловьи начинают петь, после первомайского трудового праздника, и мы именинники... Ночи тогда синие, синие, холодно-вато-росные, обильные, буйные... Второго мая, — в пьяную майскую ночь и целомудреннейшую!.. А потом — потом мрак! Ночь!.. — говорит князь Борис.

— Что это такое ты болтаешь? — подозрительно спрашивает мать.

— Еленка, поди вон!.. Я с матерью хочу говорить. О братстве, о равенстве!..

— Это еще что?! — не ходи, сестрица!..

— Как хочешь, мать!.. как хочешь!.. Странно, тебя надо ненавидеть, мадам Попкова, а я ненавижу отца. Addio.

Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампы и светлые, высокие восковые свечи, и перед кивотом маленький налойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном, воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон — днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему.

Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо, князь-отец еще во сне кротко улыбается и, не видя Бориса, говорит:

— Я во сне разметался, разметался?.. Да?.. Простит Христос!..

Увидав же сына, он спрашивает смущенно:

— Смущать? Смущать опять пришел, Боря? Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками.

— Нет, папочка. Поговорить хочу.

— Поговори, поговори! Поспрашивай! Простит Христос!

— Вы все молитесь, папочка?

— Молюсь, Боря.

Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза, белые же его волосы, борода, усы — всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впалыми губами.

— Что же — спокой от молитвы?

— Нет, Боря, — кротко и коротко отвечает отец.

— Почему так?

— Правду скажу, правду скажу!.. Простит Христос. Грехи на мне, — грехи... А разве можно о себе просить господа? Стыдно о себе просить! За себя просить — грех, грех, Боря! Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за

Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь... за всех!.. — глаза отца горят сумасшествием, — или, быть может, экстазом? — А мои-то грехи — при мне они! Тут вот, кругом, около! Большие грехи, страшные... И за них молиться нельзя. Грех! Гордость не позволяет! Гордость! А геенна огненная — страшно!.. Страшно, Боря!.. Только постом спасаю себя... Что солнышка красного краше? — не вижу его, не увижу... Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны, — отказываю! В смерть гляжу. Спасет Христос! — Отец быстро и судорожно крестится. — Спасет Христос!..

— Теперь на тройке по морозцу не поедешь, — лето, — вяло говорит сын.

— Спасет Христос!.. Борис хмуро слушает.

— Позвольте, папочка. Вопросик один. Про-зре-ли? На Поп-ко-вых женились?!

Отец быстро отвечает:

— Прозрел, сынок, прозрел, Боря! Увидел землю по весне, красоту ее безмерную, правду-мудрость божью почувствовал, и испугал меня грех мой, придавил своей силою, и прозрел, Боря, прозрел!

— Та-ак, — говорит тяжело Борис, не отводя хмурых своих глаз от отца. — А над землей, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячьим послали, старую ветошку!.. Впрочем, не то!.. — Вы, папочка, случайно не знаете, что такое прогрессивный паралич?

Сразу меняется лицо отца, становится трусливым и жалким, и старик откидывает худое свое тело от сына к стенке.

— Опять? опять смущаешь? — говорит он одними губами. — Не знаю...

Сын тяжело поднимается около отца.

— Слушай! Не кривляйся, отец, — слышишь?! Говори!..

— Не знаю я!

— Говори!

Князь Борис большою своей рукой берет кудлатую бороду отца.

— У меня сифилис. У Егора сифилис. Константин, Евраф, Дмитрий, Ольга, Мария, Прасковья, Людмила — умерли детьми, якобы в золотухе. Глеб — выродок, Катерина — выродок, Лидия — выродок! — одна Наталья человек... Говори, старик!..

Отец ежится, судорожно охватывает иссохшими своими руками руку Бориса и плачет, — морщась, всхлипывая, по-детски.

— Не знаю я, не знаю!.. — говорит он злобно. — Уйди, большевик!

— Прикидываешься, святой!

Горят у темных образов тусклые лампы и тонкие светлые свечи. Ладаном пахнет и кипарисовым маслом. Вскоре князь Борис возвращается к себе, становится к печке, прижимает к мертвому ее печному холоду — грудь, живот, колени и так стоит неподвижно.

И —

— Развязки —

В комнате Лидии Евграфовны горят свечи. Баулы раскрыты, на стульях, на креслах разложено белье, платья, книги без переплетов, саквояжи, ноты. На столе лежит смятая телеграмма, — Лидия берет ее и читает вновь:

«Здоровье целую Бриллинг».

Губы дергаются больно, телеграмма падает на пол.

— Здоровье. Пью здоровье! Пьет мое здоровье! Старуха, старуха!.. Глеб!..

66

Звонки. Истерика. Глеба нет. Марфуша бежит за водой.

— Старуха! Старуха! Все ненужно! Пьет здоровье. Здоровье! ха-ха!.. Уйдите, уйдите все! Я одна, одна...

Лидия Евграфовна лежит с полотенцем на голове. Губы Лидии дергаются больно, глаза закрыты. Лидия долго лежит неподвижно, затем берет из саквояжа маленький блестящий шприц, поднимает юбки, расталкивает белье на колене и впрыскивает морфий. Через несколько минут глаза Лидии влажны в наслаждении, и все не перестают судорожно подергиваться губы. Желтые сумерки.

Катерина уходила в город. Почти бегом, с губами, сжатыми в испуге и боли и в боязни разрыдаться, входит она в комнату Лидии Евграфовны. В ее глазах непонимание и ужас. Лидия лежит с полузакрытыми глазами.

— Что? почему так рано? — в полусне шепчет Лидия.

— У меня... у меня... доктор сказал... наследственный... позорная болезнь!

— Да? Уже? — шепчет безразлично Лидия, глядя безразличными своими полузакрытыми глазами куда-то в потолок.

День цветет зноем и солнцем, и вечером — желтые сумерки. Бьют успокоенно, как в Китеже, колокола в соборе: — дон! дон! Дон!.. — точно камень, брошенный в заводь с купавами. И тогда в казармах играют серебряную зорю.

Глеб встретил Наталью около Старого Собора, за парком, — она шла с обхода в больнице, ее провожал Архипов, и Архипов сейчас же ушел.

— Наталья, ты уходишь из дома? — сказал Глеб.

— Да, я уйду.

— Наташа, ведь дом умирает, нельзя так жестоко! Ты одна сильная. Тяжело умирать, Наташа.

— Дом все равно умрет, он умер. А я должна жить и работать. — Умирать? — и Наталья говорит тихо: — Надо что-то сделать, чтобы умереть. Я курсисткой, девушкой, много мечтала. А вон у того, что шел со мною, застрелился отец, и сын знал, что отец застрелится. Что думали они перед смертью, — они — отец и сын? Сын старался наверное только думать, чтобы не страдать.

— Ты любишь Архипова?

— Нет.

— Как... как девушка?

— Нет. Я никого не люблю. Я не могу любить. Я не девушка. Любить нельзя. Это пошлость и страдание.

— Почему?

— Девушкой, на курсах, я мечтала, ну да, о юноше. Встретила, полюбила, сошлась и должна была ро-

дить. Когда он, тот, меня бросил, я была, как бабочка с обожженными крыльями, и я думала — мои песни спеты, все кончено. Но теперь я знаю, что ничего не кончено. Это жизнь. Жизнь не в сентиментальных бирюльках романтизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не изменю мужу, — но я не отдам ему души, лишь тело, чтобы иметь ребенка. Это будет неуютно, холодно, но честно. Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца. Я хочу ребенка. Если бы была любовь, помутился бы разум.

— А молодость, а поэзия?

— Когда женщина, ребенок, — ей и молодость, и поэзия. Очень хорошо — молодость. Но когда женщине сорок лет — у нее нет молодости в силу естественных причин.

— А тебе сколько лет, Наташа?

— Мне двадцать восемь. Мне еще жить. Все, кто жив, должен идти.

— Куда идти?

— В революцию. Эти дни не вернутся еще раз.

— Ты... Ты, Наталья...

— Я большевичка, Глеб! Ты теперь знаешь, Глеб, как и я знаю, что самое ценное — хлеб и сапоги, что ли, — дороже всех теорий, потому что без хлеба и мастерового умрешь ты и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Вечером около дома Ордыниных пусто. Хмурый, большой, крашенный охрой и сейчас зеленоватый, облупившийся, осевший, — смотрит дом, как злой старичище. Когда Глеб и Наталья стоят на парадном, Глеб говорит:

— Тяжело умирать, Наташа! Ты обратила внимание, у нас в доме потускнели и выцвели зеркала, и их очень много. Мне страшно все время встречать в них свое лицо. Все разбито, все мечты.

И когда идут они по каменной лестнице, мимо железных, за семью замками, дверей кладовых, наверху

в доме гудит выстрел: — это стреляется князь Борис. А сейчас же за выстрелом, из залы, по всему дому несется победный Интернационал — и гнусно, пошлейшим мотивчиком, вплетается в него «Юберхард унд Кунигунде».

ГЛАВА III

О СВОБОДАХ

Глазами Андрея

И опять — та ночь: —

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь езьт, квардира овице-
ра-дворянина-здудента Волковися?

Андрей Волкович безразлично отве-
тил:

— Обойдите дом, там по лестнице во
второй этаж! — сказав, позевнул, постоял
у калитки лениво, лениво пошел в дом, к
парадному входу, —

и —

и —

радость безмерная, свобода! Свобода!

Дом, старые дни, старая жизнь, — навсегда позади, — смерть им! Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами глаз от падения, — и тогда осталось одно: красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом: костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи. — Свобода! свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться, — быть нищим! — И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, — не знать своего завтра. И дни в зное — как

солдатка в сарафане, в тридцать лет, — как те, что жили в лесах, за Ордыниным, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать ту солдатку.

Манит земля к себе маями, — в мае, в рассвете, в тумане, девушке — полежать на земле, и уйдешь в землю: притягивает земля. И первый же вечер, когда Андрей пришел на Черные Речки, в Поперечье, к нему постучали в оконце девушки и крикнули:

— Андрюша, выходи гулять! Метелицу играть будем! — рассыпались девичьи смешки и прыснули от оконца.

Андрей вышел из избы. В зеленых сумерках, за церковью, на холме, над обрывом, стояли девушки в пестрых платьях и в белых платах, и около них взъерошенными черными силуэтами торчали парни.

— Выходи! не бойся! Метелицу играть будем! Стала на минуту тишина. Вдалеке кричали коростели. Затем зазвенела разом наборная:

Чи-ви-ли-ви-ли-ви-ли!
Каво хочешь вери!..
Стоит елочка на горочке,
На самой высоте!
Создай, боже, помоложе,
По моей, по красоте-э...

Вечер был тихий и ясный, с белыми звездами. Никола, что на Белых-Колодезях, — церковь казалась синей, строгой, черная высокая ее крыша и крест уходили в небо, к белым звездам. Были над рекой и полями тишина и мир. Был смутный, зеленый шум, и все же стояла тишина, — та, которую творит ночь. И всю ночь до хрустальной зари пели девушки. И ночью же пришла гроза, шла с востока, громыхала, светила молниями, дождь прошел грозный, поспешный, нужный для зеленей. Андрей бродил эту ночь по откосам. — Другая жизнь! Быть нищим. Ничего не иметь. От всего отказаться.

Церковь Николы, что на Белых-Колодезях, сложена из белого известняка, стояла на холме, над рекою. Некогда здесь был монастырь, теперь осталась белая церковь, вросшая в землю, поросшая мхом, со слюдяными оконцами, глядящими долу, с острой крышей, покосившейся и почерневшей — погост Белые-Колодези. С холма был широкий вид на реку, на заречье, на заречные синие еловые леса, на вечный простор. Вокруг погоста росли медностволовые сосны и мох. Из земли, справа от церковных ступенек, бил студеный ключ, вделанный в липовую колоду (от него и пошло название Белые-Колодези), — ключ столетиями стекал под откос, пробил в холме промоину, прошел проселок, — с той стороны на откосе под веретием расположилась усадьба князей Ордынинных. За рекою в лесах лежало село Черные Речки. Одинокó высилась лысая гора Увек. И кругом леса, леса к северному закрою, и степи, степи — к южному.

В тот вечер, когда пришел Андрей, он не застал Егорки. В избе пахло травами, и хлеба и меда — первого меда — подала ему Арина. Тогда пели уже петухи, и Арина, красавица, ушла в лес, в ночь.

— МАНИТ МАЯМИ ЗЕМЛЯ К СЕБЕ, — В МАЕ, В РАССВЕТЕ, В ТУМАНЕ. ПАХНУТ МАЙСКИЕ ТРАВЫ СЛАДОСТНЫМИ МЕДАМИ, В МАЕ НОЧАМИ ГОРЬКО ПАХНЕТ БЕРЕЗОЙ И ЧЕРЕМУХАМИ, НОЧИ МАЙСКИЕ ГЛУБОКИ, ПЬЯНЫ, И РАССВЕТЫ В МАЕ БАГРЯНЫ, КАК КРОВЬ И ОГОНЬ. АРИНА РОДИЛАСЬ У ДЕДА ЕГОРКИ МАЕМ, И БЫЛИ: МАЙ, НЕБО, СОСНЫ, ЗАЙМИЩЕ И РЕКА. ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ И ЕГОРКОЙ СОБИРАЛА ОНА ТРАВЫ, И ОТ НИХ АРИНА УЗНАЛА, ЧТО, КАК БУЙНИЧАЕТ МАЯМИ ЗЕМЛЯ, СОЛОВЬЯМИ, КУКУШКАМИ, В НОЧИ, — БУЙНА В ЧЕЛОВЕКЕ КРОВЬ, КАК МАЙ, МЕСЯЦ ЦВЕТЕНИЯ. ЗНАХАРЬЯ ПОРОДА ЖИВЕТ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ, — У АРИНЫ, ДОЛЖНО БЫТЬ, БЫЛ МАЙ — БЕЗ ПОПА, БЕЗ ЛАДАНА, ПОД ЛАДАН ЧЕРЕМУХ И ПОД ОТПЕВАНИЕ СОЛОВЬИНОЕ. КТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ТОСКУЕТ КРОВЬ МОЛОДАЯ, ОДИНОКАЯ, В МОЛОДОМ СВОЕМ ТЕЛЕ, НОЧАМИ, МАЯМИ, В МАЙСКИЕ ЦВЕТОНОСНЫЕ НОЧИ?.. НЕ ПОТОМУ ЛИ СТАЛИ СЛОВА АРИНЫ ДЕРЗКИ И ОТКРОВЕННЫ ПО-БАБЬИ, — ЗНАХАРКА? ИЗ АРИНЫ-ДЕВУШКИ — СТАЛА ЖЕНЩИНА, КРАСИВАЯ, КРЕПКАЯ, РУМЯНАЯ, ШИРОКАЯ,

С ЧЕРНЫМИ ГЛАЗАМИ, ГЛЯДЯЩИМИ ДЕРЗКО, — ДЕРЗКАЯ, СВОЕВОЛЬНАЯ, ВОЛЬНАЯ, МОЛОДАЯ ЗНАХАРКА! РЕВОЛЮЦИЯ ПРИШЛА В ЧЕРНЫЕ РЕЧКИ, МАЕМ — МАНИТ МАЯМИ ЗЕМЛЯ! — АРИНА ВСТРЕТИЛА БУНТ, КАК ЗНАХАРЬ ЕГОРКА.

Дед знахарь Егорка ловил рыбу, когда пришел Андрей, и Андрей ходил к нему. Вода была быстрая, свободная, мутная, шелестела, точно дышала. И всю ночь были болотно-зеленые сумерки с белой конницей облаков. Стояла у суводи, нитку держал кривой Егорка, в белой копне волос и в белых портах, вода кружилась воронками, шипела, шалые щуки били сеть сильно, — Андрей ловил их на лету, холодных и склизких, блестящих в мути ночной голубиным крылом.

— Домекни-ка, — Егорка сказал шепотом. — Когда пошла эта крига? Думаешь, теперь выдумали? Как?

— Не знаю.

— А я думаю, ей и прадеды наши ловили. Как?.. Когда Николу ставили, — пятьсот лет тому, — уже тогда крига была... Тут допрежь монастырь был, разбойник его поставил, Реденя, — ну вот, говорю, монастырь этот сколько раз калмыки, татары, киргизы брали. За это меня из большевиков прямо в кутузку.

— За что?

— Ходила Россия под татарами — была татарская ига. Ходила Россия под немцами — была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец — он умный, да ум-то у него дурак, — про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернациёнала, а есть народная русская революция, бунт — и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича. — «А Карла Марксов?» — спрашивают. — Немец, говорю, а стало быть дурак. — «А Ленин?» — Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно комунесты. Должны, говорю, трезвонить от освобождения ига! Мужикам землю! Купцов — вон! Помещиков — вон, шкурники! Учредилку — вон, а надо совет на всю землю, чтобы все приходили, кто хочет, и под небом решали. Чай — вон, кофий — вон, — брага. Чтобы была вера и правда. Столица — Москва. Верь во что хошь, хоть

в чурбан. А коммунистов — тоже вон! — большевики, говорю, сами обойдутся. Ну, меня за дисциплину — прямым манером в кутузку.

Плеснулась в черной воде щука и ушла, испугавшись голоса громкого Егорки.

— Эк расшумелся, — сказал шепотом Егорка. — Вот Шак... Шекспирова, что ли? — Гамлета ты читал, а нашу метелицу, как девки играют, не знаешь. Или, положим — «Во субботу день ненастный»... Знаешь? Как?

— Нет, не знаю...

— То-то! Поди тоже коммунист!

И в это время на холме девушки запели сборную:

Отставала бела лебедь от стада лебединого,
Приставала бела лебедь ко стаду, ко серым гусям!

Потому что сегодня врывалось властно, потому что в буйной стихии человеческой был он листком, — оторвавшийся от времени, — пришел Андрей к мысли об иной свободе, — свободе изнутри, не извне: отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать, не жалеть, быть нищим, — только жить, чтобы видеть, с картошкой ли, с кислой капустой, в избе ли, свободным ли, связанным ли, — безразлично: пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой, чтобы видеть. По земле ходили черная оспа и голодный тиф. Утрами к Николе приносили покойников, иногда за полднями, к четырем часам, приходили крестить младенцев, и тогда звонили колокола, слышанные еще татарами. И каждый вечер пели у Николы девушки. Шел июнь.

А в деревне Черные Речки жили мужики, — и не родня, но Кононовы. С весны и по осень работали изо всех жил, от зари до зари, от стара до мала, обгорая от солнца и пота. И с осени до весны тоже работали, сгорая от дыма, как курные избы, мерзнув, недоедая. Жили труд-

но, сурово — и любили свою жизнь крепко, с ее дымом, холодом и зноем, немогою. Жили с лесом, с полем, с небом, — жить надо было в дружбе с ними, но и бороться упорно. Помнить надо было ночи, зори и пометы, поглядывать в гнилой угол, следить за сиверкой, слушать шум лесной и гогот. Старший в деревне — дед Кононов, Ионов-Кривой, и он уже не помнит, как звали его деда, но старобытные времена знает, помнит, как жили пращурь и прадеды, и как надо жить. И избы стали задами к лесу, над рекою, смотрят из-под сосен корявыми своими мордами хмуро, тусклые оконца — глаза — глядят по-волчьи, слезятся. Серые бревна легли, как морщины. Рыжая солома — волосы в скобку — упали до земли. Смотрят избы, как тысячи лет.

— А в усадьбе у князей Ордыниных, еще по весне, сели анархисты. — Это — глазами Андрея Волковича. —

В апрельскую ночь в княжий дом (пусть застужкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князя) неожиданно пришли, неизвестно откуда анархисты, размещались ночью, возили воза с пулеметами, винтовками и припасами, и уже утром веял над фронтоном флаг: —

— Да веет черное знамя свободных!

Проходил апрель, прошел май, отцветали черемуха, сирени, ландыши, отпели в зарослях, под усадьбою, соловьи. Анархисты, что приехали ночью, неожиданно-негаданно, на второе же утро, в синих рабочих блузах и кеши, выехали в поле пахать. — Андрей пришел на Черные Речки к Иванову дню. И к Ивановой ночи Андрей ушел в коммуны — жить. Проходили русальские недели, женщины из коммуны уходили на откос к Николе петь песни, и пришла Иванова ночь. В Иванову ночь жгли костры. Была белая ведьмовская ночь, жгли костры в тумане у реки, водили хороводы, прыгали через огонь. Аганька, товарищ Аганька, скакала усердно,

усердно пела, схватила за руку Андрея, устремилась с ним во мрак, к займищам, остановилась, держась за руку, сказала быстро ему, незнакомому:

— Сердце болит, танбовская я. Дочка у меня там осталась. В прислугах ходила, вольной жисти захотела. Сердце моя болит. Что-то дочка-т-ка? — опять стремительно бросилась в огонь, к Павленке.

И в ту же ночь впервые говорил Андрей с Анной. Тридцать лет, — тридцать лет Анны ушло, навсегда, кануло, и были в Анне прозрачность и трогательность: — те, что у осени в золотой листопад и в атласные звездопадные ночи. Андрей уходил в ночное. Перед рассветом (белая проходила туманная, ворожейная Иванова ночь) — на лугу Андрей встретил Анну, она шла одна, в белом тумане, в белом платье. Андрей подошел и заговорил:

— Лошади едят покойно. Сыро, — овода не мешают. Идемте, я вас перевезу на лодке. Какой туман! Иногда хочется идти, — идти, идти, — в туман!

Андрей очень много говорил с Анной в матовый тот рассвет. У Анны был муж, инженер на заводе, все что надо было изжить — там, в городе, с мужем, было изжито, отжито, ненужно. И Андрей знал, что в тот июньский рассвет Анна плакала. Надо жить. Муж никогда не поймет, что есть Россия с ее Смутным временем, разиновщиной и пугачевщиной, с Семнадцатым годом, со старыми церквями, иконами, былинами, обрядицами, с Иулианией Лазаревской и Андреем Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и леши-ми. Никогда не поймет свободы от всего, — ничего не иметь, от всего отказаться, как Андрей, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда, — разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях? надо научиться смотреть на все и на себя — извне, только смотреть, никому не принадлежать. Идти, идти, изжить радость, страданья.

Шел сенокос, страда. Ночей почти не было, ночами казалось, что нет неба над речными поемами, поляя-

ми, суходолами и лесами — и над Увеком. Когда Андрей пришел впервые в коммуну, его окликнули:

— Кто идет?!

И дед Егорка ответил паролем:

— Гайда!

Дорога от ворот со львами, под холмом, пролегла около каменного забора с вазами на столбах. По косогору шли каменистые тропки к огороду, на луг и к реке. За купами деревьев, за зеленым плацом, за конным двором, стоял хмурый дом классической архитектуры, по бокам тянулись службы и флигеля. На крыльце из-за колонн смотрел тупорылый пулемет, максим. На дворе никого не было. Тропинкой обогнули дом, зарослями миндаля и сирени прошли на террасу. В столовой, за длинными столами сидели анархисты, кончали ужин. Дед Егорка покривлялся и ушел. Пригнали коров, женщины пошли доить. Павленко ушел в ночное. Был уже поздний час, но небо было еще зелено, по лугу пополз туман. Многие ушли спать, чтобы встать завтра на заре. Андрей сидел с товарищем Юзиком в кабинете, со свечой, стены блестя золочеными корками книг. Товарищ Юзик стоял у окна и смотрел в небо.

— Какая здесь тихая весна, — сказал Юзик. — И какие тихие у вас звезды, — кажется, они густят. Вы никогда не увлекались астрономией? — Когда думаешь о звездах, начинаешь чувствовать, что мы ничтожны. Земля — это мигровая тюгма: — что же мы, люди? Что значит наша геволуция и неспгаведливость?

76

Андрей откликнулся поспешно:

— Да, Да! Я тоже так думаю! Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли.

— Да, конечно же!.. — Юзик помолчал. — Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане — Южный Кгест... Я исколесил весь миг, и нигде нет такой стганы, как Госсия. Мы пгиехали сюда, чтобы жить на земле, чтобы делать жизнь... Как хогошо здесь, и какие книги в этих шкафах, книги собигались два столетия!.. С точки згения европейцев, мы, гусские, пегеживаем сгедневековье.

Вошли Павленко, Свирид, Наталья, Ирина, Аганька. Аганька принесла жбан молока и овсяных лепешек.

— Кто хочет?

В гостиной сиротливо горела свеча, в тщательном порядке стояла золоченая мебель стиля ампир, за аркой был совершенно пустой зал. Окна гостиной и кабинета были открыты. Под откосом на лугу на разные голоса кричали, шумели и пели птицы и насекомые, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается оркестр. Ирина взяла лениво несколько аккордов на рояли, и Аганька приготовилась плясать. Вошел Семен Иванович, с бородою, как у Маркса, — с кипю газет и заговорил желчно о разрухе. — В тот вечер Андрей возвращался к Николе и, стоя у Николы, еще раз пережил остро, больно и нежно всю ту радость, его радость, что творилась у него мечтой, революцией — мечтой о правде нищенства, о справедливости, о красоте — старых пятивековых церквей.

У анархистов Андрей поднимался с зарей, — летней, безмерно ясной, — и с бочкой на паре в дышлах мчал на реку за водой; ему помогала качать насос Аганька. Накачав и напоив лошадей, они, разделенные кустом, купались. И Андрей увозил воду сначала на огород и в парк, затем на кухню. Солнце поднималось красное и медленное, одежда мокла медвяной росой, из займищ уходили последние клочья тумана. В двенадцать шабашили до трех, мужчины поднимали пар, собирались к обеду, бронзовые от солнца, потные от труда, с расстегнутыми воротами. Никогда раньше Андрей не работал мышцами, — сладко ныли плечи, поясница и бедра, голова была легкой, мысли — ясны и тихи. Тихие и ясные приходили вечера, Андрею хотелось спать, ныли плечи, и — в бессоннице — мир казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы. Всегда вечерами гуляла с Андреем товарищ Наташа, плела венки себе и ему и, смеясь, говорила Андрею — о том, что он такой же тихий, как василек. Вечерами привозили газеты, газетчики писали о том, что социалистическое отечество

в опасности, бунтовали казаки, украинцы, поляки, — и это казалось неважным, — кто разрушит стеклянную заводь бессонницы? Мысли были ясны и легки, преломленные через хрупкую жажду сна. И июнь с фарфоровыми жасминами, с хрустальными его восходами, прошел уже.

Днем работал Андрей в парке с Аганькой — и любовался ею. Она всегда была с песнями и присказками, он не видел ее усталой и не знал, когда она спит. Невысокая, коренастая, босая, с смеющейся рожей, она будила его зорями, прыскавая водой, уже подоивши коров. Как лягушка плавала она, бесстыдная, купаясь, и потом весь день ворочала — в парке, на картошке, в огороде. Вечерами она «охмурялась» — сначала с Павленком, затем с Свиридом, — «эх, — кому какое дело, с кем я ночьку просидела!» В сенокос Андрей с Аганькой вдвоем ворошили в саду, Андрей, останавливался покурить, Аганька играла граблями, бедрами, точно молодая лошадь, говорила озорно:

— Ты, Андрюша, не охмурайся, а работай!

— Откуда ты, Аганька? Когда ты спишь, отдыхаешь?

— Откуда все: — от мамки!

— Не дури!

— Где уж нам уж, мы уж так уж!.. Ты вороши, не охмурайся!..

И Аганька умерла в июле — по земле ходили черная оспа и тиф... — Смерть, смута, голод, лучина: — видеть, чтобы жить. Первые дни июля, перед зноем, пять дней шли дожди и грозы, анархисты были в доме, — и никогда у Андрея не было столько радости, радости бытия!

— Это глазами Андрея, поэзия Андрея Волковича.

Глазами Натальи

Над Николой, над Черными Речками, над полями, высился одиноко холм, пустынный, лысый, по обрывам

лишь поросший калиною, стоял одиноко, пустынный, высокий. К северному от него закрою небесному щетинились темными пилками леса, и к югу шли степи. И века сохранили за ним свое имя — Увек. И шел июль.

На вершине Увека люди заметили развалины и курганы, — археолог Баудек и художник Ордынин с артелью мужиков пришли их раскапывать. Раскопки длились третью неделю, и из земли выходили века. На Увеке нашли остатки древнего города, шли уступами каменные развалины водоподъемников, фундаменты строений, канализация, — скрытое суглинками и черноземом это осталось не от финнов, не от скифов, не от булгар, — кто-то неведомый приходил сюда из Азиатских степей, чтобы поставить город и исчезнуть из истории — навсегда. А за ними, за теми неведомыми, были здесь скифы, и они оставили свои курганы. В курганах, в каменных склепах, в каменных гробницах, лежали человеческие костяки, в одеждах, рассыпающихся от прикосновения, как пепел, с кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье, — с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. В каменных склепах было мертво, ничем уже не пахло, и каждый раз, когда надо было входить в них, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь. Вершина Увека, в камнях, облысела, серебряной пыльной щетиной поросла полынь, пахнула горько. — Века. — Века учат так же, как звезды, и Баудек знал радость горечи. Понятия археолога Баудека спутались веками. Вещь всегда говорит больше не о жизни, но об искусстве, и быт — есть уже искусство. Жизнь мерил Баудек художеством, как и всякий художник. И — от веков и революции Баудек и Глеб Ордынин хотели следить за теми сектантами, что жили хуторами в степи. И горько пахло над Увеком полынью.

Здесь на Увеке землекопы просыпались с зарей, кипятили в котле воду. Копали. В полдни привозили из коммуны обед. Отдыхали. Снова копали, до вечерней зори. Тогда жгли костры и сидели около них, толкуя,

пели песни... За рекой в деревне — пахали, косили, ели, пили и спали, чтобы жить, — так же, как и под обрывом в коммуне и в степи у сектантов, где тоже трудились, ели и спали. И еще, кроме того, все испивали и хотели испытать покой и радость. Шел знойный июль, испепеляя дни; как всегда, дни были прозрачны и томительны, — ночи приносили покой и свою ночную смуту. — Одни раскапывали землю, сухой суглинок, промешанный кремнями и чертовыми пальцами, другие отвозили ее на тачках, просеивали в решетках. Дорылись до каменного входа. Склеп был темен, ничем не пахло. Гробница стояла на возвышении. Зажгли фонарики. Зарисовали. Осветили магнием — фотографировали. Было тихо и безмолвно. Сняли десятипудовую позеленевшую крышку. Другие у обрыва на веретии окапывали остатки круглого некоего сооружения, камни которого не засорило еще время.

Круто падал Увек. Под Увеком пустынным простором шли полои, за поемами зубчатой щетиной поднимались леса Чернореченские, Черноречье, и Баудеку рассказывали рассказню о том, что в Медыни засели дезертиры, зеленая разбойная армия, накопавшая землянок, наставившая шалашей, рассыпавшая по кустам своих дозорных, с пулеметами, винтовками, готовая, если тиснут ее, уйти в степь, взбунтоваться, пойти на города.

— Впрочем, это глазами анархистки Натальи.

Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью, полынь обросла холм серебряной пыльной щетиной, пахнуло горько и сухо. С пустынной вершины было видно широко кругом, под холмом текла река, за рекою в тумане светились костры последних сенокосов и ночных. Из поля повеяло сухью. Остановились, чтобы проститься, — и заметили: — от балки к раскопкам, с той стороны, от Николы,

бежали гуськом, широкой, неспешной побегой, голые женщины, с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках. Женщины безмолвно добежали до раскопок, обежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке, поднимая пыльную пыль.

Заговорил Баудек:

— Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысяча лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистой. Это неделя Петра-Солнцеворота. Кто придумает — Петра-Солнцеворота!? Это прекраснее раскопок! Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают нас. Это тайна девушек.

Опять из поля повеяло сухью. В безмерном небе упала звезда, — приходил уже июльский звездопад. Кузнечики звенели сухо и душно. Пахло горько полынью.

Простились. Прощаясь, Баудек задержал руку Натальи, сказал глухо:

— Наталья, необыкновенная, когда вы будете моей женой?

Наталья ответила не сразу, тихо:

— Оставьте, Флор.

Баудек пошел к палаткам. Наталья вернулась к обрыву узкой тропинкой, заросшей калиной, спустилась в усадьбу, в коммуны. Ночь не могла утолить жажду жаркого дня, в ночи было много жажды и зноя, сухо блестели потускневшим серебром — трава, дали, покой и воздух. По кремнистой тропинке сыпались камешки.

У конного двора лежал Свирид, напевал, глядя в небо:

КАМА, КАМА, МАТЬ РИ-КА-А!..
 БЕЙ ПА-А РОЖИ КАЛЧА-КА-А!
 КАМА, КАМА ВОДЯНИ-СТА!
 БЕЙ ПА-А РОЖИ КАММУ-НИСТА!..

Заметил Наталью, сказал:

— Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть, в любую бы сыграть! Все коммунисты в расте-

ниях. К копателям ходили? — говорят, город выкапывают, — время теперь такое, до всего докапываются! Да!

И снова запел:

КАМА, КАМА, МАТЬ РИ-КА-А!..

— Газеты со станции привезли. Очень здесь полынной пахнет. Страна!

Наталья прошла в читальню, зажгла свечу, тусклый свет масляно отразился в пожелтевших мраморных колоннах. По-старинному стояли шкафы с книгами, золоченые кресла, круглый стол посреди, в газетах. Склонила голову, упали тяжелые косы, — читала газеты. И газеты из губернии на коричневой бумаге, и газеты из Москвы на синей бумаге из опилок, — были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба. Не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас, — шел девятнадцатый год.

Вошел Семен Иванович, старый революционер, с бородою, как у Маркса, опустил в кресло, непокойно закурил собачку.

— Наталья.

— Да.

— Я был в городе. Вы представляете, что творится? Ничего нет. Зимой все умрут от голода и замерзнут. Нет какой-то соли, без которой нельзя варить сталь, без стали нельзя делать пил, нечем пилить дрова, — зимой дома замерзнут, — От какой-то соли! Жутко! Вы чувствуете, какая жуть! — какая жуткая, глухая тишина. Взгляните — естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь. Кругом смерть, голод, цынга, тиф, оспа, холера... Леса и овраги кишат разбойниками. Вы слышите — мертвая тишина! Смерть. В степи есть села, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры... Русский народ!

В комнате Натальи, в мезонине, в углу стояло распятие с пучком трав, заткнутым за него — это осталось еще от бар. Зеркало на пузатом туалете красного дерева,

со старинными нужными безделушками пожухнуло и полупилось. Ящик от туалета был раскрыт: оттуда еще пахло по-помещичьи воском, и на дне валялись пестрые шелковые лоскутики, — эта комната у Ордыниных была девичьей. Лежали коврики и дорожки. За окнами широко было видно поемы, реку, — подумалось, что зимой весь этот пустой простор бел от снегов. Наталья стояла у окна долго, переплетала волосы, скинула сарафан. Думала — об археологе Баудеке, о Семене Ивановиче, о себе, — о революции, — о ее горечи — своей горечи.

Первыми о рассвете сказали стрижи, летали в желтом сухом мраке, щебеча. Пролетала последняя летучая мышь. На рассвете пришла Ирина. Села молча на окно. С рассветом горько запахло полынью, — и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и мертвой воды пахнут не только суходольные июли, — пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни — дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб изгоняют чертей и нечисть. — Русский народ, — вспомнила. В апреле, когда шли за белыми, на маленькой степной станцийке, где были небо, степь, пять тополей, рельсы и станционная изба, заметила троих, — двух мужиков и ребенка. Все трое были в лаптях, старик в полушубке, а девочка полуголая. У всех были носы, верно говорящие, что в их крови есть и чуваш и татарин. У всех троих были испытанные лица. Меркнул широкий закат. Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие, — или, быть может, мудрость веков, которую нельзя понять. Наталья тогда думала: вот — подлинный русский народ, эти вот испытанные, серые, проеденные грязью и потом, с лицом жутким, как изба, с волосами, как соломенная крыша. Старик глядел на запад; другой сидел неподвижно, подогнув ногу и положив на нее голову. Девочка спала, разметавшись по асфальту, захарканному и заплеванному подсолнечной шелухой. Молчали. И смотреть на них было томительно и жутко, — на тех,

которыми и именем которых творится революция. Народ без истории, — ибо где история русского народа? — народ, создавший свои песни, свои напевы, свои сказки... Потом эти мужики случайно зашли в комму-ну, пели, как калики, кланялись, просили милостыню, рассказывали, что они «володимирски», пригнал их голод, ходят ради Христа: дома оставили закованные избы, съели все, даже лошадей. И Наталья заметила: с них падали вши. Та же станция, где встретила она их впервые, называлась «Разъезд Мар».

На дворе зашумели ведрами, женщины пошли до-ить. Пригнали из ночного лошадей. Семен Иванович, не спавший ночи, подмазывал со Свиридом телегу, соби-рался в поемы за сеном. Шумели подростки уже цыпля-та. Пришел день, жаром своим испепеляющий уже зем-лю, когда надо было испить его жажду, чтобы вечером идти за иной полынью, полынью Баудека, за горечью радости, ибо никогда не было у Натальи этой радости полынней, и принесли ее эти дни, когда надо жить — сейчас или никогда.

Солнце проходило знойное свое солнцепутье, то-мил день зноем, звоном тишины, дрожали дали мел-кою знойной дрожью, как расплавленное стекло. В за-полденный уповод, в отдых, приходила Наталья на раскопки, сидела с Баудеком под солнцем, среди разво-роченной земли, на опрокинутой тачке. Жгло солнце, и на тачках, на черноземе, на камнях, на палатках, на траве лежали знойные краски, точно пестрые шелко-вые лоскутья.

Наталья говорила о зное, о революции, о днях: всю кровь свою почуяла, приняла революцию, хотела творить ее, — и теперешние дни принесли полынью, дни теперешние пахнут полынью, — говорила как Се-мен Иванович. И еще, потому что Баудек положил го-лову к ней на колени, потому что ворот вышитой его рубахи был расстегнут, открывал шею, и был зной, —

чуяла иную полынь, о которой молчала. И опять говорила как Семен Иванович.

Баудек лежал на спине, полузакрыв серые свои глаза, держал Натальину руку и, когда она замолчала в зное, заговорил:

— Россия. Революция. Да. Пахнет полынью — живой и мертвою водою? — Да!.. Все гаснет? нет путей? Да... Вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок Иванушка совсем погиб, у него ничего не осталось, ему нельзя было даже умереть. Дурачок Иванушка победил, потому что с ним была правда, правда кривду борет, вся кривда погибнет. Все сказки заплетаются горем, страхом и кривдой — и расплетаются правдой. Посмотрите кругом — в России сейчас сказка. Сказки творит народ. Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в семнадцатый век, и не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите кругом — сказка. Пахнет полынью — потому что сказка. И у нас, вот у нас двоих, — тоже сказка, ваши руки пахнут полынью!

Баудек положил Натальину руку на глаза, поцеловал тихо ладонь. Наталья сидела склонившись, упали кося, — опять почувяла остро, что революция для нее связана с радостью, радостью буйной, с той, где скорбь идет рядом, полынная скорбь. Сказка. Как в сказке Увек, как в сказке заречье, как в сказке Семен Иванович, с бороною Маркса, водяного Маркса, злого, как Кащей. Тачки, палатки, земля, Увек, река, дали — блестели, горели, светились знойными лоскутьями. Было кругом огненно, пустынно и безмолвно. Солнце на своем пути шло к трем, понемногу выползали из-под тачек, из ям землекопы, одеты, как послал бог, в рваные порты, штаны из мешков, прикрытые рогожей, зевали, хмурились, пили из ведерок воду, свертывали сигарки.

Один сел против Баудека, закурил, почесал открытую свою волосатую грудь, сказал не спеша:

— Айда начинать, Флорыч!.. Лошадь бы заложить. Михайло, надо полагать, в сыпе свалился...

К вечеру затрещали кузнечики. Наталья была на огородах, носила ведра, поливала гряды, капельками на лбу выступил пот, и тело, напрягаясь под тяжестью ведра, ныло сладко, неизбытою крепостью. Капли воды брызгались на босые ноги, и прохлада несла отдых. К вечеру в вишняке кричала горихвостка. Летали лениво в золотом воздухе последние пчелы, направляясь к пасеке. Ходила в вишняк, ела рдяные вишни с соком как кровь. В кустах росли голубые колокольчики и медвяница, — рвала по привычке снопы букетов. У себя, в мезонине, в девичьей комнате разбирала в туалетном ящике старые шелковые лоскутья, вдыхала запах шелка, воска и кислых старинных духов. Комнату свою увидела новыми глазами: в комнате был зеленый сумрак, и по полу шли легкие дрожащие тени, белые стены принимали в старческое свое упокоение легко и просто. Стояла над тазом, плескалась холодной водой.

Солнце уходило широким желтым закатом.

Знойный день отцвел желтыми сумерками. В семь бил колокол к ужину, и в буфетной на полчаса было шумно, толпились около котла с кашей, лили из ведерок в тарелки молоко, затем пили чай, разнося стаканы по всем комнатам. На террасе, заросшей миндалями и туями, был гость, сектант — братец с соседнего хутора Донат, с апостольской бородой, во всем белом и в пудовых сапогах с подковами: заезжал поговорить о лошадях. От чая братец Донат отказался, выпил молока. На террасе с ним сидел Семен Иванович. Небо умирало огненными развалинами облаков. В зарослях у террасы одиноко и горько свистела горихвостка: — ви-ти, ви-ти-тсс!..

Семен Иванович, в блузе, тоже старик, по-молодому поместился на барьере, скрестив руки и прислонив голову к колонне. Донат сидел у стола, покойно, прямо, положив ногу на ногу.

— Войны вы не признаете? — спросил Семен Иванович, как всегда сухо и неуловимо-зло.

— Война нам не нужна-с.

— А у вас на хуторах, мне говорили, нашли зарезанного черемиса, и, говорят, вы покрываете конокрадов?

— Не знаю, о каких случаях вы говорить изволите, — ответил покойно Донат. — По степи много волков ходит, не остерегаться нельзя. Мы в эти места при Екатерине пришли и живем как тридцать лет тому жили, и как сто, сами справляемся, своим обыком. Посему нам никаких правлений и не надо, а стало, быть, и воинов. Петербург-с это вроде лишая-с. Смею думать, народ сам лучше проживет без опеки, найдет время и отдохнуть, и размыслить. Скопом на-род-с, может, тысячу лет живет.

— Ну, а конокрадство? — перебивая Доната, едва приметно раздражаясь, спросил Семен Иванович.

— Не знаю, о каких случаях говорите. Никто этого не видел. Одначе думаю, если конокрада уловят — убьют. И убьют, я полагаю, с жестокостью-с. Татары иной раз ловят конокрадов, — связанных в стога закапывают и палят живьем. Жизнь у нас жестокая-с, сударь.

Огненные развалины меркли, точно угли, покрылись пеплом. На дворе замекали овцы, и щелкал бич. Горихвостка стихла. В гостиной зажгли свечу, в открытую дверь потянули бабочки. Затрещали кузнечики. Повеял ветер и принес не зной, а отдых. Темнело быстро, и вдалеке полыхнула зарница.

— Гроза будет, — сказал Донат, помолчал, не двигаясь, и заговорил о другом: — Смотрю на ваше хозяйство, сударь. Ни к чему. Плохо. Весьма плохо. Без умения. Молодятина не подтянута. Без умения-с, без любви. Ни к чему.

— Как умеем, — сухо ответил Семен Иванович. — Не сразу.

— Мужичкам бы землишку, по-божьи.

На террасу вышла Ирина, со свечою, в белом платье. Свечу Ирина поставила около Доната. Донат внимательно взглянул на нее, Ирина глаз не опустила,

свет упал сбоку, зрачки Ирины вспыхнули красными крапплаковыми огоньками.

— Семен Иванович, товарищи делают маленькое собрание в читальной, — сказала Ирина. — Товарища Юзика нет. Я побуду с гостем.

Семен Иванович поднялся, вслед ему сказал Донат:

— Про конокрадов говорили-с? Конокрады иной раз попадают, это верно. Мы живем, как сто лет жили. А вы вот из Петербурга приехали, когда он в лишаи пошел-с, да-с. В тесное время. У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь.

— Извините, я сию минуту, — сказал Семен Иванович и вышел.

Ирина села на его место, к колонне. Сидели молча. Опять обвеял ветерок и принес отдых. С юга шла тяжелая туча, поблескивая, громыхла злобно. Стемнело черно, было тихо и душно. Шелестели у свечи бабочки. В гостиной заиграл на рояли Андрей. Вдруг вдалеке за усадьбой кто-то свистнул два раза коротким разбойничьим посвистом, должно быть, сквозь пальцы. И Донат и Ирина насторожились. Донат пристально взглянул во мрак и опустил голову прислушиваясь. Ирина встала, постояла на ступеньках террасы и спустилась в темноту. Вскоре она вернулась, прошла в дом и вышла обратно в дождевом плаще и босая опять ушла за террасу. Закапал крупно дождь, рванулось несколько взмахов ветра, зашумели по-осеннему листья, свечной свет затрепыхался, точно качнулись каменные колонны и пол, и свеча потухла.

Семен Иванович прошел темными комнатами в читальную. В читальной горели две свечи, на диванах, на окнах, на полу в свободных позах сидели анархисты, курили, все — и мужчины и женщины, в синих блузах. У круглого стола принужденно стоял товарищ Константин. Семен Иванович сел к столу и взял карандаш.

— В чем дело, товарищи? — спросил Семен Иванович. Из угла, от Анны, ответил Кирилл:

— Мы хотим разрешить принципиальный вопрос. Товарищ Константин, уезжая в село, вынул у товарища Николая из ящика новые обмотки, без предупреждения, обмотки не вернул и этот факт вообще скрыл. Обмотки, само собой, не есть собственность товарища Николая, но они были в его пользовании. Как квалифицировать этот факт?

— Я мыслю это как воровство, — сказал Николай.

— Товарищи! Повремените! Нельзя так! — раздраженно возразил Семен Иванович и забарабанил тонкими своими пальцами по столу. — Надо сначала установить факт и принцип...

Семен Иванович говорил очень долго, потом говорили Кирилл, Константин, Николай, — и, наконец, вопрос окончательно запутался. Оказалось, что прецеденты уже были, Константин и Николай были в ссоре и что Константину обмотки необходимы, а у Николая лишние. За окном громыхал гром, сияли молнии, шумели вольно ветер и дождь. У свечей сиротливо летали бабочки, умирая. По стенам в шкафах тускло поблескивали корки книг и стекла. Стало очень дымно, от махорки. В конце опять говорил Семен Иванович — о том, что там, где подлинное братство, не может подняться вопроса о краже, но, с другой стороны, — это не принципиальное решение — и кончил:

— Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на товарище Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо?

Никто ничего не сказал. Все шумно поднялись и стали расходиться.

Андрей, встав на заре, утром возил воду, а потом весь день чистил навоз, изнемогая от жары, в поту, с истомленными глазами. После обеда до колокола он не пошел спать, — сидел в гостиной и играл на рояли, и казалось, в его музыке слышны были и жужжанье слепней, и пустынная знойная степная тишина, пустынь, зной. После колокола он опять таскал навоз, а вечером снова

играл. Когда Семен Иванович проходил гостиной после собрания, к нему подошел Андрей и, коснувшись его плеча, сказал:

— Семен Иванович!.. Я думал... Ирина. Я и она...

Семен Иванович освободил плечо, отстранив холодными своими пальцами руку Андрея, и раздраженно-устало ответил:

— Вы уже говорили, товарищ Андрей!.. Я слышал! Это ненормально. И вы, и Ирина разумные люди. Сентиментальная романтика абсолютно ни к чему. Братец уехал?

На террасе в колоннах шумел ветер, молнии полыхали ежеминутно, но гром гремел уже в стороне, — гроза проходила. Мрак был густ, черен и сыр. Полыхнула молния и осветила Доната, он сидел все в той же позе, в какой его оставил Семен Иванович, прямо, положив руку на стол и ногу на ногу.

— Извините, я задержался, — сказал Семен Иванович.

— Одначе, прощайте. Пора! — Донат поднялся.

— Куда же вы в грозу? Оставайтесь ночевать!

— Не впервой. Завтра вставать на заре. Пахать! Я по-лем.

Вскоре Донат выезжал из усадьбы. Дождь прошел, молнии в стороне мигали бессильно, была воробьиная ночь. За усадьбой Донат остановил лошадь, приложил ладонь к глазам, весь в белом, верхом на черном коне. Всматривался в фосфорические отсветы. Повременив, вставил два пальца в рот и коротко свистнул. Прислушался. Никто не ответил. Тогда Донат свернул с дороги и крупной рысью поехал по пустому полю.

Поздно ночью, когда гроза уже стихла, Баудек и Наталья пришли к раскопкам. У палаток жгли костер, сушились и грели воду. Костер горел ярко, потрескивал, разметывая искры, и, быть может, от него ночь

казалась душнее, чернее и четче. Иные у костра лежали, иные сидели, суша рубахи.

— А роса в ту ночь медвяна и лекарна, трава силу имеет особенную, целебную. И цветет в эту ночь, братцы, папоротник. А идти в этот лес надо с оглядкою, братцы, потому переходят той ночью деревья с места на место... Как?..

Замолчали.

Кто-то встал посмотреть котелок, корявая тень поползла по горе, упала за обрыв. Другой взял уголь и, перекидывая его с руки на руку, закурил. Было с минуту очень тихо, и в тишине четко слышались сверчки. За костром в степи полыхнула зарница, мертвый ее свет народился и исчезнул призрачно, — и зарница полыхнула не там, куда ушла гроза, а с юга, — должно быть, шла вторая гроза. Вороватый повеял ветерок, повеял влагою, — стало ясно, что идет вторая гроза.

Наталья и Баудек к огню не подошли, сели на тачках.

— А пришел я к вам, братцы, — не дело вы затеяли рыть эти места. Потому, место эта, Увек, тайная, и всегда она пахнет полынью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня, и в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна, красоты неписаной, оборочалась сорокою, — по степи летала, народ мутьянила, облютившись, как волк, черноту наводила... Дело эта старобытная. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко, — лежит царевна, спит, — не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нетути, — летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окны святою водою живою... Ну, и летает с тех пор по Увеку душа неприкаенная, плачет, с телой своей соединиться не может, о стены каменные бьется. Башня та развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится — плачет... Место эта глухая, тайная. Девки иносчас за красой за персидской сигають нагишом, ночью, в солноворот, об эту пору, одначе это не знатье... А так растет здесь полынка, и расти ей.

Кто-то возразил:

— Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич атаман Разин с горы той сошел, а стало-ть и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт.

— Сошел-то, сошел, сынок, — сказал первый, — да не дошёл еще до наших местов. Повремени, сынок, — повремени!.. Все будет! А леворюция — это ты верно — наша, бунт! Время не пришла. Народ рылу свою покажет, показал, — бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная, — где огонь, там и кровь. Мы молчком, мы молчком!..

— Д-да!..

Один из землекопов поднялся, пошел к палатке, заметил Баудека и сказал сухо:

— И ты, Флорыч, слушаешь? мужицких наших разговоров тебе слушать не след! Мало ли что говорим.

Замолчали. Иные безразлично изменили позы, закурили.

— Время теперь благодатная. Прощевайте, братцы. Не судите, коли ште! Прощай, барин! — С земли поднялся старик с белой бородой, в белых портах, босой, не спеша пошел к балке, — это был знахарь, кривой Егорка.

Зарницы мелькали ближе, чаще, четче. Ночь темнела упорно, глубоко. Вновь померкли звезды. Издалека, из безбрежности докатился гром новой грозы.

Наталья сидела на тачке, опираясь руками о днище, склонив голову, костер освещал ее слабо, чуяла, осязала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль; понимала, что горькая горечь полыни — сладость прекрасная, необыкновенная, безмерная радость. Каждое касание Баудека, еще неровное, обжигало живую водой.

Эту ночь нельзя было спать.

Гроза пришла с ливнем, с громами и молниями. Эта гроза застала Наталью и Баудека за веретием, за развалинами башни персидской царевны, Наталья пила полынную — ту ведьмовскую скорбь, что оставила на Увекке царевна персидская.

А когда Донат подъезжал к хуторам, отъехав уже верст пятнадцать от усадьбы, он услышал сзади себя в поле песню:

Ты свети, свети, свет светел месяц,
Обогрей ты нас, красно-солнышко!

Донат остановил лошадь. И вторая гроза уже ушла, далеко полыхали бессильные молнии. В степи были мрак и тишина. Вскоре послышалась конская рысь. Хутора были рядом, разметались в балке, — но если и днем на версту подъедешь к ним, — не заметишь — степь кругом пустая, голая. Донат положил пальцы в рот и свистнул, и ему ответили свистом. Подъехал всадник на сером киргизе-иноходце, тоже во всем белом.

— Марк?

— Вы, батюшка?

— Был я на усадьбе, сын, — сказал Донат, — Слышал твой посвист. Твой ли?

— Мой, батюшка.

— Девицу Арину выкликал?

— Ее, батюшка.

— В жены возьмешь?

— Возьму.

— Тебе жить. Гляди, Кони на усадьбе хороши. Ты откуда?

— Из степи, за пищей, — бабам далече идти... Что ж! бабы у нас здоровые да вольные. Воля не грех! Я муж — научу!.. Кони на усадьбе хороши!

Донат и Марк подъехали к обрыву и стали гуськом спускаться вниз в заросли калины и дубков: в овраге после дождя было сыро и глухо, вязко пахло медуницей, копыта скользили, с ветвей падали холодные капли. Спустились на дно, перебрались через ручей и рысью поехали вверх. Дом Доната выполз из мрака сразу, и изба и двор под одной крышей. На дворе и в доме было пусто, — и люди, и скотина ушли в степь, на страду. Марк повел лошадей в стойло, задал овса. Донат снимал

на крыльчке кованые свои сапоги, кряхтел, умывался из глиняного рукомойника.

— Завтра на заре в поле поеду, пахать, отдохнуть! Побольше задай, — сказал Донат.

— А я к тебе, братец Донат, — заговорил третий, выходя из избы. — Зашел погодить, да задремал в грозу.

Донат трижды поцеловался с встречным. Все трое прошли в избу. В избе, в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарными травами. Вдудли свет, мрак побежал под лавки, изба была большая, в несколько комнат, со светелкой, хозяйственная, убранная, чистая. На чистой половине по стенам висели седла, хомуты, седелки. Образов на стенах не было. Сели к столу. Донат достал из печки каши и баранины.

— Из степи, с огляда вернулся. Далеко заезжал, — заговорил третий. — Непокойно в степи. Говорили татары с Кривого Углану, ходят-де по степи, за царя говорят, людей для войны скликают. Объезжал, сговорились, — увидят — упредят. У дальних братцев был. Царские бумаги все спалили — концы в воду. Пахари, мол.

— Молодцов для войны не дадим, — сказал Донат. — Тогда в степь! К солностою верст семьдесят отскакать — овраги, в оврагах пещеры. Знашь?

— Знаю.

— Туда!.. На усадьбе — в газетах пишут — по чугунке по нашей кончилась война. Степь — она вольная. Да и концов ей нет.

94

Марк вышел на крыльцо. Облака расходились. Из-за них светила круглая зеленоватая луна. Марк потянулся крепко, сладко зевнул и пошел на сено спать.

На рассвете Донат и Марк мчали по степи, оставив дома на столе хлеб, квас и кашу для заезжих (никогда дом не запирался), — навьюченные пищей для братьев, сестер и жен, что работали в степи, живя там под телегами, под небом и зноем, в летней страде, на земле. На востоке зорилась багряная покойная зоря, и горько пахло полынью.

Глазами Ирины

(Это маленькая поэзия Ирины: ЕЕ ГЛАЗАМИ)

«О степи, о ее удушьи, о несуразной помещичьей жизни, о помещичьи-крепостной пьяной вольнице, о борзых, наложницах, слезах, — говорит мне не степь, с ее зноем и пустыню, не старая эта усадьба, где сели мы, — кухня, что в полуподвале, говорит мне о смутном, разгульном, несуразном, о степной жизни и о степи. В кухне каменные кирпичные полы, огромные плита и печь, сводчатые потолки и стены обмазаны глиной, и в стены, к чему-то, ввинчены огромные ржавые кольца. В кухне жужжат мухи, полумрак, жар и пахнет закваской. А в гостиной, где окна завил плющ, — зеленый мрак, прохлада, и в этом прохладном зеленом мраке поблескивают портреты и золоченые шелковые кресла. Я вошла в дом через кухню.

«Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?

«Знаю, — кругом леса и степь. Знаю, Семен Иванович, Андрей (мой жених!), Кирилл, — все верят, верят честно и бескорыстно. Знаю, — наши сектанты, которые ходят во всем белом и называют себя христианами, не только верят, но и живут на своих хуторах этой верою. Семен Иванович, уже усталый, говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы. Знаю, — люди живут, чтобы бороться и чтобы достать кусок хлеба, — чтобы бороться за женщину.

«Утром я валяюсь за усадьбой на пригорке, за старым ясенем, слежу за гусями и перебираю синие цветы, те, что от змеиного укуса. Среди дня я купаюсь в пруде под горячим солнцем, а возвращаюсь огородами и рву маки — белые с фиолетовыми пятнышками на дне и красные с черными тычинками. У пчельника меня обыкновенно ждет Андрей; я не замечаю, как он подходит. Он говорит:

« — Поделитесь со мною маками, товарищ Ирина, — пожалуйста!

«Я обыкновенно отвечаю так:

« — Разве мужчины просят? — мужчины берут! Берут свободно и вольно, как разбойники и анархисты! Вы ведь анархист, товарищ Андрей. В жизни все-таки есть цари, — те, у кого мышцы сильны, как камень, воля упруга, как сталь, ум свободен, как черт, и кто красив, как Аполлон или черт. Надо уметь задушить человека и бить женщину. Разве же вы еще верите в какой-то гуманизм и справедливость? — к черту все! пусть вымрут все, кто не умеет бороться! Останутся одни сильные и свободные!..

« — Это сказал Дарвин, — говорит тихо Андрей.

« — К черту! Это сказала я!

«Андрей смотрит на меня восхищенно и придавленно, но меня не волнует его взгляд, — он не умеет смотреть, как Марк, — он никогда не поймет, что я красива и свободна и что мне тесно от свободы. И в эти минуты я вспоминаю кухню, с ее зноем, железными страшными кольцами, каменным полом и сводчатыми потолками. Разбойники сумели захватить право на жизнь, — и они жили, благословляю и их! К черту анемию! Они умели пить радость, не думая о чужих слезах, они пьянствовали месяцами, умея опьяняться и вином, и женщинами, и борзыми. Пусть — разбойники.

«Из огорода в дом надо пройти кухней. В кухне, в жару, жужжат мухи, как смерч, и по столу ходят цыплята. А в гостиной, где окна завиты плющом и свет зелен, — так же прохладно и тихо, как на дне старого тенистого пруда.

«Знаю, — будет вечер. Вечером в своей комнате я обливаюсь водой и переплетаю косы. В окна идет лунный свет, у меня узкая белая кровать, и стены моей комнаты белы, — при лунном свете все кажется зеленоватым. У тела своя жизнь, я лежу, и начинает казаться, что мое тело бесконечно удлиняется, узкое-узкое, и пальцы как змеи. Или наоборот: тело сплющивается, голова уходит в плечи. А иногда тело кажется огромным, все растет удивительно, я великанша, и нет возможности двинуть рукой, большой, как километр. Или я кажусь себе маленьким комочком, легким, как пух. Мыслей нет, —

в тело вселяется томленье, точно все тело немеет, точно кто-то гладит мягкой кисточкой, и кажется, что все предметы покрыты мягкой замшей: и кровать, и простыня, и стены — все обтянуто замшей.

«Тогда я думаю. Знаю, — теперешние дни, как никогда, несут только одно: борьбу за жизнь, не на живот, а на смерть, поэтому так много смерти. К черту сказки про какой-то гуманизм! У меня нету холодка, когда я думаю об этом: пусть останутся одни сильные. И всегда останется на прекрасном пьедестале женщина, всегда будет рыцарство. К черту гуманизм и этику, — я хочу испытать все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт, — и инстинкт, — ибо теперешние дни — разве не борьба инстинкта?!

«Я смотрюсь в зеркало, — на меня глядит женщина, с глазами, черными, как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими, как паруса. В окно идет лунный свет: мое тело зеленовато. На меня глядит высокая, стройная, сильная голая женщина».

«Старуха дала мне рубашек домотканого полотна, от которого жестко телу, сарафан, паневу, душегрею синего сукна, белый платочек, кованые сапожки с наборами и полусапожки, сунула зеркальце. В избе собрались братцы, съехались с хуторов. Марк вывел меня за руку. Мужчины сидели справа, женщины — слева. Я целовалась сначала со всеми женщинами, затем с мужчинами. И я стала женою Марка.

« — Поди сюда, дочка Аринушка, — сказал старик Донат, взял меня за руку, посадил рядом, приголубив, и говорил, что все собравшиеся здесь — братья и сестры, новая моя семья, один за всех и все за одного, из избы сор не выносить, в дом придут — накорми, напой, чествуй, все отдай, всем поделись, — все наше. Все мужчины были здоровы и широкоплечи, как Марк, и женщины — красивы, здоровы и опрятны, — все в белом.

«Марк. Помню ту ночь, когда он приехал с двумя конями, и мы мчали степью от коммуны, с тем, чтобы в темном доме мне остаться одной, в женской избе, во мраке, вдыхать шалфей и думать о том, что у меня последняя жизнь и нет уже воли. Марк ускакал в степь. А наутро и я ушла за ним. Я теперь знаю летнюю нашу страду мужицкую. Мои руки покрылись коркой мозоли, мое лицо загорело, почернело от солнца по-бабьи, и вечером, после страды, купаясь в безымянной степной речке, уже холодной, я вместе с сестрами, удивительно здоровыми, покойными и красивыми, пою по-бабьи:

ТЫ СВЕТИ, СВЕТИ, СВЕТ СВЕТЕЛ МЕСЯЦ,
ОБОГРЕЙ ТЫ НАС — А-ЭХ! — КРАСНО-СОЛНЫШКО!

«Уже по-осеннему звездны ночи, и днем над степью разлито голубое вино. На хуторе готовятся к зиме, в закрома ссыпают золотую пшеницу, стада пришли из степи, и мужчины свозят сено.

«Марк со мной мало говорит, он приходит неожиданно, ночью, целует меня без слов, и руки его железны. Марку некогда со мной говорить, — он мой господин, но он и брат, защитник, товарищ. Старуха каждое утро задает мне работу и, хваля-уча, гладит по голове. Мне некогда размышлять. Как сладостно пахнет пот — пусть соленый! Я научилась повязываться, как повязываются все».

«Ночью пришел Марк.

— Вставай, поедем, — сказал он мне.

На дворе стояли кони, были Донат и еще третий. Мы выехали в степь. Подо мной шел иноходец. Ночь была глуха и темна, моросил мелкий дождь. Впереди ехал Донат.

— Куда мы едем? — спросила я Марка.

— Повремени. Узнаешь.

Вскоре мы выехали к усадьбе, обогнули балку и стали за конным двором. Все спешили, и мне сказали, чтобы я слезла. Поводья собрал третий. Мы подошли вплотную ко рву. Донат свернул вправо, мы подошли к дому.

— Куда мы едем, Марк? — спросила я.

— Тише. За конями, — сказал Марк. — Стой здесь. Если увидишь людей, — свистни, уйди к коням. Если услышишь шум, — иди к коням, скачи в поле. Я приду.

Марк ушел. Я осталась стоять-следить. Разве могла я не подчиниться Марку? У меня нет родины, кроме этих степных хуторов, у меня нет никого, кроме Марка. Где-то в доме спали Семен Иванович и Андрей. Пускай! Дом стоял тяжело и сумрачно, во мраке. Моросил дождь. Мне не было жутко, но мое сердце колотилось — любовью, любовью и преданностью! Я раба!

Марк подошел незаметно, неожиданно, как всегда. Взял за руку и повел ко рву. У рва стояли наши кони, мой и его иноходцы-киргизы, борзые и злые, как ветер. Марк помог мне сесть, вскочил сам, свистнул — и, схватив меня, перекинув на свое седло, прижав к груди, склонив свою голову надо мной, гикнув, помчал в степь, в степной осенний простор.

Восток ковался багряными латами, солнце выбросило свои рапиры, когда мы примчали на дальние хутора, где мирно за столом сидели уже Донат, тот третий, кривой знахарь Егор, и на стол накрывала знахарка Арина с улыбкой покойной и дерзкой, как у ведьмы.

Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?

Археолог Баудек достал листок, переписанный Донатом, и этот листок тщательно списывал Глеб Ордынин. Вот этот листок:

«Крест есть предмет небрежения, но не чествования, поелику онъ служилъ, подобно плахѣ и висѣлицѣ, орудіемъ безчестія и смерти Христа. Нечтимо орудіе, убившее друга твоего. Тако съдвуетъ почитать и иудеевъ, устроившихъ крестъ.

«Въ книгѣ Жезль въ имени Іисусъ истолкована троица и два естества! Введена присяга, коей не было даже у древнихъ еретиковъ! Въ трехугольникъ пишутъ по латынь Богъ! ѣдятъ давленину и звѣроядину! Волосы отрѣ-

зають и носять нѣмецкое платье! Молятся съ еретиками, въ баняхъ съ ними моются и вступаютъ въ бракъ съ еретиками! Имѣютъ аптеки и больницы, женская ложесна руками осязаютъ и даже осматриваютъ! Конское ристане имѣютъ! Пьютъ и ѣдятъ съ музыкою, плясаніемъ и плесканіемъ. Женщины бываютъ съ непокрытыми головами и не прикрываютъ верхнихъ зазорныхъ тѣлесъ! Мужья съ женами зазорнымъ почитаютъ вмѣстѣ въ банѣ мыться и въ одной постели спать. Монашеское дѣвство несогласно со св. Писаніемъ: ап. Павелъ говорилъ, что отступятъ иные отъ вѣры, возбраняя женитьбу и брашна!

«Отъ воли каждаго зависить, когда и какъ поститься! Чтимъ Единаго Господа Бога Саваофа и Сына Его Спасителя! Не токмо мученики, но и Марія-Дѣва не подлежатъ поклоненью, ибо сие есть идолопоклонство, какъ и поклонение иконамъ! Житіе же блаженныхъ ради Христа юродивыхъ весьма не богоугодно, поелику юродство не благообразно! И какъ, видя огонь, не предполагаемъ мы въ немъ свойствъ воды, ни въ водѣ свойствъ огня, — такъ же нельзя предположить въ хлѣбъ и винъ свойствъ тѣла и крови! Тако же бракъ не есть таинство, но любовь, — при собраши мужчинъ и женщинъ родители благословляютъ жениха и невесту по подобш брака Товии.

«Единая Книга есть — книга книгъ — Библия, и жить надлежить библейскимъ обычаемъ. Чти отца твоего и матеръ твою, любя ближняго, не сквернословь, трудись, думай о Господѣ Богъ и о Ликъ Его, въ тебѣ несомомъ.

«Единъ обрядъ чтимъ — обрядъ святаго Лобызанія. И едино правительство есть — духовная наша совесть и братскіе обычаи».

ГЛАВА IV

КОМУ — ТАТОРЫ, А КОМУ — ЛЯТОРЫ

(Объяснение к подзаголовку:

В Москвѣ на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: «Коммутаторы, аккумуляторы».

— Ком-му... таторы, а... кко-му... ляторы... — и говорит: — Вишь, и тут омманывают простой народ!..)

Провинция, знаете ли. — Городские таторы

Знойное небо изливало знойное марево, небо было застлано голубым и бездонным. Цвел день, цвел июль. Целый день казалось — улицы, церкви, дома, мостовые: плавилась в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе. Город спал: сном наяву, город Ордынин из камня. Дни зацветали, цвели, отцветали, сплошной вереницей, перецветали в неделю. Цвел июль, и ночи июлевы оделись в бархат. Июль сменил платиновые июньские звезды на серебро, луна поднималась полная, круглая, влажная, укутывая мир и город Ордынин влажными бархатами и атласами. Ночами ползли сырые седые туманы. Дни же походили на солдатку в сарафане, в тридцать лет, на одну из тех, что жили в лесах за Ордыниным, к северному небесному краю: сладко ночами в овине целовать такую солдатку. Днями томили зной.

Вечером, в кинематографе «Венеция» играл оркестр духовой музыки. Поднималась луна, земля куталась в бархаты, и люди шли смотреть, как «играет» Холодная. В тот день Сергей Сергеевич писал «ведомость», где указывал, что «за истекший месяц операций не происходило» и «вкладов не поступало». В павильоне сидели коммунисты в кожаных куртках и поили барышень чаем с ландрином (барышни всегда были и будут интерполитичны). Но вскоре духовой оркестр грянул Интернационал, коммунисты встали и, так как скучно было стоять, сошли на дорожки в сад, к обывателям, — все стали ходить по кругу — —

— ЭТИХ ГЛАВ ПИСАНИЕ — ОБЫВАТЕЛЬСКОЕ! — —

Сергей Сергеевич встретил Лайтиса, товарищ Лайтис шел навстречу. Сергей Сергеевич приостановился

и, широко улыбаясь, снял соломенную свою шляпу, приветствуя. — Товарищ Лайтис приветствия не заметил. — Товарищ Лайтис встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц шла навстречу, — товарищ Лайтис приветливо улыбнулся, приложил руку к козырьку, Оленька Кунц сказала строго:

— Здравствуйт! — и отвернулась к подруге, что-то сказав и рассмеявшись чему-то. Оркестр гудел Интернационалом, на деревьях горели фонарики, пары шли за парами. Сергей Сергеевич снова повстречался с товарищем Лайтисом, снова приподнял соломенную свою шляпу. Товарищ Лайтис ответил:

— Здравствуйте.

— Добрый вечер! Погода... —

Но они разошлись.

Товарищ Лайтис снова встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц взглянула сурово. От девичьего табунка Оленьки Кунц отделилась одна, — подошла, передала товарищу Лайтису листок из блокнота. Оленька Кунц писала товарищу Лайтису:

«Я на вас очень сердита. Сегодня в полночь в нашем саду. Приходит!

«О. Ку (и палочки, и хвостик)».

Погасли фонарики. Под навесом на экране метнулся красный петух. Оркестр рывкнул последний раз, и зарокотало пианино. Товарищ Лайтис не пошел на места, товарищ Лайтис рассеянно стал сзади стульев. Сергей Сергеевич тоже рассеянно стал сзади стульев. Товарищ Лайтис рассеянно взглянул на Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич приподнял шляпу и протянул руку.

Поздоровались: — тт-т-сте!..

Помолчали.

— Провинция, знаете ли. Единственное развлечение — кинематограф...

Помолчали.

— Погода, жара невыносимая, знаете ли! Только вечером и можно отдохнуть.

Помолчали. На экране пили шампанское.

— И публика...

— Та?

— И публика, знаете ли... Недоверие, испуг, буржуазность. Я служу по финансам, — операций нет никаких.

Помолчали. На экране Холодная умирала от любви и страсти. Пианино то гремело негодующе, то замирало в истоме.

— Провинция, знаете ли, глупость. Какие нелепые мысли рождаются! Если хотите, я вам расскажу эпизод. Абсурдные мысли!..

— Та?

— Только, знаете ли... это косвенно касается вас... Нелепые мысли!.. — Пианино зарокотало... — Ольга Семеновна Кунц...

— Сто? Оля Семеновна Кунс?

— Только — удобно ли здесь? — Пойдемте, пройдемтесь.

Сергей Сергеевич пропустил вперед товарища Лайтиса, Сергей Сергеевич шел не спеша, руки назад, оседая солидно на каждую ногу. За забором поднялась луна, и пианино приглохло, по углам сада плавал уже белый туман. Остановились.

— Только, знаете ли?.. Я затрудняюсь, как рассказать... Как эпизод провинциальных нравов... Провинция, знаете ли.

— Та?.. Оля Семеновна Кунс?..

— Видите ли, у нас проживает сапожник Зилотов, беспартийный, но был солдатским депутатом. Сумасшедший человек, из масонов.

— Ну?

— У него, видите ли, странная идея... Ольга Семеновна должна, как бы, отдаться вам, принадлежать, как женщина.

— То-эст?

— Вы должны овладеть ею и — непременно — в полночь, в монастырской церкви, в алтаре. Абсурдные мысли!..

Загудело пианино, рывкнуло, покатилося. Товарищ Лайтис, быстрее, чем надо, закурил папиросу.

— А Ольга Земеновна знает?

— Не знаю, должно быть. Зилотов мне сообщал, что Ольга Семеновна девственница, — однако теперешний век, буржуазность... — Сергей Сергеевич развел в рассуждении руками.

Пианино застонало.

— Ви каварите — монастырский церков?

— Да, знаете ли, из вашей квартиры есть проход.

— А Ольга Земеновна хосит?

— Ольга Семеновна? Ольга Семеновна барышня молодая! — Сергей Сергеевич рассудительно развел руками. — Провинция, знаете ли, обывательщина.

— Извините, доварищ. Я на минуту. Брощайте, доварищ! — товарищ Лайтис поспешно пожал руку Сергея Сергеевича, — Сергей Сергеевич не успел даже шаркнуть, — товарищ Лайтис поспешно пошел к выходу.

Пианино у экрана оборвалось на полноте, вспыхнули фонарики, грянул духовой оркестр. Толпа полилась по дорожкам, отдыхая от экранной страсти. Оркестр буйствовал Варшавянкой.

Затем снова потухли лампочки, снова и снова необыкновенно любила и необыкновенно умирала Холодная... А над городом шла луна, а по городу ползли туманы, сплетая и путая пути и расстояния. Приходил час военного положения. И когда он пришел, — военного положения час — тогда «Венеция» уже опустела.

— ...И Китай, — НЕБЕСНАЯ империя, — не глядел ли из подворотен? — Будет в повести этой, ниже, глава о БОЛЬШЕВИКАХ, ПОЭМА О НИХ.

Дон, дон, дон! — в заводь болотную упали курантов три четверти. По городу ползли туманы, над городом ползла луна, полная, круглая, влажная, как страсть, — позеленели туманы, сквозь туманы в вышине едва приметны были звезды старого серебра, испепеленные зном.

Куранты отбили три четверти, и товарищ Лайтис вышел из монастырских ворот. Товарищ Лайтис пошел по обрыву. Под обрывом горели костры, слышалась горькая песня, рядом внизу тосковали лягушки. Калитка в тени деревьев была полуоткрыта. Лайтис постоял у порога, — товарищ Лайтис пошел вглубь. Безмолвствовали деревья, безмолвно полз туман. Тропинка исчезла, под ногами посырело, товарищ Лайтис различил пруд, у берега сгнившую, залитую водою лодку. Никого не было. Товарищ Лайтис внимательно осмотрелся кругом — деревья, туман, тишина, наверху в тумане мутный диск. Куранты пробили двенадцать. Товарищ Лайтис поспешно пошел назад, к тропинке, к дому. Сад был чужд. Дом, развалившиеся домовые службы, бледнея в лунном свете, безмолвствовали. Запахло малиной. И вдалеке где-то, точно вспыхнуло, тихо крикнула Оленька Кунц:

— Товарищ Я-ан!..

Товарищ Лайтис застрял в малиннике, снова вышел к пруду, уже с другой стороны, — луна отразилась в воде призрачно и бледно. И опять — тишина, туман, деревья.

— Олька Земеновна!..

Тишина,

— Я-ан!..

Вишняк, яблони, липовая аллея. Тишина и туман. И где-то рядом:

— Я-ан!..

Товарищ Лайтис побежал, наткнулся с разбегу на заборчик, не заметил, как ушиб колено. За заборчиком, в беседке, богатырски кто-то храпел. Часы пробили две четверти. И опять вдалеке:

— Я-ан!..

— Олька Земеновна!..

И тишина, только хруст ветвей от бега товарища Лайтиса. И тишина. И туман. И деревья. И больше уже никто не звал товарища Яна. Луна побледнела, зацепилась за верхушки деревьев. Товарищ Лайтис долго курил папиросу за папиросой, и скулы его были плотно сжаты. — Оленька Кунц уже лежала в постели рядом

с подружкой (каждую неделю у Оленьки была новая подружка для секретов и тайн). Куранты отбивали четверти еще и еще. На востоке легла алая лента, туманы заползли вверх. В утреннике зашелестели листья, и четче донесся лягушечий крик.

У монастырских ворот стоял часовой, сырой и серый в тумане.

— Езди придет барышня, бровезди ко мне.

— Слушаю-с.

И в соборе:

— Дон, дон, дон!..

В монастыре, в келии матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, — товарищ Лайтис разделся. Часы товарищ Лайтис положил в тувельку у изголовья, вышитую серебром, — тувельку эту, как и коврик у кровати, как и ночные туфли, как и чулки, — вязала мама товарища Лайтиса в его Лифляндской губернии. Товарищ Лайтис надел туфли, те, что плела его мама, взял скрипку и, став у окна, долго играл очень грустное. За окном, за переходами, за монастырской стеною, разгорался восток. Товарищ Лайтис брал ключи и зимним переходом ходил в зимнюю церковь. В церкви было безмолвно, едва заметно пахло ладаном и затхлостью, и в куполе появились уже золотые искры первых лучей.

День пришел тот, что похож на солдатку в сарафане, в тридцать лет.

МОНАСТЫРЬ ВВЕДЕНЬЕ-НА-ГОРЕ

У монастырских ворот стоял часовой. На востоке легла алая лента восхода, туманы поползли к небу, ввысь, луна побледнела. Несколько минут мир и город Ордынин — церкви, дома, мостовые — были зелеными, как вода, как заводь (в эти минуты монастырь походил на декорации из театра). Затем мир и город Ордынин стали желтыми, как листопад. И золотой короной из ночи поднялось солнце. В этот час — в монастырских келиях,

в душных комнатах со сводчатыми потолками, с пустыми киотами и бальзаминами в красных углах, на мягких монашеских пуховиках спали солдаты.

У монастырских ворот стоял часовой. Золотой короной поднялось солнце. Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные, усталые женщины, ибо час военного положения отбыл.

Ах, Оленька Кунц! о чистоте ее и о девственности мечтали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, каждый до боли страстно и каждый по-своему. Разве, — почему не знали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, что все знали в городе, что не особенно скрывала и сама Оленька Кунц, — что был в городе Ордынине прапорщик Череп-Черепас. Череп-Черепас, уезжая на фронт, к Колчаку, куда-то к городу Казани, катал Оленьку Кунц на тройках, затем у себя в номере гостиницы поил Оленьку Кунц спотыкачом, и Оленька Кунц ему отдалась, — так же просто, как отдавались все ее подружки. И это повторялось не один раз и не только с Череп-Черепасом, — прапорщик Череп-Черепас был убит где-то у города Казани, в солдатском бунте.

И все же...

Оленька Кунц на службе сидела в маленькой келии, чистой и светлой, как и сама Оленька Кунц. В келии на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, и за окнами в саду чирикали воробьи. Оленька Кунц трещала на машинке. К Оленьке Кунц каждые четверть часа заходил товарищ Лайтис. Оленька Кунц смотрела победно.

Товарищ Лайтис сказал Оленьке Кунц:

— Ви вечером путете тома?

— Да, а что?

— Пожалуйста придите ко мне в кости. Мне секодня роштение.

— А вы кого еще пригласит? — поздравляю!

— Я хотел вас...

— Тогда я позову подругу Катю Ордынину, княжну.

— Нно...

— А вы позовит товарища Каррика.

— Нно...

Оленька Кунц улыбнулась победно, как заговорщица.

— Не беспокойт-с! У них роман — не помешают! Только вы достаньте конфет и вина.

Товарищ Каррик в телефонную трубку ответил:

— Катька да Ольга? — приду! — притащу!..

Телефонная трубка пропела страстным звоном, и товарищ Лайтис каждые четверть часа заходил к Оленьке Кунц, чтобы напомнить еще и еще раз.

День испепелял зноем, знойные солнцевые лучики плавил воздух, в монастырском саду кричали воробьи. В келий матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, — у товарища Лайтиса была корзиночка. В корзиночке лежало все дорогое, память о родине и маме. Из корзиночки товарищ Лайтис достал шелковую подушечку, расшитую мамиными руками в разные шерстяные цвета. Из корзиночки товарищ Лайтис достал атласное одеяло, стесанное мамиными руками. И подушечку и одеяло товарищ Лайтис отнес в зимнюю церковь.

И все...

Надо ли говорить?

Надо ли говорить о том, что было все так же просто, как стакан чая? — Товарищ Лайтис мечтал о скрипке, и никакой скрипки не было. Товарищ Каррик принес с собой спотыкача. Оленька Кунц и подружка ее Катя Ордынина пришли, держась под ручку, и в косынках, спущенных на глаза. — Надо ли говорить? — древний монастырь безмолвствовал; в келии со сводчатыми потолками, где из окон видны были монастырские переходы, церкви и стены, — товарищ Каррик заботливо поил барышень спотыкачом, и очень скоро Катерина Ордынина пересела с кресла на колени к товарищу Каррику.

И в этот же час, в дальнем углу монастырском, другой Ордынин, — архиепископ Сильвестр, — писал гла-

ву о городе. В темной келии с каменными стенами, на тесном столе, горели лампы, хлеб лежал, и склонился к столу серенький попик, гробом склонивший череп, мохом поросший, как келия. В бальзаминах оконце было высоко, в келию шла только ночь, и не шел июль, и у двери, скрючившись, спал черный монашек-келейник. В тишине лохматый попик писал:

«... Лес, перелески, болота, поля, тихое небо, проселки. Иной раз проселки сходятся в шлях, по шляху пошел Бунт. Около шляха прошла чугунка. Чугунка пошла в города, и в городах жили те иные, кои стомились идти по проселкам, кои линейками ставили шляхи, забываясь в гранит и железо. И в города народный проселочный Бунт принес — смерть. В городе, в тоске об ушедшем, в страхе от Бунта народного — все служили и писали бумаги. Все до одного в городе служили, чтобы обслуживать самих себя, и все до одного в городе писали бумаги, чтобы запутаться в них — бумагах, в бумажках, карточках, картах, плакатах. В городе исчезнул хлеб, в городе потухнул свет, в городе иссякла вода, в городе не было тепла, — в городе пропали даже собаки, кошки (и народились мыши, чтобы есть припрятанное), — и даже крапива на городских окраинах исчезла, которую порвали ребятишки для щей. В харчевнях, где не было ложек, толпились старики в котелках, и старухи в шляпах, костлявыми пальцами судорожно хватавшие с тарелок объедки. На перекрестках, у церквей, у святынь негодяи продавали за страшные деньги гнилой хлеб и гнилую картошку, — у церквей, куда сотнями стаскивали мертвцов, которых не успевали похоронить, закабеляя похороны в бумагу. По городу шатались голод, сифилис и смерть. По проспектам обезумевшие метались автомобили, томясь в предсмертной муке. Люди дичали, мечтая о хлебе и картошке, люди голодали, сидели без света и мерзнули, — люди растаскивали заборы, деревянные стройки, чтобы согреть умирающий камень и писцовые конторы. Красная кровавая жизнь ушла из города, как и не была здесь, положим, — пришла белая бумажная жизнь — смерть. Город умирал,

БЕЗ РОЖДЕНИЯ. И ЖУТКО БЫЛО ВЕСНОЙ, КОГДА НА УЛИЦАХ, КАК ЛАДАН НА ПОХОРОНАХ, ТЛЕЛИ ДЫМНЫЕ КОСТРЫ, СЖИГАЯ ПАДАЛЬ, КУТАЯ ГОРОД СМЕРДНЫМ УДУШЬЕМ, — НА УЛИЦАХ — РАЗГРАБЛЕННЫХ, РАСТАЩЕННЫХ, ЗАХАРКАННЫХ, С ПОБИТЫМИ ОКНАМИ, С ЗАКОЛОЧЕННЫМИ ДОМАМИ, С ОБОДРАННЫМИ ФРОНТОНАМИ. А ЛЮДИ, РАЗЪЕЗЖАВШИЕ РАНЕЕ С КОКОТКАМИ ПО РЕСТОРАНАМ, ЛЮБИВШИЕ ЖЕН БЕЗ ДЕТЕЙ, ИМЕВШИЕ РУКИ БЕЗ МОЗОЛЕЙ И К Сорока годам ТАБЕС, МЕЧТАВШИЕ О МОНАКО, С ИДЕАЛАМИ ПОЛЬ-ДЕ-КОКА, С ВЫУЧКОЙ НЕМЦЕВ, — ХОТЕЛИ ЕЩЕ И ЕЩЕ ОБОДРАТЬ, ОГРАБИТЬ ГОРОД, МЕРТВЕЦА, ЧТОБЫ УВЕЗТИ УКРАДЕННОЕ В ДЕРЕВНЮ, СМЕНЯТЬ НА ХЛЕБ, ДОБЫТЫЙ МОЗОЛЯМИ, НЕ УМЕРЕТЬ СЕГОДНЯ, ОТОДВИНУВ СМЕРТЬ НА МЕСЯЦ, ЧТОБЫ СНОВА ПИСАТЬ СВОИ БУМАГИ, ЛЮБИТЬ ТЕПЕРЬ УЖЕ ПО ПРАВУ БЕЗ ДЕТЕЙ И ВОЖДЕЛЕННО ЖДАТЬ ПРОГНИВШЕЕ СТАРОЕ, НЕ СМЕЯ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ОСТАЛОСЬ ОДНО — СМЕРДИТЬ СМЕРТЬЮ, УМЕРЕТЬ — И ЧТО ВОЖДЕЛЕННОЕ СТАРОЕ И ЕСТЬ СМЕРТЬ, ПУТЬ К СМЕРТИ...

А за городом, на окраинах, разгоралось новое холодное, багряное возрождение...»

Так записывал серый попик в кирпичной своей келии за монашкой и бальзаминами, склонив гроб черепа к столу с краюхой хлеба и листами бумаги.

Товарищ Лайтис заиграл было на скрипке, — и его оборвал товарищ Каррик: — не стоит тянуть kota за хвост!

Оленька Кунц сказала:
— Пойдем, пройдемтесь.

А когда они столкнулись в дверях, когда в мозгах товарища Лайтиса все полетело к чертовой матери, — слов уже не было — —

У монастырских ворот стоял часовой.

Бледными полосами лежал лунный свет. Над миром, над монастырем шла круглая, полная луна, окутывая мир и монастырь бархатами и атласами. Прошелестели рассветные ветры, отквакали миру лягушки. Позеленело, и в золотой короне поднялось солнце.

Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные усталые женщины, ибо час военного положения отбыл. И мимо часового прошли Оленька Кунц и подружка ее княжна Катя Ордынина, под ручку, со спущенными на глаза косынками, дожевывая конфеты.

Пожар. — Ляторы

И все те...

Кремль и соборная площадь из камня. В пустыне дня бьют колокола в монастыре стеклянным звоном, во снах в расплавленном зное.

— Дон! дон! дон! — бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Семена Матвеева Зилотова созревают помидоры.

На службе Сергея Сергеевича, в сберегательной кассе, помощник, карты сдавая (Сергей Сергеевич и его помощник в преферанс с болваном играли), — помощник, карты сдавая, сказал:

— А знаешь, Ольга твоя Семеновна, — того! Нынче ночью у коммунистов в монастыре ночевала, спасалась с Лайтисом. Ямские девки говорили — видели.

И все, — и все же...

Дома, со службы вернувшись, Сергей Сергеевич спустился в подвал к Семену Матвееву Зилотову, — шел, оседая на каждую ногу, и, еще с верхней ступеньки ступая, захохотал Сергей Сергеевич богатырски:

— Хо-хо! Ольга Семеновна! Ночью в монастыре с Лайтисом спасалась! Хо-хо! Я подстроил!

Семен Матвеев лежал на печи. Семен Матвеев сполз с печи. В скошенном на сторону лице Семена Матвеева Зилотова появилось нечто растерянное и беспомощное, что его придавило. Семен Матвеев присел на корточки, поджав поджарые свои ноги, и прошептал:

— Клянись! Пентаграмма? Ей-черту?

— Клянусь! Пентаграмма! Ей-черту!

— Во алтаре?

— В алтаре.

— Ну, что же... Теперь ступай, Сергеич! Дай побыть... — появилось в лице Семена Матвеева жалкое и беспомощное, и, не поднимаясь с корточек, как прибитый кобель, Семен Матвеев пополз на печь. — Теперь ступай, Сергеич... Дай побыть одному. — Семен Матвеев сказал тихо и скорбно. — Дай побыть!..

И все вот, — и все же...

Возвращаясь со службы, с подружкой, Оленька Кунц, — от калитки до заднего хода — по доскам, среди дворовой муравы проложенным, — пробежала, шумя каблучками.

И обе пели:

В том саду, где мы с вами встретились,
Хризантемы куст...

112 Вечером Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. Вечером над миром, городом Ордыниным и над монастырем поднялась луна. Вечером. Семен Матвеев был у архиепископа Сильвестра и приносил ему помидор. Семен Матвеев по-разному складывал пятиугольник, — Берлин, Вена, Лондон, Париж, Рим склонялись к Москве, и получался красный помидор. Архиепископ Сильвестр, в черной рясе, стоял строго и смотрел хмуро, и воскликнул в конце:

— Заблужденье! Заблужденье! Ересь! Песни народные вспомни, грудастые, крепкие, лешего, ведьму! Леший за дело взялся, крепкий, работающий. Иванушку-дурачка, юродство — побоку. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик! Без сна! — Ересь! А за помидорки — спасибо!

И когда Оленька Кунц возвращалась из кинемато-

графа «Венеция», над монастырем вспыхнуло красное зарево пожара. Красными петухами взвились огненные языки, красные петухи охватили, окутали монастырские переходы и келии. После долгого молчания загудели набатом монастырские колокола, — как красные петухи пожара, заметался набат. Звеня колокольцами и треща по булыжинам мостовой, примчалась без воды пожарная команда, и застоявшиеся пожарные сорвали баграми своими красную вывеску с красной звездой, —

— «Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа» — ту, которая как раз против объявления:

— «Здѣсь ПРОДАЮТСЯ ПЪМАДОРЫ».

Метелицы искр уносились в небо. Из переходов, из окон выскакивали солдаты и женщины (был уже час военного положения). Рухнул один переход: тот, что вел из келий матери-игуменьи в зимнюю церковь. Был уже час военного положения, но потому, что пожар всегда прекрасен, всегда необыкновенен, всегда зловец, — никто не спрашивал пропусков, и вокруг монастырских стен толпилась толпа.

Монастырь Введенъё-на-Горе на семьдесят верст виден был, сгорая. Метелицы искр уносились в черное небо, разливались в черной бездне. Рухнул один переход, и другой. Главный дом весь объяло пламя. Последнее. Монастырь погибал, — на семьдесят верст виден был, сгорая.

И вдруг заметили: на крыше в слуховом окне появилась Семен Матвеев Зилотов. Исушенной своей походкой, как старый кобель, Семен Матвеев Зилотов подошел ко краю, постоял перед полымем, крикнул что-то дикое и, прижав ладони к лицу, бросился — упал вниз, в дым, в метелицу искр, в полымя. И тогда же на каменной стене появились два монашка, — молодой, черный, повисел на крае и спрыгнул благополучно в толпу, а другой, серенький, высунув два раза голову из-за стены, снова исчезнул за ней.

Семен Матвеев Зилотов. От тихой младости наделил бог великого начетчика, Семена Матвеева Зилотова, страстной и нежной любовью к книгам. Дни его протекали в Ордынине. Но Ордынин последний раз жил семьдесят лет назад, и в Ордынине была единственная книжная торговля (покупка и продажа) — рундук Варыгина в рядах, где продавались и вновь покупались одни и те же книги, в кожаных переплетах и пахнущие клопами. Имена этих книг:

«ПЕНТАГРАММА, или МАСОНСКИЙ знакъ, переводъ съ французскаго». «ОПТИМИСМЪ, т.-е. наилучшій свѣтъ, переводъ съ французскаго». «БЫТІЕ РАЗУМНОЕ или нравственное воззрѣніе на достоинство жизни, переводъ съ французскаго, издание Логикѣ и Метафизикѣ Профессора Андрея Брянцева». «ЧЕРНАЯ МАГІЯ ПАПЮСА». «МАСОНСКІЯ ЛОЖИ, или Великіе Каменщики, переводъ съ французскаго».

Мертвые дни мертвого города украсил Папюс. Младость Семена Матвеева Зилотова, — в доме Волковичей, в подвале, — украсила книжная мудрость переводов с французского, и зной знойных июлей иссушил страстный мозг Семена Матвеева Зилотова. О, книги!

114

Война вспыхнула знойным июлем, лесными пожарами, Семен Матвеев поехал на фронт рядовым. Война сторела Революцией, и за великую свою ученость был избран от эсэров Семен Зилотов в Совет Солдатских Депутатов, в Культурно-Просветительный Отдел. Революция горела речами, — Семен Матвеев Зилотов разъезжал с лекторами на штабных мотоциклах, чтобы говорить солдатам — в каком-нибудь помещицьем фольварке — о праве, о братстве, — о государстве, о республике, — о французской Коммуне и Гришке Распутине.

И солдаты после лекций подавали записки:

— «А что будет с Гришкой в царствии небесном?» — «Товарищ Лекцир! А што будит с маею женою, если я на фронти буду голосить за есер, а она за Пуришкевича?» — «Прошу тебе объяснить можно ли состоять в двух партиев сразу тов. есер и тов. большевиков?» — «Товарищ лекционер! Прошу тебе объяснить при програми большевиков будит штраховаца посев на полях или представляется экстрапроприация капиталу?» — «Господин товарищ! будут ли освобождаться женщины от восьмичасового дня во время месячного очищения и просим вкратце объяснить биеграфий Виктора Гюга. Тов. Ерзов».

И Семену Матвееву Зилотову часто приходилось выручать лекторов, — где-нибудь в сарае фольварка, — влезая на стол и крича:

— Товарищи! Я, как ваш народный избранник, прошу дурацких глупостей не писать!

Это было в милом нашем Полесьи, где озера, валуны, холмы, сосны да бледное небо. Лето отходило тихим августом с тихими его долгими вечерами. Днем солдаты писали *глупости*, а вечером, где-нибудь за бруствером или на оконном дворе фольварка, солдаты кипятили котелки и — рассказывали: о делах своих и сказки. Солдаты говорили простыми своими мужицкими словами про Иванушку-дурачка, где простота и правда кривду борет, о наших тихих полях, печали полей, о лесах, об избяной Руси, — слова их были ясны и чисты, как августовские эти вечера, образы ясны и светлы, как августовские эти звезды, и мечтанья прекрасны.

Две души, восток и запад, народная мудрость, исконное, наше, прекрасное, глупость и мудрость, сказочная правда, заплетенная горем и кривдой, века лежавшая под гремучим камнем и расплетенная — правдой же. Семен Матвеев Зилотов увидел это вплотную. Но, — о, книги! — Семен Матвеев Зилотов узрел тут — — Разъезжая с оратором по окопам, однажды утречком пил Семен Матвеев Зилотов чай за бруствером, по брустве-

ру ударил немецкий снаряд, Семена Матвеева закопало вместе с блюдцем, другим же снарядом выкинуло наружу (блюдце осталось цело), — и Семен Матвеев очнулся, возвратился в мир реальностей только через месяц в родном своем Ордынине; телесный облик Семена Матвеева исказился: лицо его скосило на сторону, ус один стал казаться больше другого, правый глаз вытек, тело иссохло, и стал ходить Семен Матвеев Зилотов, как ходят изъеденные старостью, исхудалые гончие кобели; иссушенный мозг Семена Матвеева Зилотова, изъеденный месяцем смерти, изъеденный книгами Варыгинского рундука (в кожаных переплетах и с клопиным запахом), не приметив мудрости избяной Руси, узрел великую тайну: — две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма, пентаграмма из книги «Пентаграмма, или Масонский знакъ, переводъ съ французскаго!» (Варыгин в те дни сидел уже заложником в тюрьме.) На красноармейских фуражках в те дни появилась уже пятиугольная красная звезда. Россия. Революция. Книги говорили, как заказывали думать сто лет назад. И вот она, Россия, взбаламученная, мутная, ползущая, скачущая, нищая! Надо, надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен прийти человек — через двадцать лет! На красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма («переводъ съ французскаго»), — она принесет, донесет, спасет. Черная магия — черт! Черт, — а не бог! Бога попать! В церкви, во алтаре, Россия скрестится с Западом. Россия. Революция. Спасти Россию! — мечтанья юности и иссушенный мозг в мечтаньях!

Товарищ Лайтис подписал мандаты на арест Ольеньки Кунц и Сергея Сергеевича.

Обыватель Сергей Сергеевич. Подлинно, — был ли Сергей Сергеевич только провокатором и мелким буржуа? Вечером перед арестом Сергей Сергеевич, разостлав салфетку, ел помидоры с зилотовского огорода,

с уксусом и перцем. Затем Сергей Сергеевич разделся, лег спать и перед сном, один перед собой — думал. Сергей Сергеевич *страдал*, искренне и глубоко, и, как всякое страдание, и, как все искреннее, — боль его была *прекрасна*. Сергей Сергеевич *ненавидел*, как трус, — эти дни, товарища Лайтиса, всех, все, — и боялся, боялся до ужаса, до физической боли, до отупения... —

И внизу, по лестнице, забоцали солдатские сапоги. Когда солдаты вошли в комнату Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич сидел, забившись в угол кровати, глаза его были открыты болезненно широко, отвисла широко отекая челюсть, и он шептал:

— За что? за что?

— Так что подробности слышны, а детали неизвестны! — сказал солдат. — Одевайся. Там узнаешь!

Впрочем, компарт дал приказ арестовать Лайтиса.

Общежитие же большевиков, выселив князей Ордыниных, поместилось в доме на Старом взвозе.

— Дон! дон! дон! — падают камни колоколов в заводь города.

Кому — татары, а кому — лядоры!

ГЛАВА V

СМЕРТИ, ТРИПТИХ ПЕРВЫЙ

117

СМЕРТЬ КОММУНЫ

И в эти же дни погибла коммуна в Поречьи: погибла сразу, в несколько дней, в августе. Шли дожди, ночи были тихи и глухи, — и ночью приехали в коммуноу неизвестные вооруженные, в папахах и бурках, их привел неизвестный черномазый, товарищ Герри. За неделю

до этого ушел из коммуны Шура Стеценко, он вернулся с Герри. В сумерки пришла гроза, шумел дождь, дул ветер. Андрей уезжал с утра в дальнее поле, в сумерки он застал в библиотеке Юзика, Семена Ивановича и Герри; они топили камин, жгли бумаги. Семен Иванович поспешно вышел. Юзик стоял, расставив тонкие свои ноги, положив руку на талию. Герри, в папаше, сидел на корточках против огня.

— Вы не знакомы? — товагищ Андгей, — товагищ Гэгги.

Герри молча подал огромную руку и сказал Юзику по-английски. Юзик презрительно пожал плечами и промолчал:

— Товагищ Андгей не понимает английски, — сказал Юзик.

— Ви минэ простытэ, товарищ Андрей, но я очень устал, — губы Герри, не приспособленные к улыбке, растянулись в усмешку, но смоляные его глаза по-прежнему остались тяжелы и холодны, очень сосредоточенные.

— Гэгги пгехал с Укгаины, там ского будет восстание. Мы с Гэгги долго вместе голодали в Канаде. Затем на Укгаине я спас ему жизнь. Когда гайдамаки бгали Екатегинослав, Гэгги, не умея наводить, стгелял по гогоду из пушки — не умея наводить! Гэгги, говогят, ты был пьян? Гэгги схватили и хотели гастгелять. Но вечегом пгшел я со своим отгядом и спас жизнь Гэгги. Я очень люблю жизнь, товагищ Гэгги, — как и ты. Я ничего не хочу от других, но я не позволю тгонуть меня:

— Товарищ Юзэф, когда придет старость, мы будэм вспоминать. Ты очень фразичен!

— Я очень люблю жизнь, Гэгги, ибо у меня свободная воля!

— Ты очень фразичен, товарищ Юзэф!

— Пусть так! — Юзик пожал презрительно плечом.

Герри встал, разминая мышцы. Огонь в камине потухал. Юзик стоял неподвижно, с руками на тонкой своей высокой талии, смотрел в огонь. В кабинет вошли Оскерко, Николай, Кирилл, Наталья, Анна, Павленко. Стасик

в гостиной заиграл на рояли гопака, сейчас же оборвал. Наталья подошла сзади к Юзику, положила руки ему на плечи, прислонила голову и сказала:

— Милый товарищ Юзик! Не надо грустить. Какой дождь! Мы собрались, чтобы быть вместе в этот вечер.

Вошел Стасик в халате с кистями, рывкнул:

— Юзка, не журыся! Хиба ж ты дурак?!

Юзик повернулся и громко сказал, покойно и презрительно:

— Товагищи! Шуга Стеценко — не товагищ и не геволюционег. Он пгосто бандит. Гэгги гость. Давайте веселиться!

В коммуне, в старом княжеском доме, веселились бесшабашно, задорно и молодо. За окнами стал черный мрак, хлестал дождь, шумел ветер. В гостиной зажгли кенкеты, последний раз зажигавшиеся, верно, при князьях, танцевали, пели, играли в наборы, метелили метелицу. Павленко и Наталья таинственно принесли окорок, бутылки с коньяком и водками и корзину яблок. Герри и с ним приехавших не было, и от того, что за стенами были чужие, от того, что над землей шли осенние, уже холодные облака, — было в зале особенно уютно и весело. Варили жженку, обносили всех чарочкой, разбредались по разным углам и собирались вновь, шутили, спорили, говорили. Разошлись за полночь, — Андрей выходил на террасу, слушал ветер, следил за мраком, думал о том, что земля идет к осени. К серой нашей тоскливой осени, застрявшей в туманных полоях, желтых суходолах. В гостиной все уже разошлись. Юзик говорил Оскерке:

— Надо везде поставить стгажу. В доме пгикгуются — ты, Павленко, Свигид и Николай. С винтовками и бомбами. — Юзик повернулся к Андрею, улыбнулся. — Товарищ Андгей! Мы с вами будем ночевать, здесь в угловой, в диванной. Я вас пговожу.

В угловой, у зеркала мутно горела свеча. С двух сторон в большие окна, закругленные вверху, дул ветер; верно, рамы были плохо прикрыты, — ветер ходил по комнате, свистел уныло. Юзик долго умывался и чистился, затем обратился к Андрею:

— Будьте добгы, товагищ Андгей, пгимите покой. Я буду занят еще полчаса. — Взял свечку и ушел, свечку оставил в соседней комнате, в кабинете, шаги стихли вдалеке. Свечной тусклый свет падал из-за портьеры.

Долго было тихо. Андрей лег на диван. И вдруг в кабинете заговорили, — обратных шагов Андрей не слышал.

— Юзик, ты должен сказать все, — сказал Кирилл.

— Тише, — голоса второго Андрей не узнал.

— Хорошо, я скажу, — Юзик говорил шепотом, долго, покойно, отрывки Андрей слышал.

— Гэгги и Стеценко подошли ко мне, и Гэгги сказал: — «ты агестован». Но я положил гуку в кагман и ответил: «товагищ Гэгги, я так же люблю жизнь, как и ты, и каждый, кто поднимет гуку, умгет пжежде меня». Я сказал и пошел, а они остались стоять, потому что они бандиты и тгусы...

— ...Гэгги тгебует те миллионы, что мы взяли в экспгопгяции Екатегинославского банка... Гэгги забыл Канаду...

— ...Я ему ничего не дам. Меня погодила геволуция и смегть, кговь.

Шепот был долог и томителен, затем Юзик громко сказал, так, как всегда:

— Павленко, пгишли ко мне Гэгги. Скажи Кигиллу и Свигиду, чтобы они скгылись в этой комнате, с огужием.

Шаги Павленко стихли, стала тишина, пришли двое, бряцая винтовками, Свирид стал за портьеру около Андрея. Затем издалека загремели тяжелые шаги Герри.

— Товарищ Юзэф, ти минэ звал?

— Да. Я хотел тебе сказать, что ты ничего от меня не получишь. И я пгошу тебя сейчас же покинуть коммуу, — Юзик повернулся и четким шагом пошел в угловую.

— Товарищ Юзэф!

Юзик не откликнулся, на минуту был слышен сиротливый ветер, — забоцали обратно кованые сапоги Герри. Андрей сделал вид, что спит. Юзик бесшумно разделся и лег, сейчас же захрапел.

На рассвете Андрея разбудили выстрелы. — Бах-бах! — грянуло в соседней комнате, издали ответили залпом, донеслись выстрелы со двора, на крыльце затрещал пулемет и сейчас же стих. Андрей вскочил — его остановил Юзик. Юзик лежал в постели со свешенной рукой, и в руке был зажат браунинг.

— Товагиц Андгей, не волнуйтесь. Это недогазумение.

Утром в коммуны никого уже не было. Дом, двор, парк были пусты. Анна сказала Андрею, что в сторожке у ворот со львами лежат убитые — Павленко, Свирид, Герри, Стеценко и Наталья.

Днем пришел в коммуны наряд солдат от Совета.

Последнюю ночь Андрей провел у Николы, что на Белых Колодезях. Егорка ходил вечером осматривать жерлицы, принес щуку. Сидели с лучиной, ночь пришла черная, глухая, дождливая. Андрей ходил на ключ за водой, у Николы на колокольне гудели уныло, от ветра, колокола, церковь во мраке казалась еще более вросшей в землю, еще более дряхлой. Шумели сосны. И от сосен из мрака подъехал всадник, в папахе, бурке и с винтовкой.

— Кто едет?

— Гайда!

— Товарищ Юзик?

— Это вы, товагиц Андгей? — Юзик остановил лошадь. — Я к вам. — Помолчал. — Вам надо уйти отсюда. Утгом вас схватят и должно быть гасстгеляют. Завтга мы уходим отсюда — на Укгаину. Идите с нами.

Андрей отказался идти. Простились.

— Ского уже осень. Нет звезд. Миговая тюгьма — помните? Дай бог вам всякого счастья! Жить!

Юзик помолчал, потом круто повернул лошадь и поехал рысью.

На рассвете Андрей был уже на станции, на «Разъезде Мар», протискивался к мешочникам в теплушку.

В рассветной серой мути сиротливо плакал ребенок, и томительно, однообразно кричал переутомленно веселый голос:

— Гаврила, крути-и! Крути-и, Гаврю-юшка-а!.. Поезд стоял очень долго, затем медленно тронулся, томительный и грязный, как свинья.

Так погибла коммуна анархистов в Поречьи. —

— И вот рассказ о том, как погибнуло помещичье Поречье: это было в первые дни революции, в первых кострах революции, с тех пор много уже сгорело костров, и много песен метельных отпели дни, унося людей. Вот рассказ —

Первое умирание —

— Впрочем, разве в революцию умерло мертвое?! Это было в первые дни революции. Вот рассказ.

Отрывок первый. Это родовое, — Ордыниных, без Попковых.

В окна гостиной долго, сквозь пустой осенний парк, глядело солнце. В пустой осенней тишине над полями кричали «вороньи свадьбы». В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие.

Утром встал с синим рассветом, день пришел золотой, ясный, с бездонной, синей небесной твердью, — раньше отцы в такие дни травили борзыми. В полях теперь голо, торчат мертвые ржаные стрелы, должно быть, скулят уже волки. Вчера вечером приколачивали у парадного красную вывеску: —

— и шумели всю ночь в зале, что-то устанавливая.
 Гостиная стоит еще по-прежнему, в читальной за стеклами блестят еще золоченые корешки книг, — о, книги! ужели избудет яд ваш и сладости ваши?

Утром встал с синим рассветом — князь Андрей Ордынин, младший брат старика, — и ушел в поле, бродил весь день, пил последнее осеннее вино, слушал вороньи свадьбы: в детстве, когда видел этот осенний птичий карнавал, хлопал в ладошки и кричал неистово: — «Чур, на мою свадьбу! Чур, на мою свадьбу!» — Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил для любви, было много любовей, была боль, и есть боль — и пустота, опустошение. Была отравка московской Поварской, книг и женщин, — была грусть осеннего Поречья, всегда жил здесь осенями. Это его мысли. Шел пустыми полями без дорог, в лощинах багряно сгорали осины, сзади под Увеком стоял белый дом, в лиловых купах редящего парка. Безмерно далеки были дали, синие, хрустальные. Виски поредели и сереют — не остановишь, не вернешь.

В поле повстречался мужик, исконный, всегдашний, с возом мешков, в овчине, — стена молчащая, — снял шапку, остановил клячу, пока проходил — барин.

— Здравствуй, ваше сиятельство! — чмокнул, дернул вожжами, поехал, потом снова остановился, крикнул: — Барин! слышь-суды, сказать хочу!

Вернулся. Лицо мужика все заросло волосами, в морщинах, — старик.

— Что же теперь делать будешь, барин?

— Трудно сказать!

— Уйдешь когда? Хлеб отбирают — бедные комитеты. Ни спичек, ни манухфактуры, — лучину жгу!.. Хлеб не велят продавать, — слышь-суды, — тайком на станцию везу! Из Москвы наехало — ии!.. Тридцать пять — триидцать пять!.. Да што на их укупишь? Одначе весело, все-таки, очень весело!.. Закури, барин.

Никогда не курил махорки, — свернул цыгарку. Кругом степь, никто не увидит, кажется, что мужик жале-

ет, и хочется жалости. Попрощался за руку, повернулся круто, пошел домой. В парке в пруду вода была зеркальная, синяя, — вода в пруду всегда была холодной, прозрачной, как стекло: еще не время замерзнуть окончательно. Солнце уже переместилось к западу.

Прошел в кабинет, сел к столу, открыл ящики с письмами — вся жизнь, не увезешь с собою. Вытряхнул ящики на стол, пошел в гостиную к камину. На столе для альбомов стояла крынка молока, хлеб. Зажег камин, жег бумаги, стоял около и пил молоко, ел хлеб — проголодался за день. Уже входили в комнату синие вечерние тени, за окнами стал лиловый туман. Камин горел пафаво, молоко было несвежим, хлеб зачерствел.

В тишине коридора забоцали сапоги. Вошел Иван Колотуров, председатель, в шинели, с револьвером у пояса, — Иван Колотуров-Кононов: — вместе играли мальчишками, потом был рассудительным мужиком, хозяйственным, работным. Молча передал бумагу, стал среди комнаты.

В бумаге было наремингтонено:

«Помещику Ордынину. Чернорецкий Комитет Бедноты немедленно предписывает покинуть присутствием советское имение Поречье и пределы уезда. Председатель Ив. Колотуров».

— Что же, сегодня вечером уеду.

— Лошади вам не будет.

— Пойду пешком.

— Как знаете! Вещей никаких не брать! — повернулся, постоял спиной в раздумьи минуту и ушел.

Как раз в это время проббили часы три четверти, — часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, они были в кремлевском дворце в Москве, потом путешествовали с князьями Вадковскими по Кавказу, — сколько раз они сделали свое «тик-так», чтобы унести два столетия? — Сел у окна, глядел в поредевший парк, сидел неподвижно с час, опираясь локтями о мраморный подоконник, думал, вспоминал. Раздумье прервал

Колотуров, — вошел молча с двумя парнями, прошли в кабинет, молча силились поднять письменный стол, треснуло что-то.

Встал, зашпешил. Надел широкое свое английское пальто, фетровую шляпу, вышел через террасу, прошел по шуршащим листьям экономией, мимо конного двора, винокуренного завода, спустился в балку, поднялся на другой ее край, к Николе, устал и решил, что надо идти не спеша — идти тридцать верст, первый раз идти здесь пешком. Как, в сущности, просто все, — так думал, — и — и страшно лишь простотою своею!

Солнце уже ушло за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро, ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко на сектантских хуторах лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце.

Двенадцать верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту — перевязать шнурок у ботинок — и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги — за день избродил уже верст сорок. Впереди лежало село Махмытка, — в юности, студентом, ездил сюда, к солдатке, тайком, — теперь не пойдет к ней — никогда, ни за что, раба! Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнущая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки, темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая.

Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу, за окном горела-тлела лучина. Отозвались не скоро.

— Кто тама?

— Пустите, люди добрые, ночевать.

— А хто такой?

— Прохожий.

— Ну, сичас.

Вышел мужик, в розовых портах, босиком, с лучиной, осветил, осмотрел.

— Хнязь? Ваше сиятельство! Домудровалси?.. Иди, што ли!

На полу настлали соломы, огромную вязанку, трещал сверчок, пахло копотью и навозом.

— Ложись, хнязь. Спи с богом!

Мужик влез на печку, вздохнул, что-то зашептала баба, буркнул мужик, потом сказал громко:

— Хнязь! Ты спи, а утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутная, а ты — барин. Барин-нов кончать надо!

Трещал сверчок. В углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову, сейчас же поймал на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная, в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи, — лежал на соломе князь Ордынин (теперь уже мертвец!), ворочался от блох и думал о том, что сейчас в смрадном тепле, изнеможенный — он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда, — бесконечен мир! Пели на деревне песни.

Как заснул, — не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный, на траву сел сизый заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью, с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим, на станции «Разъезд Мар» вместе с мешочниками и мешками с мукою князь втиснулся в теплушку, и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой, — поехал...

Отрывок второй.

Иван Колотуров, председатель, двадцать лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал —

копал, бороновал, молотил, стругал, чинил, — делал своими руками, огромными, негнушимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землю, скотом. Был он работящ, честен, рассудителен. Еще в пятом году (ехал со станции, посадил человека в мастерской куртке) рассказали ему, что перед богом все равны, что земля — ихняя, мужицкая, что помещики землю украли, что придет время, когда надо будет взяться за дело. Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи, — он первый поднялся, чтобы — делать. И почувал тоску. Он хотел делать все честно, он умел делать только руками — копать, пахать, чинить. Его избрали в волостной комитет, — он привык вставать до зари и сейчас же приступать к работе, — теперь до десяти он должен был ничего не делать, в десять он шел в комитет, где с величайшим трудом подписывал бумаги, — но это не было делом: бумаги присылались и отсылались без его воли, он их не понимал, он только подписывал. Он хотел делать. Весной он ушел домой пахать. Осенью его выбрали председателем бедного комитета, он поселился в княжеской экономии, надел братнину солдатскую шинель, подпоясался револьвером.

Вечером он заходил домой, баба встретила сумрачно, махала локтями, делала мурцовку. На печи сидели ребята, лучина чадила.

— Поди уж и жрать с нами не будешь после барских харчей! Барин исделался!

Промолчал. Сидел на конике, под образами, как гость.

— Посмотри, с кем путаешься? Одни враги собрались. Одни разъединные вражники.

— Молчи, дура. Не понимаешь, и молчи!

— От меня стыдиси, хорониши!

— Идем вместе жить!

— Не пойду!

— Дура!

— Лаиться уж научился!.. Жри мурцовку-то! Али уж отучился на барской свинине-те?

Правда, уже наелся, и угадала — свинины. Засопел.

— Дура и есть!

Приходил, чтобы поговорить о хозяйстве, потолковать. Ушел ни с чем. Баба уколола в больное место — все почетные мужики стали сторониться, собрались в комитете одни, которым терять нечего. Прошел селом, парком, на конном дворе был свет, зашел поглядеть — собрались парни и играли в три листика, курили, — постоял, — сказал хмуро:

— Не дело, ребята, затеяли. Подпалите!

— Ну-к что ж! Какой ты до чужого добра защитник!

— Не чужое, а наше!

Повернулся, пошел. В спину крикнули:

— Дядя Иван! Ключ от винокурного погреба у тебя?! Там, гли, спирт есть! Не дашь — ломаем!

В доме было темно, безмолвно, в гостиной жил еще князь. Большие комнаты были непривычны, страшны. Зашел в канцелярию (бывшую столовую), зажег лампу. Заботился все время о чистоте, — на полу лежали ошметки грязи от сапог: никак не мог постичь, почему господские сапоги не оставляют за собой следов? — Стал на колени и собирал с пола грязь, выкинул за окно, принес щетку, подмел. Делать было нечего. Пошел в кухню, лег не раздеваясь на лавку, долго не мог уснуть.

Утром проснулся, когда все еще спали, ходил по усадьбе. На конном дворе парни еще играли в три листика: — «иду под тебя и крою!»

— Что не спишь?

— Уж проспалси!

Разбудил скотниц. Скотник Семен вышел наружу, стоял, почесывался, крепко выругался, недовольный, что разбудили, сказал:

— Не в свое дело не суйси! Сам знаю, когда будить!

Рассвет был синий, ясный, морозный. В гостиной появился свет; видел, как князь вышел через террасу, ушел в степь.

В десять сел в канцелярии, занимался мучитель-

нейшим делом — и бесполезнейшим по его мнению, — составлял опись всей имеющейся у каждого мужика пшеницы и ржи, — бессмысленной потому, что знал наизусть, сколько чего у каждого мужика, как и все знали на селе, мучительной потому, что надо было очень много писать. Позвонили по телефону из города, приказали выселить князя. Целый час писал на машинке приказание князю.

Вечером князь ушел. Стали перетаскивать, переставлять вещи, оторвали фанеру у письменного стола. Хотели переставить часы в канцелярию, но кто-то заметил, что у них только одна стрелка, — никто не знал, что у старинных кувалдинских часов и должна быть только одна стрелка, показывающая каждые пять минут, верно потому, что в старину не жалели минут, — кто-то заметил, что часы вынимаются из футляра, и Иван Колотуров распорядился:

— Вынай часы из ящика! Скажи столяру, чтобы полки приделал. Будет шкаф для канцелярии... Да ногами-то, ногами-то не боцайте!

Вечером приезжала баба. На селе было событие: прошлую ночь изнасиловали девку, — неизвестно кто — то ли свои, то ли московские, приехавшие за мукой. Баба свалила на комитетских. Баба стояла под окнами и срамила во всю глотку, — Иван Колотуров ее прогнал, дал по уху. Баба ушла с воем.

Было уже совсем темно, в доме застыла тишина, на дворе скотницы орали песни. Прошел в кабинет, посидел на диване, попробовал его доброту и мягкость, наткнулся на забытый электрический фонарик, поиграл им, осветил стены и увидел в гостиной на полу часы, поразмышлял — куда бы их деть? — отнес и бросил в нужник. В другом конце дома, ватагой, ввалились парни, кто-то задубасил по рояли, Ивану Колотурову хотелось их прогнать, чтобы не чинили беспорядка, — не посмел. Вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой, на печку.

Ударили в колокол к ужину. Тайком пробрался в спиртовой погреб, налил кружку, выпил, успел запереть по-

греб, но до дома не дошел, свалился в парке, долго лежал, пытаюсь подняться, о чем-то все хотел рассказать и объяснить, но заснул. Ночь шла черная, черствая, осенняя, — шла над пустыми полями, холодными и мертвыми.

И помещицы Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова — погибли потому, что Поречье было мертво. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего (разве не было у Ивана Колотурова всяческих прав?! — были, конечно, ибо все это — его) — и у первых, и у вторых, и у третьего — не было самого первого: воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает.

И —

— Часть третья триптиха, самая темная

Холодные сумерки настилают землю, — те осенние сумерки, когда небо снежно и зимне, и облака к рассвету должны рассыпаться снегом. Земля безмолвна и черна. Степь. Чернозем. Чем дальше в степь, тем выше скирды, тем ниже избы, тем реже поселки. Из степи — по ограбленной пустыне — из черной щели между небом и степью — дует зимний ветер. Шелестит в степи чуть слышно былье после скошенных трав, ржей и пшениц. Вскоре поднимается стеклянная луна. Если поволокуются тучи, будет снег, а не изморозь. — Хлеб.

У переезда долго стоят волы. Шеи волов опущены, волы стоят покорно, покорно глядят в степь, степные жители. Поезд ползет мимо, дальше. В поселке нет церкви, высится убогая мечеть. Степь. Поезд ползет медленно — бурые теплушки, обсыпанные людьми, как эти люди — вшами. Поезд безмолвен: люди, повисшие на крышах, на подножках, на буферах. — А у маленькой станции «Разъезд Мар», где никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, поезд гудит — человеческим гудом: от крыши к крыше к паровозу вопят люди что-

то страшноватое, о чем-то, в этих холодных сумерках. И «гаврила» останавливает поезд. Молодой дежурный в фуражке с красным околышем — от тоски — встречает поезд на платформе. Люди с поезда стремятся к лужам за водой. Поезд гудит, как улей, гудит, дергается, скрипя, как рыдван, и на шпалах остается баба с глазами иступленными в боли. Баба бежит за поездом и иступленно кричит:

— Митя, каса-атик! Накорми моих детей!

Затем, помахивая своим узелочком, баба бежит куда-то за шпалы, воя и взвизгивая по-собачьи. Впереди пустая степная даль, — баба поворачивает и бежит к станции, к дежурному, что все еще стоит на платформе, от тоски и в тоске. Баба смотрит на дежурного затравленно, губы ее дергаются, и глаза наполнены болью.

— Что тебе? — говорит дежурный.

Баба молчит, вскрикивает в схватке и, воя, снова бежит куда-то в сторону, поматывая своим узелочком. Сторож, старик-татарин, говорит хмуро:

— Бабу родить пришло. Баба родит дита. — Эй, баба! — иди суды!.. Русский баба — как кошка, — и старик ведет бабу в станционную избу, в свою каморку, где на нарах валяются прогнивший сеник и тулуп. Баба, воистину как кошка, бросается на нары и шепчет злобно:

— Уйди, ахальник, — уйди! Женщину позови... Но женщины на станции нет.

Дежурный идет по платформе из конца в конец, смотрит в темную степь и думает злобно: — Азия!

Степь пуста и безмолвна. В небе идет стеклянная маленькая луна. Ветер шелестит черство и холодно. Дежурный долго бродит по платформе, затем идет в контору. За стеной воеет баба. Дежурный звонит на соседнюю станцию и говорит, как говорят все российские дежурные:

— Ахмытовааа! Прими пятьдесят восьмой. Какой-нибудь идеот?

Но не шло никакого. Дежурный сидит на жестком казенном диване, листает «Пробуждение», перелистанное тысячу раз, и ложится, чтобы не сидеть. — Старик вносит лампу. — Дежурный сладко спит.

После дежурства дежурный идет домой на село. «Разъезд Мар», на котором никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, сразу исчезает во мраке. Кругом пустота и степь. Дежурный идет мимо мара: степной курган высится мертво и безмолвно, — кто, когда, какие кочевники насыпали его здесь, и что он хранит? — жухлый ковыль шелестит у кургана. Чернозем на проселках утрамбовался, как асфальт, и гудит под ногами.

Село безмолвно, лишь лают собаки. Дежурный проходит татарской слободой, спускается в овраг, где поселилась мордва, поднимается на косогор. В избе солдатка ставит на стол кашу, свиное сало, молоко. Дежурный наскоро ест, передевается понаряднее и идет к учительнице в гости.

У учительницы дежурный вставляет в светец за лучиной лучину и говорит тоскливо:

— Азия. Не страна, а Азия. Татары, мордва. Нищета. Не страна, а Азия.

И дежурный думает о своей нищете.

Учительница стоит у печки, кутаясь в пуховый платок, уже стареющая. Потом учительница греет самовар и готовит ржаной кофе...

Поздно ночью дежурный ложится спать у себя в избе, у солдатки. Скрипит постель, дренькает гитара. Трещит сверчок, в углу за печкой хрюкает поросенок. Солдатка убирает со стола, выходит наружу. За тонкой глиняной стеной слышно, как она испражняется и отгоняет собаку, спешащую съесть ее помет. Дежурный слушает и думает о необыкновенных вещах: о богатстве, о красивых, нарядных женщинах, о модном платье, о винах, весельи, роскоши, которые придут к нему... Солдатка долго молится, шепчет молитвы. Тухнет свет, и солдатка босыми ногами по земляному полу, почесываясь, идет в постель дежурного.

По степи идет ночь. Черство шелестит былье скошенных трав. У мара звенит ковыль. Микроскопической станции «Разъезд Мар» не видно в степи.

А поезд № пятьдесят седьмой-смешанный ползет по черной степи.

Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз, — люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки. Люди, собравшиеся здесь и отстоявшие право ехать с величайшими кулачными усилиями, ибо там, в голодных губерниях, на каждой станции к теплушкам бросались десятки голодных людей и через головы, шеи, спины, ноги, по людям лезли вовнутрь, — их били, они били, срывая, сбрасывая уже едущих, и побоище продолжалось до тех пор, пока не трогался поезд, увозя тех, кто застрял, а эти, вновь влезшие, готовились к новой драке на новой станции. Люди едут неделями. Все эти люди давно уже потеряли различие между ночью и днем, между грязью и чистотой, и научились спать сидя, стоя, вися. В теплушке вдоль и поперек в несколько ярусов настланы нары, и на нарах, под нарами, на полу, на полках, во всех щелях, сидя, стоя, лежа, притихли люди, — чтобы шуметь на станции. Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Ночью в теплушке темно, двери и люки закрыты. В теплушке холодно, в щели дует ветер. Кто-то хрипит, кто-то чешется, теплушка скрипит, как старый рыдван. Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул над ними, и его ноги стали у шеи первого. И все же — двигаются... Человек, у которого, должно

быть, изъедены легкие, инстинктивно жметесь к двери, и около него, отодвинув дверь, люди, мужчины и женщины, отправляют свои естественные потребности, свисая над ползущими шпалами или приседая, — человек изучил во всех подробностях, как это делают, — все по-разному.

У человека, сторающего последним румянцем чахотки, странны и спутаны ощущения. Мысли о стоицизме и честности, маленькая его комнатка, его брошюры и книги, голод, — все отлетело куда-то к черту. После

многих бессонных ночей мысли, точно у лихорадочного, дифференцировались, и человек чувствовал, как его «я» двоится, троится, как правая рука живет и думает по-своему, самостоятельно, и спорит о чем-то с раздвоенным «я». Дни, ночи, теплушки, станционные поселки, третьи классы, подножки, крыши — все смешалось, спуталось, и человеку хочется упасть и спать безмерно сладко — пусть по нему ходят, пусть на него плюнули, пусть сыплются на него вши. Стоицизм, брошюры о социализме и чахотке и книги о боге, — человек думает о новом, необыкновенном братстве — упасть, подкошенному сном, прижаться к человеку — кто он? почему он? сифилитик? сыпнотифозный? — греть его и греться человеческим его телесным теплом... Гудки, свистки, звонки... Мозг кажется вываленным в пуху, и, потому что пух всегда жарок и зноен, мысли знойны, необыкновенны, неотступны и страстны, на границе лихорадочного небытия... Качается, качается в мозгу перекладина у дверей, скрипят двери, и женщины, женщины свешиваются, приседают над ползущими шпалами. Пол!..

Вчера на маленькой станции к вагону подошла баба. У дверей стоял солдат.

— Касатик, пусти Христа ради! Никак не сядем, вишь, касатик, — сказала баба.

— Некуда, тетка! И не моги. Никаких местов! — ответил солдат.

— Христом богом...

— А чем уплотишь?

— Уж как-нибудь...

— А в люботу играешь?

— Да уж как-нибудь... столкуимси...

— Ага! Ну, полезай под нары. Там наша шинеля лежит. Эй, Семен, прими бабу!

Солдат уполз под нары, люди столпились кругом, и сердце человека сщемило безмерно сладкою болью, звериным, — хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать! Мысль, благородство, стыд, стоицизм — к чорту! Зверь!

Качается, качается в мозгу перекладина... Женщины, женщины, женщины... До боли четко двоится «я», и сердце нудно спорит о чем-то с грудью... Скрипит, покачивается, ползет теплушка.

Человек засыпает стоя и падает, подкошенным сном, кому-то под ноги. Кто-то валится на него. Человек спит сладко, глухо, как камень. Теплушка глухо спит... Станция, свистки, толчки... Человек на минуту просыпается. Голова человека — «я» человеческое удвоено, утроено, удесятерено, — его голова лежит на женском голом животе, едко пахнет тримитиламином, мысли толпятся, как пестрые бабы на базаре, — мысли летят к черту! — зверь! инстинкт! — и человек целует, целует, целует голый женский живот страстно, больно, — кто она? откуда она? — Баба медленно просыпается, чешется, говорит сонно:

— Кончь, ахальник... Ишь, приловчился!.. — И — и начинает неровно дышать...

Степь. Пустота. Бескрайность. Мрак. Холод. На станции, где поезд повстречался с рассветом, люди бегут за водой к пустым колодцам и к лужам, жгут костры, чтобы согреться и варить картошку, — и в опустевшей теплушке заметили мертвеца: вчера старик мучился в сыпном тифе, теперь старик мертв. Серая рассветная муть. Из черных щелей степных горизонтов идет ветер, холодный и злой. Облака низки, — пойдет снег. Шпалы, теплушки, люди. Горят костры красными огнями, пахнет дымом. У костров, где варится картошка — пока варится картошка — люди снимают с себя рубашки, кофты, штаны, юбки, стряхивают в огонь вшей и давят гнид. Люди едут неделями — в степь! за хлебом — нету хлеба, нету соли. Люди жадно едят картошку. Поезд остановился и будет стоять сутки, двое суток... На рассвете сотнями люди разбредаются по окрестным деревням, и в деревнях (чем дальше в степь, тем ниже избы, тем выше скирды), разбившись малыми кучками, люди молят Христа ради. Бабы стоят под окнами, кланяются и поют:

— Подайте мииииилостыньку Христааа рааади!

Поезд будет стоять сутки, двое суток. Теплушечные

старосты идут к дежурному, от дежурного в чрезвычайку. Здесь были белые, — станция: теплушка, снятая с колес, теплушки, поставленные в ряд, с проломанными щелями вместо дверей. В конторе — темной теплушке — дымит «лягушка», пахнет сургучом, жужжат провода и люди. Человек шепчет дежурному.

— Н-не могу-с! — говорит дежурный довольным басом. — Полный состав. Сто пятьдесят осей, семьдесят пять вагонов. Н-не могу-с!..

Человек гладит своим обшлагом обшлаг дежурного и сует пачку.

— Товарщи! — н-не могу! Я беру только в тех случаях, когда могу помочь, но в данном случае — семьдесят пять вагонов, сто пятьдесят осей. Н-не могу-сс...

Гладить обшлаг обшлагом — стало быть, предложить «подмазать»...

Но оказывается — дежурный мог. К вечеру приходит новый поезд, новые сотни жгут костры и дают вшей, — и этот поезд ночью ушел первым. Люди бегут к дежурному, дежурного нет, — новый дежурный (это было, — сторожа успокаивали: — нету-ти его, слышь... Его, слышь, на той неделе семь разов били...). ...Люди бегут в чрезвычайку, — но к ночи пришел отряд продармейцев, и по вагонам идет обыск.

Продармеец влезает в притихшую теплушку.

— Ну, которые? што?

Старик на нарах снимает фуражку и пускает ее по рукам.

— Складайся, братцы, по два с полтинником!.. Новым рассветом поезд уходит.

На платформе появляется дежурный, и поезд тысячей глоток прощается:

— Свооооолааач! Взаяяаатооошнииик!..

Поезд идет так, что можно слезть и идти рядом. Степь. Пустота. Холод. Голод. Днем над степью поднимается сонное солнце. В осенней тишине летают над ограбленными полями вороньи стаи — тоскливые стаи. Курятся избы редких селений синим соломенным дымком, — тоскливые избы.

Ночью падает снег, земля встречает утро зимою, но вместе со снегом идет тепло, и опять осень. Идет дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми клочьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь.

В селе Старый Курдюм, разметавшемся по вертепезинам у степного ручья точно мушиные пятна, никто не знает, что вон там, у горизонта, полегла — Азия.

В селе Старый Курдюм, на русской стороне, на татарской и мордовской — перед избами в амбарушках и за избами в скирдах, на гумнах — лежат пшеницы, ржи, проса, жито — хлеб. С хлебом убрались, теперь отдых, покой.

В этот день на рассвете в селе Старый Курдюм, на русской стороне топят бани. Бани — землянки — стоят по ручью. Босые девки таскают воду, в избе хозяин разводит золу, собирает тряпье, и все идут париться — старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, все вместе. В бане нет труб, — в паре, в красных отсветах, в тесноте толкаются белые человеческие тела, моются все одним и тем же щелоком, спины трет всем хозяин, и окупываться бегают все на ручей, в серой расцветной изморози. По лощинам у ручья лежит снег.

А на татарской стороне, за ручьем, где мечеть, в этот час, после пятницы, татары, разостлав свои коврики, молятся на восток, невидимому солнцу, постом, вымыв руки и ноги, в чулках и тюбетейках идут в круглую избу, устланную коврами и подушками, садятся среди избы, на пол, и едят барана, чавкая, руками, по которым течет сало. Глаза у барана съедает старик. Женщины, которым, кажется, не полагается есть, стоят в стороне.

И в этот час в село Старый Курдюм приходит артель тех, что приехали за хлебом.

У околицы, у долгой верехи колодца, стоит тесной кучей мордва, бабы в рогах, с ногами, как бревна, и маленькие мужичонки, с мочальными бородками, в шляпах, как глиняный таз, и в рубашках ниже колен, под-

поясанных на груди и с чесмышками у пояса: — дикий народец еще более безмолвен, чем древние сфинксы. Мужиченко, кривляясь, приседая, бежит к пришедшим, снимает шляпу, улыбается бледно, щурится, шепчет:

— Дзеребрены дзеньги давай!.. дзеньги... Роз дам, псинису дам!.. Дзеребрены дзеньги! — и бежит обратно к своим.

Его сменяет баба в рогах и с ногами, как бревна.

— Дзеребрены дзеньги давай! Роз дам, псинису дам! — говорит баба, улыбается и бежит обратно, щуря глаза, похожие на подсолнечные семечки и тусклые, как потертая солдатская пуговица (Китай-город?!).

В вертепежине из ближней бани выскакивает голая девка с разметавшимися волосами, бежит очумело к ручью, оттуда к избе и обратно в баню. С той стороны из-за ручья мчатся татары, верхом, болтая ногами, сопровождаемые татарчатами и собачьим лаем. Татары окружают пришедших, болтают ногами, сдерживая лошадей, протягивают руки для пожатья. Один кричит, плутовато ухмыляясь:

— Купи минэ! — Я — совет, камитет, камисар! купи минэ! Сто рубля! Голодна, товар меням! — и хитро улыбается. — Иди минэ! Баран жарим! Я — совет! велю — продам, не велю — не продам!.. Не ходи в шабры!

Серыми клочьями лежит снег, серой фатой стала изморозь, и не видно бескрайних степных окраин. В селе Старый Курдюм никто не знает, что вон там, за небесным закрыем — Азия. Баба, вон та, что приехала с голодающими, думает: «Рожь, ежели на мелестин, при случае по десять рублей обойдется, а на деньги — сто... Тик так же ситец, сарпинка — с чернотой, для старух... Бумазея...»

Двое со свертками подмышками идут по улице. У колдца стоит баба. Один из двоих таинственно подходит к бабе, таинственно говорит:

— Хозяюшка, муку на товар не меняешь?

— А какой товар-от?

— Манухфактура все-таки. Мелестин, сарпинка... Разный товар.

— Ну, погодь... В какой дом поманю, зайдитя!

Манит. Идут. Стучаются лбами о притолоку — входят в избу. В избе в пол-избы печь, на печи древняя старуха и полдюжины ржаных ребят, в углу свинья, в красном углу — хозяин, образа, генерал и царская фамилия.

Крестятся. Кланяются. Жмут по очереди хозяину и всем домочадцам руки. И просят есть, — и едят, молча, жадно, поспешно — свиное сало, свинину, баранину, кашу, похлебку, хлеб, опять свиное сало, опять баранину. Хозяин в красном углу сидит молча, молча наблюдает, — глаза хозяина уросли в бороду.

Хозяин говорит снохе:

— Дунья, изготовь баня!

Идут мыться, и, когда парятся, Дунья подтаскивает им воды.

Когда гости возвращаются, хозяин говорит Дунье:

— Дунья, становь чимодур!

И гостям:

— Ну, какой ваш товар-от? покажь!

Гости раскладывают свой товар. Хозяин поглядывает хозяйственным взглядом, молчит. Бабы, и свои, и набившиеся в избу, прилипли к товару, как к меду. Какую-то красную тряпку гость прикладывает к хозяйке, тыкает хозяйку в бок и говорит игриво:

— Хозяин, гляди! На двадцать годов помолодела, — моложе молодухи! — Хозяйка! лезь скорее на лечь, прячься от хозяина!

— Отста-а-ань! озарь! — баба расплывается в блин.

А гость, кривляясь, обкручивает какой-то брючный шевёт вокруг ноги, сует всем свое колено и похваляется. Бабы отбирают нужное и ненужное. Другой гость говорит с хозяином — об урожае, о войне, о голоде, о том, как в Москве, у московских, у каждого — сколько хочешь мелестину, мадеполаму, машин и ситцу и как в Москве на улицах падают с голоду замертво.

Подают чай. Все пьют с пятерен, дуют, молчат. Не обманешь — не продашь. Когда выпито по полдюжине стаканов, хозяин, подбоченясь и хмуро, спрашивает:

— Ну, а кака цена-т-от?

Бабы отодвигаются к двери, с лицами наивно-безразличными и затаенно-испуганными, — в дело вошел делец.

— Ваш товар — наши деньги, — откликается поспешно гость. — Мы на муку.

— Известно, на муку! Мука-то у нас теперича шестьдесят два пуд ходит.

Лицо гостя искажается в боли и обиде, гость присчитает по-бабьи:

— А-а!.. Вы свой товар цените, а наш нет?.. А-а... А цену кто набил?.. — все мы?.. Мы с голоду на улицах подыхаем, а вы с нас последнюю шкуру содрать котите!.. А-а!.. Кто цену набил?.. — кто цену набил!?. — все мы!..

— Хозяйка, налей ишшо цаю, — говорит сурово хозяин.

Снова пьют с пятерен, снова торгуются. Опять пьют чай и опять торгуются. Бабы стоят у дверей, покорно молчат. Старуха с печи десятый раз спрашивает: — кто пришел?.. — К девкам в сенцах уже прилипли парни, обегавшие все село. Хрюкает поросенок. Под печкой квекают молодые петухи.

Наконец хозяин и гости хлопают по рукам: весь товар — чохом — три аршина — пуд. Хозяин доволен, потому что надул гостей. Гости довольны, потому что надули хозяина. Хозяин еще раз кормит гостей — щами со свиной, пшеничными блинами со сметаной и маслом, кашей с бараньим салом, — и ведет в трактир распить самогону. Варяжские времена.

У трактира на жерди мотается сиротливо в сером ветре клоч сена. Лают по селу собаки. На татарской стороне, где гостям мыли ноги и кормили их на полу, от избы до избы за покупателями тащатся толпы. Тесной кучкой без детей стоит безжизненная мордва. За околицами лежит степь — без конца, без края. Дует из степи холодный ветер, идет дождь, и плачет земля. В трактире мужики пьют самогон, горланят и, подвыпившие, идут к татарину-комиссару заплатить ему тырте и воргасе, чтобы наче отвезти извещеванную рожь на полуста-нок: рожь повезут ночью, с нарядом дреколье.

В селе Старый Курдюм по несколько раз были красные и белые, целые переулки лежат сожженными и разграбленными. В селе Старый Курдюм живут люди, засыпанные хлебом, со свиньями и телятами, которых кормят тоже хлебом; живут с лучиной, лучину зажигают кремнем; живут полунагие... По степи широкими волнами идет разбой и контрреволюция, полыхая далекими ночными заревами, гудя набатом... В селе Старый Курдюм нет молодых мужчин; одни ушли в революцию, другие ушли с белыми.

Сумерки. Серыми сумерками солдатка в тридцать лет (сладко ночами целовать такую солдатку!) останавливает человека, сторающего последним румянцем чашотки, манит его и шепчет:

— Иди ко мне, парень. Никого обратно нетути. Хлеба дам. Баня топицы.

И в бане, в красных отсветах, человек видит: на животе женщины и в пахах высыпана ровная мраморноватая холодная — сифилитическая — сыпь.

В сумерках кричит что-то истошное: на мечети муэдзин, такой же мужик. В сумерках татары молятся, разостлав свои коврики, устремляя взоры к востоку, к невидимой Азии.

Пролетает последнее черное ожерелье вороньей свадьбы — тоскливой свадьбы.

И обратно по пустой степи ползет поезд № пятьдесят седьмой — смешанный, нагруженный людьми и хлебом.

А «Разъезд Мар», где раньше не меняли даже жезлов, строит феерическую карьеру: мечты молодого дежурного сбываются. На «Разъезде Мар» стал заградительный отряд, внутренняя пошлина. Теперь поезда здесь стоят сутками. И днем и ночью горят костры и вокруг стан-

ции толпы народа. В колодце и в лужах нет уже ни капли воды. И за водой бегают за две версты, на речку. Нельзя пройти двух шагов, чтобы не угодить в человеческий помет. Санитарные теплушки забиты больными. От продовольственного поезда, где строго торчат пулеметы, несутся веселые песни, гремит десяток гармоник. Кругом стон, вопль, плач, мольбы, проклятья. Дежурный с начальником отряда говорит коротко, двумя словами, — дежурный хорошо знает, что такое погладить обшлаг обшлагом, — дежурный может отправить поезд через десять минут и может держать его сутки, — дежурный может принять и отправить поезд ночью, когда заградители «не работают за отсутствием света», — и у дежурного — женщины, вино, деньги, новые платья, отличный табак, конфеты Эйнема и Сиу, — дежурный говорит, как полководец, двумя словами, и ему некогда уже, томясь, бродить по платформе.

Ограбленной черной степью ползет поезд № пятьдесят седьмой, смешанный, забитый людьми, мукой и грязью... Падает, падает в пустыню ночи мокрый снег, кружит ветер, дребезжат теплушки. Ночь. Мрак. Холод. И еще задолго в черной бездне вспыхивают красные огни костров на «Разъезде Мар», — страшные, как горячее марево. В теплушках, где люди сидят и стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат. Поезд останавливается медленно, глухо, скрипят колеса. Горят костры, у костров в снегу жмутся люди и валяются мешки. Станционная изба безмолвна. Во мраке, в кучку, со своими двадцатками, собираются теплушечные старосты поезда № пятьдесят седьмой смешанный. Снег. Ветер. Двое уходят, приходят. На минуту у станционной избы появляется дежурный, говорит, как полководец.

Тишина.

Шепот.

И по теплушкам бегут поспешно старосты.

В теплушке мрак. Староста задвигает за собою дверь. В теплушке безмолвие.

— Што? — спрашивает кто-то хрипло. Староста дышит поспешно и, кажется, радостно.

— Бабоньки, девоньки, — к вам! — говорит староста поспешным шепотом. — Велел девок да баб, которые лучше, посылать к им, к армейцам, — сам, говорит, ничего не могу...

И в теплушке безмолвье, лишь дышит староста.

— Девоньки, бабоньки, — а?

Тишина.

— Надо бабам идтить! Ничего не поделаешь, — говорит кто-то хмуро. — Хлеб, хлеб везем!

И опять безмолвие.

— Что же, Манюшь, — пойдём... — голос звучит, как лопнувшая струна.

Из теплушек, во мраке, в снег, вылезают сторожко женщины, и за ними поспешно задвигаются двери. Женщины безмолвно, без слов, собираются кучкой. Ждут. Гудят где-то рядом провода. Подходит кто-то, всматривается, говорит шепотом:

— Собрались, — все?.. Пойдемтя... Ничего не исделаешь... Хлеб. Выручайте, бабоньки-девоньки... Которые девоньки целы — вы не ходите, что-ли-ча... уж што уж...

Затем женщины долго стоят у задней теплушки продовольственного поезда, — пока не прибегает парнишка в распоясанной гимнастерке:

— А, бабы! Натерпелися?! Бабов нам надо — по первое число! — говорит он весело. — Да вас целое стадо? Ишь! — столько не требуется, — ишь разохотились! Выбирай, бабы, десятка полтора, которые покраще. Да — мотри! — чтобы здоровы!..

Ночь. Падает, падает снег. Гудят провода. Гудит ветер. Трепещут огни костров. Ночь.

В конторе около дежурного толпятся старосты и, изменяя голоса на какой-то нелепо-сладостный и густо-пискливый, наперебой, корячась, угощают дежурного — дыньками, спиртиком, коньячишкой, папиросками, табачкём, ситчиком, драпцем, чайкём... Дежурный, чтобы скоротать ночь, фельдмаршалски рассказывает похабные анекдоты, и старосты гнусно-радостно смеются, опуская стыдливо глаза. На расвете поезд № пятьдесят седьмой-смешанный свистит,

дергается, точно срываются позвонки позвоночного столба, и — уходит с «Разъезда Мар».

Хлеб!..

За разъездом в степи лежит курган, по которому и назван разъезд. Когда-то около мара убили человека, и на могильном камне кто-то начертал неумелыми буквами:

«Я БЫЛ, КТО ЕСТЬ ТЫ, —

«НО И ТЫ БУДЕШЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ».

Бескрайнюю степь, курган, все занесло снегом, и от надписи на могильном камне остались два слова:

«Я БЫЛ... — —».

Осенью вечером под холмом в городе Ордынине вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливо песни. Та ночь, Андрей Волкович: — осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения — гви-иуу), и рассыпалось все искрами глаз от падения, — и тогда осталось одно сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом костры голодающих, шпалы, отрывок песни голодных.

144

— Ну, так вот. Вопрос один, — по-достоевски, — в о-прос и к: — тот дежурный с «Разъезда Мар» — не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным? — и иначе: — Глеб Ордынин и Андрей Волкович — не были ли тем человеком, что сгорал последним румянцем чахотки? — такими русскими нашими Иванушками-дурачками, Иванами-царевичами?

Темен этот третий отрывок триптиха!

— В книге Семена Матвеева Зилотова — в книге «Бытие разумное, или нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:

«Есть ли что ужаснѣе, какъ видѣть невѣріе, усиливающееся въ ту самую минуту, когда силы природы изнемогаютъ истощенныя, дабы съ презрѣніемъ взирать на страхи, одръ умирающихъ окружающія, и гордо завѣщать вселенной примѣръ дерзости и нечестія?..»

ГЛАВА VI

Предпоследняя.

Большевики. Триптих второй

Ибо последние будут первыми.

Кожаные куртки

В доме Ордыниных, в исполкоме (не было на оконцах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал: — «Или — воля голытьбе, или — в поле, на столбе!..» Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу — по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: — константировать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет, — русское слово, могут — выговаривал: — магутъ. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева. —

Смешно? — и еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку: — книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, «Финансовую науку» Озерова, «Счетоведение» Вейцмана, самоучитель немецкого языка — и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарь иностранных слов, вошедших в русский язык

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики? — Да. Так. — Вот, что такое большевики.

Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители — и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цецекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., все спецы, — на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, — и заводы пустить нельзя. Нельзя. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали — на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, — ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что не спец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки — все сделают.

Большевики.

Кожаные куртки.

«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И — черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий!?

Шахта № 3, на Таежевском заводе. На глубине 320, т.е. три четверти версты под землю, палили бурки: буриль-

щики бурили, по пояс в воде, как кипяток — в стволе пласты, бурили бурки; запальщики заряжали бурки динамитом и палили бурки в глубине 320, в воде, как кипяток, по грудь. Надо было запальщикам нащупать в воде шпур, бурку, запихнуть, нырнув, патроны, подложить под патрон пистон с гремучею ртутью и с гуттаперчевым фитилем — зажечь эти патроны, пятнадцать, двадцать. Сигнал кверху:

— Готовы?

Сигнал вниз:

— Готовы.

Сигнал кверху:

— Палю.

Сигнал вниз:

— Пали с богом!

Один за другим вспыхивают фитили, один за другим шипят и свищут синие огоньки над водою и ныряют в гуттаперчевую трубку, под воду. Последний огонек синий свистнул и нырнул. —

Скачок в бадью, сигнал кверху:

— Качай!

— Есть!

И бадья в дожде, во мраке, в свисте, семь сажен в секунду (предел, чтобы не умереть) мчит вверх, от смерти, к свету. И внизу рвет динамит: — первый, второй, третий.

Шахта № 3, глубина 320, бурки палили двое.

— Готовы?

— Готовы!

— Палю!

— Пали с богом!

Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль (зашипели, заныряли синие огоньки), схватился за канат.

— Качай веселей!

То ли оступился второй, то ли машинист поспешил, — в дожде, во мраке, в свисте, взвилась бадья, — второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду.

И первый ударил сигнал кверху:

— Стоп! Качай книзу!

Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде.

— Качай книзу!

И тогда второй ударил сигнал:

— Качай кверху! — ибо зачем вторая смерть?

— Качай книзу! — это первый.

— Качай кверху! — это второй.

И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью — за брата, вот тут, в глубине 320, где смерть и похороны одновременны.

Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью книзу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу, — под грохот динамита вниз, в смерти. И наверху — всем троим, механику и запальщикам, первому и второму: — захотелось — выпить! Так вот, потому, что тогда не было никакой революции, — где же было «энегрично фукцировать»?

Кожаные куртки. Большевики.

В доме Ордыниных, вечером, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу, в «Известиях» зарывшемуся;

— А как думаешь, товарищ Макаров, жизнь людскую бытие определяет или идея? Ведь так подумать, и в идее-то бытие?

Китай-город

Ночью в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-Город за китайской стеной ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизней — весь в котелке, сплошная Европа с портфелем. А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье

и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней, и из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен — тот: Китай без котелка, Небесная империя, что лежит где-то на востоке за Великой Каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-Город.

И второй.

В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин, четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее, — после октябрьского разгула, под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, «Венеции», «европейских», «татарских», «китайских» и литрами сперматозоидов, — в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз — тот: ночной, московский и за каменной стеной сокрытый — Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы вместо глаз.

Тот — московский — ночами, от вечера до утра. Этот — зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры: — примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы. Молчит домна. Молчат цеха, в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от мертвых машин в рже, — глядит: Китай, усмехается, как могут усмехаться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим — нач-эвак! нач-эвак! — В прокатном, на проржавевшей болванке, лежит рыжий снег — раз-

биты стекла вверху. Турбинная не горит ночами, в котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отъело угол, от мартена, из холодных топков — выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка.

— Там, за тысячу верст, — в Москве, огромный жернов войны и революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки пополз... — —

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!

— Белые ушли в марте, и заводу март.

Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная армия, в драных шинеленках, мелкими кучками — и тысячами — перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы. — Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом — из съеденного ветром снега — торчали человеческие руки, ноги, спины — изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре — сиротливо в сущности — трещали пулеметы, и, точно старик хлопущкой бьет мух по стенам, ахали пушки...

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!..

Без экивоков. — Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз, — у рабочих осталась одна мать — машина. На заводе не было власти, — рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты

были затоплены: за заводом был конный завод Ордыниных, под ипподромом шли пласты угля, — без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье пустили на антраците. Машины были погажены, — первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим, — и решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы — для товарообмена. Завод — самовозродился, самовозжил. — Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?! — Архип Архипов и инженерик такой, взломаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой этакой — та-ра-рам (революция — тара-рам, скандал — та-ра-рам, белые приходили — та-ра-рам, зубы болят — та-ра-рам, восемь властей менялось — восемь тарарамов: первый тарарам, второй, третий...), — Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером грандиознейший проект писали — выработывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина. — Магуть «энегрично фукцировать»!

По списку работающих заводов, имевшемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно, — проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, и остановилась, и нашла Таежево — одним из единственных...

151

— Там, за тысячу верст, в Москве, огромный жернов революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...

— Куда?!

— Дополз до ТАЕЖЕВА?!

— Врешь! Вре-ошь! Врее-ооошь!

Днем в Москве, в Китай-Городе, жонглировал котелок, во фраке и с портфелем — и ночью его сменял: Ки-

тай, Небесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз. — Так что же, — ужели Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?! — не третий ли идет на смену, тот, что —

— Могёт энегрично фукцировать!

Метель. Март. — Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шооя, шо-оя, шооооя!.. Гвиуу, гваау, гааау... гвииниуу, гвииниууу... Гу-ву-зз!.. Гу-ву-зз!.. Гла-вбуум!.. Гла-вбуум!.. Шооя, гви-иуу, гаауу! Гла-вбуум!! Гу-вузз!! Ах, какая метель! КАК МЕТЕЛЬНО!.. КАК — хо-ро-шо!..

Часть третья триптиха (самая светлая)

Над обрывом, над Вологою — Кремль, с красными его развалившимися, громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые, — хмуры и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжинами. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах — церкви. Испепеляли Кремль многие знои, и многие годы — голые годы — исходили булыжины мостовых.

Россия. Революция. Совы кричат: по-человечьи жутко, по-звериному радостно. Сумерки. Осень. В Кремле, в башнях, много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как вьюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле, в закоулках: гу-вууу-зии-маа!.. И шумит крышное железо старых домов: — гла-вбуум! По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за кремлевский вал, где разрушена артиллерией белых стена, и там — на другом бугре — стоит больница в стройных зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот — Архип Иванович Архипов. Ветер осенний —

все шарит, все раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны — бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня, огромных филодендронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка.

— Садитесь, Архипов, сюда, на диван.

— Ничего, спасибо. Я здесь вот, у печки.

Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная, — и черны глаза.

— Слушайте, Архипов, — вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом... Вы ведь — сын.

— Да. И мне. Трудно вырывать старое коренье. И от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать спозаранку, — стало, чего же мучиться? Жить надо, работать.

— Но ведь вы один — один навсегда!

— Да. Что же? Я всегда был один — я со всеми, с товарищами. Я верно только освобождаюсь — от глупостей.

Наталья Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке.

— Говорите правду. Вам не страшно?

— Как же не страшно? — страшно, тошно. Только страдать — не надо. Умер старик, как надо. Я все думал в одну точку, ну, и не страдаю. Так надо. — Архипов обеими своими руками взял руку Наталии Евграфовны. — Вы, Наталья Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что.

— Мне нечего рассказывать. Что же?..

— Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо, — ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать — руки. Парнишкой я влюблялся, ну, грешил с женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе, заодно. И ребяенок вырастим, как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы — поученее меня.

Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые. — Архипов склонил голову, Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук.

— Да, хорошо, — она ответила не сразу. — Но я не девушка... Дети, — да, единственное. Я не люблю вас так, — ну, знаете...

Архипов поднял голову, взглянул в глаза Наталии Евграфовны, — были они прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Наталии Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо.

— Ну, вот. А что не девушка, — человека надо бы.

— Это все холодно будет, неуютно, Архипов.

— Как? неуютно? — не понимаю я этого слова.

Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом, — надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти сверкает холодно никелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пятерен, под кожаной курткой — жилетка, и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом — косами. Линолеум поблескивает холодно, — за окнами мутная луна в облаках, ночь, — и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой «министерская» лампа.

— Человек нужен, чистота, разум!

154

Лунный свет в кабинете, и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Наталии Евграфовны, лунный свет упал на Наталью Евграфовну, глаза исчезли во мраке, — нежно, женски-мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову, прошептала чуть слышно:

— Милый, единственный, мой...

Архипов не нашел, что ответить — в радости.

— Понимаете — жить, касатынька!

Совы кричат: по-человечески жутко, по-звериному радостно. «Ведь человек не животное, чтобы любить

как животное». Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь. Кремль. Кричат совы. Ветер кричит в закоулках: гу-ву-зи-маа!.. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, и на углах церкви. Голые годы. Мрак. Ночь. Осень. Луна ползет медленно, зеленая.

— Милый, единственный мой!

Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрослись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь — опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается — в слезинках на стекле и в слезинках на глазах.

— Не любить — и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и — труд, труд!.. Милый, единственный мой! Не будет лжи и боли.

В доме Ордыниных, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно:

— А правда и радость все-таки восторжествуют! Не может как иначе.

Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату, — в словарики иностранных слов, вошедших в русский язык, составленном Гавкиным, — слово уют не было помещено.

— Милый, единственный, мой!

ГЛАВА VII

Последняя, без названия

Россия.
Революция.
Метель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Триптих последний МАТЕРИАЛ, в сущности

НАГОВОРЫ

К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул сук. Из оврага к порубке, где днем парни с Черных Речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным. И это осеннее спиртное верно сказало, что дождям конец: будет неделю осень изливать золото, а потом, в заморозках, падет снег. Бабыим летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич, — днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью, крепкою, как спирт), а ночью, потускнев, латы его — как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят

одни. Волк вышел на просеку, далеко обошел дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами Черных Речек. На Черных Речках, в овинах, девки заорали наборную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо-грустное. Из леса, оврагом, к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка — вспыхнула пара зеленых огней в кустах, — Арина не свернула, не заспешила... В избе у Егорки, черной, за-

пахло по-осеннему, лекарными травами. Арина вздула жар в чугушке, зажгла свечу, литуую из воска, с Егоровой пасеки, — осветилась изба, ладная, большая, с лавками по всем стенам, с расписной печкой, с печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки спрыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи; прокричал спросо-нья хрипло:

— Пришла? — Аа, пришла, ведьма. Не открутиссии, не отворотиссии, будешь моею, заколдую, ведьма.

— Ну-к что ж, и пришла. И не пойду никогда от тебя, от косога черта. И замучаю я тебя, и кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, черта косога, вгону.

В сенях гудели встревоженно пчелы, не убранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку, кошки пошли по полу, выгибая спину, вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил — сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевелевое корье.

— Пришла?! — А-а, пришла, ведьма! Кровь выпью...

— Ну-к что ж, и пришла, кривой черт. Спутал, опоил.

— Сапоги снимай, на печь полезай! Раздевайси!..

Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина.

— Опоил, черт косоглазый! И сам опоился. Трав принесла, в сенях положила.

— Опоилси, опоилси!.. Никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка...

Залаяли под навесом собаки: — надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи.

К заморозкам на Черных Речках поуправились с полями, попрятались по избам, — мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливались, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах, гурьбами топили земляные овинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные, — стало быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами

тискались у овинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной, осенней небесной тверди белые звезды (падали иные из них на черную землю), лежала земля уставшая, безмолвная, — как вороненая сталь лат Добрыни, поржавели стали лесами, звенят застежками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в овине орали наборные, ребята пришли с тальянкой, девки овин заперли, ребята в овин вломились, девки завизжали, бросились по углам, забились в солому, ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Буро из овинной печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли, —
Каво хочешь бери! —

заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь. Девки фыркали в строгости.

Журавли вы длинноноги,
Не нашли пути дороги! —

Заиграли девки.

Кроме дыма запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землю звезда.

158

Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожьё и мышами. Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась, — губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!..

Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии полегла уставшая земля, спала

деревня, — над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах, — приземистая, в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах, своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заочевали в соседнем, рядом с девьем, овине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из овина. Меркнувшей свечой светил над крышей месяц, земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок, деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий овин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего овина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрелась покойно кругом, расставила ноги, стала мочиться, — в осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи, — провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг раскорякой и ушла в овин. Запели на дворах петухи — один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу, без игры.

И за два дня до Покрова, ночью, выпал первый — на несколько часов — снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел, как старуха, был ветрен, бездомен; вернулась осень. В этот день перед Покровом на Черных Речках у речки топили бани. На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями пошли париться — старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, дети. В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак, и окупываться бегали все на реку, в сырой вечерней изморози, в холодном ветре.

И Алешка Князьков в этот день на рассвете ходил к Николе, к Егорке-кривому — знахарю. Лес на рассвете был безмолвен, туманен, страшен, и колдун Егорка

нашептывал страшно: «В бане, в бане, говорю, в бане!..» Вечер пришел сырой и холодный, ветер свистел на все лады и переборы. Вечером Алешка караулил у Кононовой-Гнедых бани. Выскочила очумевшая молодая, нагишом, с распущенными косами, бросилась к реке и оттуда побежала на гору к избе, белое тело ее растворилось во мраке. Выходил два раза старик, кряхтя окупывался в речке и вновь уходил париться. Мать под мышками таскала на реку ребяташек. Ульянка в бане задержалась одна, убирала баню. Алексей пробрался в сенце и зашептал, в великом страхе, нашептанное Егором:

— Стану я, Лексей, на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю, — со ясна неба летит огнева стрела. Той стреле помолюсь, той стреле покорюсь, вопрошу ее: — Куда послана, огнева стрела? — «Во темны леса, во зыбучи болота, во сыро корье». — Гой еси ты, огнева стрела! полетай ты куда я пошлю: полетай ты ко Ульяне, ко Кононовой, ударь ее в ретиво сердце, в черну печень, во горячу кровь, в станову жилу, во сахарны уста, чтобы она тосковала, горевала обо мне при солнце, при утренней заре, при младом месяце, при ветре-холоде, на убылых днях и на прибылых днях, чтобы она целовала меня, Лексея Семенова, обнимала, блуд со мной творила! Мои слова полны и наговорны, как велико море-окиян, крепки и лепки, крепчая и лепчая клею-карлюкю, твержая и плотняя булату и камню. Во веки веков. Аминь.

160

Ульянка подтирала пол, проворила, играли легко мышцы на крепком ее крестце. Вдруг ударило угаром в голову, — заговор ли отуманил? — отворила дверь, прислонилась к косяку истомно и покорно, дышала холодным воздухом, улыбнулась слабо, потянулась, — сладко шумело в ушах, обдувал отдохновенный холодный ветер. С горы крикнула мать:

— Ульянкя-а! Скорей-ча! Коров доить!

— Си-ча-ас! — заспешила, хлопнула раза три тряпкой по полу, плеснула в угли, накинула рубашку и, поднимаясь на гору, запела озорно:

НЕ ПОЙДУ В ОЗЕРКИ ЗАМУЖ,
 НЕ БУДУ СРАМИЦА-А!
 НЕ ПОЕДУ БОРНОВАТЬ —
 НЕ БУДУ ПЫЛИЦА-А!..

В темном хлеве под навесом тепло пахло пометом и потом коровьим. Корова стояла покорно. Ульянка подседа на корточках, жикало в подойник молоко, соски у коровы были мягки, корова вздохнула глубоко...

И на Покров у обедни в темной церкви, среди тонконогих и темноликих святых, вторила Ульянка несложную свою девичью молитву:

— Мати пресвятая богородица, покрой землю снежком, а меня женишком!

И снег в тот год выпал рано, зима стала еще до Казанской.

РАЗГОВОРЫ

Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда с молебном, с семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы, — той весной отполыхали помещичьи гнезда красными петухами, дотла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа-одежа, — в предсмертной судороге задержались поезда; замирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги, — на станцию проселок порос подорожником.

Снег падал два дня, ударил морозец, лес поседел, побелели поля, затрещали сороки, — с морозами, ветрами, снегом полысел Златопояс Добрыня, — первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало поветрие черным платом по избам, сыпало — тифом, оспой, знобами, — и с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам, серый, гроба были сосно-

вые, всех размеров, лежали в розвальнях, горами, один на другом. Киржаков на Черных Речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили во один час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть походу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков.

— Почем, к примеру, цена-т-от? — сказал он. — Гробы, к примеру, покупать надо-ть... надо-ть покупать, — в городе теперь недостача. Мне надо-ть, старухе, и так, к примеру... кому придется.

Тогда старика Кононова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила:

— Ну, цена-то, цена-то кака?

— Цена — известно, мы на картофь, — ответил киржак.

— Знамо, не на деньги. Я три гроба возьму. А то помрешь — забота. Все покойней.

— Одно дело, к примеру, покойней, — перебил Кононов. — Ты погоди, бабочка, я постарее... Ну-ка, милок, отмерь меня, — какой я росточком вышел, отмерь. Помирать — все у бога за пазухой, к примеру, ежели помирать.

Бабы бегали за картошкой, киржак отмеривал, парнишки взваливали гроба на головы — растаскивали с гордостью по избам, долго в избах рассматривали гробяную доброту, примеривались ко гробам и ставили их потом в сенцах на видное место, — у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему — мертво, в морозе — снега, засветились избы лучинами, на задах заскрипели ворота и бабьи шаги — шаги к сараям за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки, — в избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись — оказались гостями веселыми, прибаутошниками, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз, сидел у светца, щипал лучины, вставлял их одну за другой в рогулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал:

— Теперь, все-таки, сами, одни... Умрешь, а гроб — вон-от, на охоту ехать, собак не кормить... Бунт, все-таки, время смутная. Советская власть — городам, значит, крышка... Вот за солью собираются наши на Соль-Вычегодскую...

Баба Никонова, в плисовой безрукавке и в паневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими, как вымя, да и с лицом по-коровьи дебелим, сидела за станом, хлопала-ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные (поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света). На печи, десяток друг на друге, бабы лежали. В углу, за печкой, в закуте лениво мекал теленок. Новые приходили — киржаков посмотреть, уходили бывшие, — дверь клубилась паром, несла холодом.

— Чу-гу-унка! — говорит в презрении величайшем Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки! Хуч бы ей издохнуть!

— Одна ваторга, — ответил Климанов.

— Нам она, к примеру, не нужна, — подтвердил дед Кононов. — Господам, к примеру, нужна ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит.

— Чу-гу-унка! — сказал Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки!.. Жили без ей — и проживали. А — тоо!.. Одна в году в город ездил, сё-таки, день на станции караулил, раз пять котомку развязывал: — «Какое твое продовольствие, а то прикладом!..» Ну, влезли на крышу, поехали... Стоп! — «Какой такой твой мандат, показывай!» — што я, баба што ли?! — Показал бланток. Рассердилси. Так и так вашу мать, говорю, ребятв везу в Красную армию, буржуев бить, сё-таки. Я, говорю, — мы за большевиков стоим, за советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать... сё-таки обидно..

Ночь. Глеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы, спит деревня ночным сном, метет белыми снегами белая метель, небо мутно. В избе, в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме, сидят мужики,

с бородами от глаз (поблескивают глаза красными отсветами). Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладыны потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохам. И Никон Борисыч говорит со строгостью величайшей:

— Камуне-есты! — и с энергическим жестом (блеснувшими в лучине глазами): — Мы за большевиков! за советы! чтобы по-нашему, по-россейски. Ходили под господами — и будя! По-россейски, по-нашему! Сами! — Одно дело, к примеру, мы ничево, — это дед Кононов. — Пущай. И фабричных мы — ничево, примем, пущай девок огуливают, к примеру, венчаются, которые с руко-меслом. А господ — того, кончать, к примеру...

СВАДЬБА

Зима. Декабре. Святки.

Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещоткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей мути, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкою, неспешной побезкой проскакивает заяц. Наверху, небо — синими среди вершин клочьями с белыми звездами. Кругом стоят, скрытые от неба, можжевельники и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегают лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен. Лес стоит, точно тяжелые надолбы, скованные железом. Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы. Причудливо в лунной мути лежат срубленные ветви сваленных сосен, как гигантские ежи, щетинятся сумрачно ветвями. Ночь.

И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк, и волки играют звериные свои святки, волчью свадьбу. Взвыла лениво и истом-

но сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибыльные косятся строго. Играют, прыгают, валяются в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет, воет, воет.

Ночь. И над деревней, в святках, в гаданьях, в рядах, в морозе, в поседках, перед свадьбами несется удалая проходная:

— Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!
Каво хочешь бери!

— и грустным напевом, девичническим, во имя девичьего целомудрия, сквозь слезы, девичья:

Не чаяла матушка, как детей избыть, —
Сбыла меня матушка во един часок,
Во един часок в незнакомый домок.
Наказала матушка семь лет не бывати.
Не была у матушки ровно три года.
На четверто лето пташкой прилечу.
Сяду я у батюшки во зеленом саду,
Весь я сад у батюшки слезами залью,
На родную матушку тоску нагоню.
Ходит моя матушка по новым сениям,
Кличет своих детушек-соловьятушек: —
«Встаньте вы, детушки-соловьятушки,
А и какой-то у нас в саду жалобно поет.
Не моя ль погорькая с чужой стороны?»
Первый брат сказал: — пойду погляжу.
Второй брат сказал: — ружье заряду.
Третий брат сказал: — пойду застрелю.
Меньшой брат сказал: — пойду застрелю-ю! —

На кровле — конек; на князьке — голубь; брачная простыня, наволочки и полотенца — расшиты цветами, травами, птицами; — и свадьба идет, как канон, расшитая песнями, ладом, веками и обыком.

Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна — в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом — гости, Алексей Семеныч, со сватями и сватами.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие, — это старик строго.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие, — это мать, со страхом и важностью.

— Кушайте, гости дорогие, Лексей Семеныч, — это Ульяна Макаровна, голосом прерывающимся.

— Не гуляла ли, Ульяна Макаровна, с другими парнями, не согрешила ли, не разбитое ли ваше блюдо?

— Нет, Лексей Семеныч... Непорочная я...

— А чем вы, родители любезные, награждаете дочь свою?

— А награждаем мы ее благословением родительским, — образ Казанской...

И свадьба, в каноне веков, ведется над Черными Речками, как литургия, — в соломенных избах, под навесами, на улице, над полями, среди лесов, в метели, в дни, в ночи: звенит песнями и бубенцами, бродит брагой, распisanная, разукрашенная, как на кровле конек, — в вечерах синих, как сахарная бумага, — Глава такая-то книги Обыков, стих первый и дальше.

Стих 1.

166

Когда взят заклад, осмотрен дом, сряжена ряда и прошел девишник, тогда привозят к жениху добро, которое выкупает жених, и сватьи убирают постель простынями и подушками из приданого в цветах и травах, и тогда условливаются о дне венчанья.

Стих 2.

Стих 3.

Ай, мать, моя мать!
Зачем меня женишь?
Я не лягу с женой спать, —

Куда ее денешь?!

— Пошли плясать, пятки отвалились,

Девки-бабы хохотать — чуть не отелились!

Ууу! у! Ааа! а! — пляшет изба как бабенка

ерная и задом и передом, визжит в небо.

— Знает ли молодая трубу открывать?

— Знает ли молодая снопы вязать?

— Знает ли соловей гнездо вить?

— Они люди панови, им денежки надобны. Сыр-каравай примите, денежку положите.

— Отмерить холстин двадцать аршин!

Ууу. Ааа. Ооо. Иии. В избедохнуть нечем. В избе веселье. В избе крик, яства и питье, — а-иих! — и из избы под навес бегают подышать, пот согнать, с мыслями собраться, с силами.

Ночь. Звезды мигают лениво, в морозе. Под навесом, во мраке пахнет навозом, скотьем теплом. Тихо. Лишь иногда вздохнет скотина. И через каждые четверть часа, с фонарем, приходит старая Алешкина, молодого Алексея Семеныча, мать, — посмотреть корову. Корова лежит покорно, морду уткнув в солому: воды прошли еще вчера, вот-вот родит. Старуха смотрит заботливо, качает головой укоризненно, крестит корову: — пора, пора! буренушка. И корова тужится. Старуха — по старинной примете — отворяет задние ворота, для вольного духа. За воротами пустой вишенник, вдали сарай и тропка к сараю — в сене, подернувшемся инеем. И из темноты говорит дед:

— Я шлежу, я шлежу — шмотрю. Жа Егор-Поликарпычем надоть, жа Егоркой-кривым-жнахарем. Томица корова, томица, тае, корова...

— Беги, дедушка, беги, касатик...

— Я што? Я шбегаю. А ты карауль. Морож.

Под навесом темно, тепло. Вздыхает корова глубоко и мычит. Старуха светит — торчат два копытца... Старуха крестится и шепчет... А дед трусит полем к лесу, к Егорке. Дед стар, дед знает, что если не сойдешь с про-

селка, не тронет волк, теперь уже огуленный и злой. Под навесом на соломе мычит и брыкается мокрый теленок. Фонарь горит неярко, освещает жерди, перегородки, кур под крышей, овец в закуте. На дворе тишина, покой, а изба гудит, поет, пляшет на все лады и переборы.

— И из книги Обыков:

Стих 13. И когда уезжают в ранние и расходятся гости и в избе остаются только мать молодого и сватья, сватья раздевают молодую и кладут ее на брачную постель и сами укладываются на печь. И к молодой жене приходит муж ее и ложится рядом с ней на постель, расшитую цветами и травами, и засеивает муж жену свою семенем своим, порвав ложесна ее. И это видят мать и сватья и крестятся.

Стих 14. И на утро другого дня мать и сватья выводят молодую жену на двор и обмывают ее теплой водой, и воду после омовения дают пить скоту своему: коровам, лошадям и овцам. И молодые едут в отводы, и им поют срамные песни.

— Делянка. Деревья закутаны инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев, в серой мути, потрескивая сучьями, бежит-грусит белый дедка, и в синей мути, вдалеке, лает волк. День бел и неподвижен. А к вечеру метель. И завтра метель. И воют в метели волки.

ВНЕ ТРИПТИХА, В КОНЦЕ

День бел и неподвижен. А к вечеру метель — злая, январская. Воют волки.

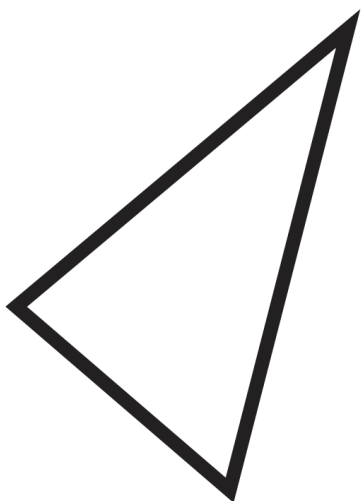
— Белый же дедко на печи, белый дедко рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке: — «Играй, играй, дудочка! Потешай свет-батюшку, родимую мою матушку. Меня, бедную, загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Метель кидается ветряными полотнами, порошит тру-

хой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах: — «Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды». «И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и sprыснул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной». — «Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку, — зачем?!»

— Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена был-былина о том, как умерли богатыри? — Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, режут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают, — прибывают, как головы змея — две за одну сеченую, а лес стоит как Илья-Муромец. —

*Коломна,
Никола-на-Посадьях
25 дек. ст. ст. 1920 г.*

Андрей
Соболь



Салон-вагон

172

...И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

А. Блок

До войны он был в личном распоряжении генерал-губернатора одной из восточных окраин.

А так как генерал-губернатор, старик шестидесяти лет, страдал водянкой, разбухнув весь, и почти никогда не расставался со своим дворцом и садом, пышным и занимательным, похожим на сады из арабских сказок, где тонкоголосые фонтаны, замысловатые лабиринты и узорные беседки еще хранили молчаливо-грустные

воспоминания о последнем эмире, убитом на пороге его дворца, и так как телеграммы предпочитал поездкам, а халат, мягкий и вкрадчивый, словно улыбка восточной женщины, мундиру, то голубой салон-вагон мирно стоял на запасных путях.

Только раз в году, весной, отравлялся он в Петербург за генерал-губернаторской внучкой и привозил из Смольного девочку с косичкой. В его большом зеркальном трюмо между двумя шифоньерками только и отражалось одно: белокурая институточка, худенькая, с большими, не по летам невеселыми глазами, и толстый умильно-широколицый денщик — не то нянька, не то дядька.

Девочка Тоня, а впоследствии Антонина Викторовна Ашаурова, надолго запомнила вагон № 23. Когда летом 1906 года умер дед, и на вокзале трубы, флейты и фаготы провожали его высокопревосходительство в последний путь, а на площади толпами стояли длиннородые сарты, похожие на фокусников и чревоуещателей, девочка плакала не только о дедушке, но и о «голубеньком», с которым надо расстаться навсегда. О голубеньком вагоне, где в углу она когда-то нацарапала перочинным ножиком, как это делают все солдатики и о чем ей рассказывал денщик Прохор, свою тайну, тайну никому не рассказанную, даже лучшей подруге, — свое стихотворение с заглавными буквами в каждой строчке, как в хрестоматии, и над которым долго-долго работали и маленькая голова и маленькое сердце:

ГОЛУБЕНЬКИЙ ВАГОН,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАК ДЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАК БОГА,
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО БЫ БОГА —
УМЕРЛИ БЫ ВСЕ ДУШИ.
ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПОКИНЕШЬ —
Я УМРУ.
ГОЛУБЕНЬКИЙ,
И МЕНЯ ЗАРОЮТ, КАК ПАПУ, КАК МАМУ,
КАК БРАТА СЕРЕЖУ.

В начале войны судьба сначала закинула его на Кавказский фронт, откуда он перекочевал на Юго-Западный. На юго-западном фронте он был в непрерывном движении: новый командующий армией жил и спал в нем. Неутомимый и горячий, генерал нигде подолгу не засиживался, с одного места переносился на другое. Не раз вагон попадал под обстрел, не раз вывороченные рельсы и калеки-семафоры преграждали дорогу, но тотчас же из соседних вагонов выскакивали солдаты-железнодорожники, чинили — и вагон катил дальше. Покачиваясь мчался вдоль опустошенных полей, мимо разоренных деревень, дрожал всеми своими стенками, и дребезжало зеркало-трюмо, отражая карты, планы, кобуры револьверов, обветренные смуглые лица французских офицеров из миссии. А чаще всего энергичный, слегка жесткий, как жесток бывает контур одинокой скалы, профиль того, кто несколько лет спустя (так же склонившись над картой), вздумал повернуть колесо истории России, пытался выдернуть его из колдобины, хотел направить его к старой Дорогомиловской заставе.

Вскоре вагон заболел — заболел, как болеют люди: подался, где-то лопнули какие-то пружины, дававшие жизнь, где-то что-то свернулось. Как уносят больного человека, так увели и его лечить: выстукивали, щупали, возились с ним, царапали потрескавшуюся голубую кожу, поднимали, вновь опускали. А вылечили, — пришла к выздоровевшему бумага, что такой-то и такой-то вагон переходит к министру такому-то и такому-то.

Тотчас же заново перетянули кожаные диваны и кресла, переменили гардины, занавески, навели блеск на все медные части, подновили голубую краску, растянули ковры, — и уже в первую поездку зеркальное трюмо — молчаливый, но всевидящий свидетель — отразило иную жизнь иной полосы. В его таинственной глубине появились бокалы, серебряные ведерки, чарки, замелькали модные дамские прически, камергерские мундиры, фраки, косынки сестер милосердия вокруг накрашенных губ и подведенных глаз, сверкнули серьги, браслеты, свитские аксельбанты, разнокалиберные

золотые и эмалевые значки, поплыли кружевные вырезы, лощеные проборы, монокли, голубые жандармские плечи, молодцевато расправленные.

И однажды грузно и жутко обрисовалась в зеркальной глади неуклюжая, как каменная баба в степи, и страшная, как сам рок, вдруг принявший человеческий облик, растопыренная фигура косматого сибирского чудотворца и царского советчика в лакированных сапогах и шелковой поддевке поверх малиновой рубахи.

Надолго задержался вагон на Царскосельской ветке; разъезжал редко. А отпрянув от перрона, уносил с собой дикие указы: за каждым словом новое бедствие; дикие проекты, — а самая незаметная черточка их все глубже и глубже рыла пропасть, куда, как по бесовским рельсам, катилась вся страна, — и разнузданную, сумасшедшую волю временщика. И шум колес, отрывистый и резкий, не в силах был заглушить ни стука серебряных занятных стопок с донышками из редкостных юбилейных рублей, ни всплесков женского рассыпчатого смеха.

Под звон, под пьяный гул, под кощунственный хохот шла Россия по своему крестному пути, куда толкала ее холеная рука из окна голубого вагона.

А февральская вьюжная ночь приковала вагон № 23 к какой-то маленькой станции Николаевской дороги, где он застрял на обратном пути из Москвы в Петроград с единственным пассажиром — личным секретарем временщика. И секретарь в ночь под первое марта сбежал, скрылся. Первого марта чья-то рука мелом вывела вдоль всего вагона:

«Да здравствует революция».

Два проводника, лет пятнадцать разъезжавшие с вагоном, привыкшие к нему, как привыкают заключенные к своей камере, наглухо заперли первую дверь в начале коридора и засели в своем чулане.

Старший проводник сказал второму, помладше: «Ну-ну, времечко», второй протянул: «М-м-дда, досту-

кались», — и стали они оба день за днем следить, как тает снег, как мчатся взад и вперед переполненные поезда, неутомимые, словно вешние ручьи, и как кричат и радостно хорохорятся чуйки, картузы, шинели и студенческие фуражки, все опьяненные допьяна весенней сладкой отравой.

За окном вокзала телеграфист, молоденький, вихрастый, любитель Дюма и автор еще неоконченной поэмы, где главной героиней была великосветская княгиня Беловзорова, не разгибаясь работал днем и ночью, торопился. От усталости глаза смыкались, но надо, надо было стучать, и рука его не сползала с рычажка, и дробно, дробно выстукивал он и, подхватив одну весть, передавал ее дальше — всем, всем, всем, — а уж очереди ждала другая, пятая, сотая — для всех, всех, всех. И рядом с вестями о новом министерстве, с речами министров, с именами арестованных была и краткая строчка для двоих, спящих в чуланчике рядом с топкой: немедленно отправить вагон в Петроград.

И снова очутился вагон у Царскосельского перрона, отдохнув, перешел на Николаевский вокзал, где полоסקались красные флаги. А вечером повез в Москву, быстро, быстро, нигде по пути не останавливаясь, кучку людей в пиджаках и гимнастерках. И никто из них не спал всю ночь, и всю ночь в трюме мелькали возбужденные лица, даже от бессонницы не притихшие, косоворотки, расстегнутые в волнении. И всю ночь проводники кипятили воду и в граненых стаканах с серебряными чеканными подстаканниками разносили по диванам, по креслам мутно-жидкий чай и тоненькие сухарики из последних остатков министерского запаса.

В конце июня вагон перешел в полное владение комиссара Временного правительства Гилярова, Петра Федоровича, который в Париже был известен под кличкой Алхимик.

Полный же новый его титул был таков: особоуполномоченный комиссар Соединенной комиссии по обследованию фронта и тыла.

Высокое зеркало, как всегда, невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина, сутулую и узкогрудую, и френч его неопределенного цвета — хаки с сизым, — и губы его, плотно сжатые, как будто упорные и решительные, но в то же время таящие в углах рта характерные складки болезненного раздумья и тоски, и лоб его, круто выдвинутый вперед, и глаза — серые, как и губы, будто властные и повелительные на первый взгляд, а потом, когда пристальнее взглядишься, надломленные и усталые. Но так как зеркало давно уже не вытирали и покрылось оно легким слоем пыли, то отражение получилось чуть туманным и расплывчатым, словно замутилась зеркальная глубь и пошла поверху мелкой рябью.

Господин комиссар приказал остаться прежним проводникам и в первый же вечер, случайно увидев, где они спят, велел им занять крайнее купе.

И проводники остались, и подстаканники, и юбилейные стопки, и маленькие строки в углу, детские строчки о любви к «голубенькому».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Господин комиссар диктовал машинистке:

— ...И потому Центральному комитету необходимо немедленно же вынести резолюцию, что упадок дисциплины в войсках грозит всем завоеваниям революции и что для спасения их революционная власть не остановится перед самыми строгими мерами, как...

Постукивал ремингтон, словно другая, уже огромная машина, вторил вагон, чеканя свои собственные, только ему одному понятные слова, ровно горело электричество в матовых грушеобразных колпаках, и матовый снег падал гладко, но безжизненно. У крайнего столика, где тускло блестел небольшой мельхиоровый самовар, осторожно возился вестовой Панасюк, стараясь не

звенеть чайной посудой. Туго натянутые занавески вздувались в открытых окнах, как паруса, встречный ветер упруго боролся с ними, и когда ему удавалось то в одном, то в другом окне слегка сдвинуть занавеску, — в трюмо, как след падающей звезды в небе, отражался на миг лет золотых искр, пропадающих в темноте, куда мчался поезд и где вдогонку кивали ему расплывшимися кронами ольхи, березы, ясени и сосны.

Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью.

И на мгновение остановился Гиляров: так остро волнующе и близко-ощутительно пахнуло мятой.

— ...строгими мерами, как...

И еще ворвалась горько-сладкой струей дразнящая полынь.

Машинистка, не отнимая рук от клавишей, повторила:

— ...строгими мерами, как... Дальше?..

Но Гиляров уже стоял у окна, отдернув занавеску и не слышал. Машинистка подняла голову и, глядя поверх бумаги, переспросила:

— Как?

Господин комиссар не отвечал — перегнулся он через окно, и только виден был широкий хлястик его френча. Машинистка усмехнулась; за короткое ее пребывание в вагоне, что-то всего около месяца, Гиляров уже в третий раз приводил ее в полное недоумение: в первый раз своим вопросом, неожиданным, посреди разговора о грядущей революции в Германии: «А вы любите церковное пение?»; затем своей просьбой не называть его товарищем, а по имени-отчеству; и вот теперь в третий. А так как машинистка, барышня из Клина, уже успела за март месяц стать членом городского района Петроградской организации, то поведение комиссара, облеченного особо важными полномочиями, казалось ей более чем странным. В таких случаях короткая пренебрежительная усмешка являлась насущным делом — и, усмехнувшись,

она откинулась к спинке стула. Замер у чайного столика и вестовой Панасюк, попросту считавший, что нельзя беспокоить начальство, когда оно изволит думать.

И никто не мешал Гилярову, как и никто не знал, о чем думает он и что видит он в степной темени, где только изредка, как будто вынырнув из глубокого ому-та, внезапно появлялся один-другой огонек заброшен-ного хутора, притаившейся усадьбы.

Да и что можно увидеть в темной степи, когда толь-ко изредка вспыхивают искры паровоза и сейчас же га-снут в полете, делая ночь еще темнее, а степную даль еще глубже?

II

Но «алхимик» Гиляров, бывший ссыльно-каторж-ный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, особоуполномоченный и т.д., видел многое. И не только от мяты кружилась голова, и не только от полынного ветра замирало сердце под си-зым френчем.

Или, быть может, именно мята и полынь, — эти чу-десные запахи родины, — обо всем напомнили и, на-помнив, сердце подтолкнули и мысли? Кто знает...

А сердце колотилось быстро, тревожно, точно на-кануне неожиданного счастья или еще неизведанной боли, боли, перед которой побледнеет все прежнее боль-ное, и мысли неслись быстрее насыпи, ветра, быстрее степи.

Степь! Как дышит она, какой усладой нежит она и щеки, и глаза, и руки. И как давно, как много лет он не видел ее, он, алхимик, погруженный в книги, и он же, ненавидящий их, как ненавидят дверь, в которую стучишься, стучишься без конца и должен стучаться, чтобы за ней увидеть все или ничего. Сколько раз под чужими небесами он думал о ней и тянулся к ней, и как часто она всплывала то в рюмке абсента, то в таблицах о «безлошадных», то в тоненьких листиках загранич-ных изданий.

И вот она пришла, она здесь, она перед глазами — что же говорит он, что несет он ей, какую весть, каков подарок, какое знамение?

Дверь открылась, человек достучался, — что же за дверь: все или ничего?

III

Ширился, рос, крепчал томящий запах, от степи несся к поезду.

Стоя в окне своего салон-вагона, Гиляров видел сон наяву, где явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной, даже и во сне, под крышей мансарды на rue Sante, куда Париж, как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам, на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в начале улицы, заполненной «этими господами» в козovorотках и нелепых шляпах, — тюрьму.

Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурное, и, сплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная — кем предначертанная? — судьба бросала все новые и новые звенья. Каждое звено было отлично от другого, как разнилась сибирская каторжная тюрьма от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаки. Но все же звено примыкало к звену, и смыкались звенья, и грани стирались.

И ковался, ковался загадочный круг и куется дальше, забрав, забирая в себя, словно назло всему земному, разумному, но во имя неразумного свыше, неразумно нужного, и Черемховский рудник с вагонетками, и номер в петербургской «Астории» с чемоданом бомб в ногах английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плившую по Амуру вниз, к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда, и ночное парижское кафе возле Halles, когда на рассвете шумит железный рынок, за-

громожденный товарами, цветами, птицами, рыбами, фруктами, а русские гости, подневольные, пленные, плачут над стаканом вина, удивленным Марьэттам и Жаннам поют «Лучинушку» и, запинаясь от слез, водки и удручающей тоски, рассказывают под смех собравшихся сутенеров о том, как далека Россия, как хочется к ней, любимой, близкой и единой.

И карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому, и ночь в Колизее, когда перед глазами стоял Кремль, и копенгагенское Тиволи, и пеструю толпу мелкорослых японцев, где посреди русская сутулая спина мелькала безобразным пятном и казалась в тысячу раз более уродливой, чем все бумажные драконы, парящие под аметистовым небом в час шумного праздника. И нетопленную комнату на rue Sante, где жизнь билась, как птица в силках, между тюрьмой и сумасшедшим домом, и сербский походный госпиталь, где корчились от ран стройные македонцы. И гул снарядов над Лесковацом, и бегство в Ниш, и палубу норвежского угольщика, и переполненный взвинченной толпой коридор Смольного, и залы Таврического дворца.

И знамена, знамена красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон с зеркалами, с голубыми мраморными умывальниками, с фарфоровым в гербах сервизом.

Круг, охвативший Сибирь, Азию, Францию, Англию, Балканы, фиорды, бурятские степи, скаты Малого Хингана, звенья подбиривший в угольных копиях, на амурских баржах, в морских кабачках разноплеменного Марселя, в кибитке кочевников, в тесной комнате подпольной редакции, в курильне Шанхая, на эмигрантских вечеринках, кошмарных на рассвете, когда все выпито и все больные слезы выплаканы, в общих камерах тобольской каторги, на пляже итальянской деревушки, — этот круг покрыл еще степь, июньскую ночь с полынью, и бумаги с донесениями представителей воинских частей о гибели той, над которой рыдали в Париже и молились в Торнео, трепетно приближаясь к ее земным желанным границам.

IV

Плыл и качался вагон, стучали вразбивку колеса.

Стоя у окна, Гиляров отчетливо видел в немой темноте все очертания дней, событий, лиц — весь круг, и себя посредине него, и еще одно новое звено: свою длинную телеграмму в Зимний о том, что во имя завоеваний революции и спасения родины надо принять самые строгие меры, как...

V

Гиляров отошел от окна, резко рванув занавеску вниз; машинистка выпрямилась и положила руки на клавиши, изогнув кисти, словно пианистка перед началом трудного пассажа.

— Пишите, — сказал Гиляров, подходя к машинистке. — Как, например... Уже? Вычеркните «например». Пишите: как твердое и категорическое осуждение и презрение революции всем тем, кто... — И вдруг, скрипевшись, точно от внезапного ожога, крикнул, взвизгивая, срываясь на высокой ноте: — Не надо, разорвите. Идите спать! Не надо!..

Панасюк остолбенел на месте со стаканом в руке; звякнув, упала ложечка.

Плавно покачиваясь, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Штаб 16-й дивизии находился в бывшем графском имении Нейшван. Чтоб добраться туда, Гилярову пришлось за Венденом с шоссе свернуть на проселочную дорогу, где мокли вялые худосочные березки, где на искорканных проволочных заграждениях уныло торчали чахоточные галки.

Когда дорогу преграждали заброшенные окопы, похожие на ряд начатых, но недоконченных рытвем могил, полные зеленоватой воды, лошадь пятилась назад, и Гиляров, спешившись, брал ее за повод — и всадник и конь пробирались по кочкам, то подскакивая, то глубоко уходя в густую желтую грязь, — оба унылые под осенним предвечерним ветром.

А в штабе сразу позвали к прямому проводу, — уже в третий раз командир корпуса нетерпеливо справлялся о приезде комиссара. Не успев обсохнуть, Гиляров пошел к аппарату; стоя за спиной телеграфиста, глядя, как тянется белая лента и неуклонно покрывается буквами, мокрым рукавом шинели вытирал грязь с лица.

От рукава пахло кислым, напоминало запах этапки, где человек сто лежат вповалку после длинного перехода под дождем; у телеграфиста, чистенького и аккуратненького, в новенькой гимнастерке, голова была в мелких кудряшках и напозажена, как у писаря из полковых любимчиков, и этот сладкий до гадливости запах сливался с первым. Гиляров морщился, глотал липкую слюну, едва выдавливал слова и изнывал в ожидании конца переговоров. Но командир распространялся, дважды повторял одно и то же, и хотя по повторности и по любой фразе заметно было, что он взволнован до испуга и ждет тех или иных, но, во всяком случае, немедленных поступков комиссара, все же не отпускал его от аппарата.

И разматывалась, разматывалась бумажная лента, такая же долгая, как только что покинутая проселочная дорога, и такая же тусклая, безрадостная, и даже буквы были похожи на тех общипанных голодных галок, которые обмызганные перья свои трепали о проволочные колючки.

— Хорошо... Хорошо... — с усилием выдавливал Гиляров слова. — Хорошо, генерал. Я к вечеру все выясню. Всего хорошего.

— Примите во внимание, что беспорядки перекинулись в соседнюю дивизию, — не отпускала лента. — Примите во внимание, что образуется прорыв чуть ли не в пятнадцать верст... Примите во внимание...

— Все приму. Все... — еле-еле отвечал комиссар и судорожно поводил головой, отворачиваясь от писарских завитушек.

II

На обратном пути из аппаратной его тут же у дверей перехватил начальник дивизии, круглый, безбородый генерал, ниже среднего роста, но затянутый в талии, голубоглазый, с сединой в височках, неторопливый в своих округленных движениях, слегка грассирующий, похожий на тех генералов, что в старые времена на Мойке отбирали у просителей заявления и прошения и неизменно корректно и мягко отвечали: «Обязательно. Немедленно. Сочту своим долгом».

И только когда он запер дверь своего кабинета, два раза щелкнул ключом и даже попробовал, крепко ли заперта, Гиляров понял, что голубые глаза только по привычке беззаботны и чуть-чуть игривы, а пухлые руки с перстнем старинной чудесной работы не суетны и сдержанны, но что на самом деле генералу жутко. И по тому, как он попросил его присесть и как раскрыл золотой с вензелем портсигар, предлагая папиросу, Гилярову ясно стало, что генералу не по себе, что он не знает, как начать разговор, и что смущен он встречей и не уверен в себе, боится не в тон попасть, не так сказать, как надо, а сказать-то хочет и знает, о чем надо сказать, даже и слова подходящие знает, но вот убежали они, сгинут.

184

От генерала тоже пахло, но уже по-другому, и уже не тошнило, не было в горле противного подкатывающегося комочка, от которого скулы немеют, и потому легче стало, но по-прежнему плечи давила сырая шинель, и по-прежнему мерзко липли к ногам намокшие носки.

Генерал заговорил о скверных латышских дорогах, о том, как вязнут пушки; Гиляров слушал, все бормотал:

— Да-да, — и, поддакивая, думал, глядя на генерала: «На кого он похож? На кого он похож?» — и даже занервничал от желания вспомнить, как вот бывает на вокзале, когда поезд уходит и в окне мелькает чье-то лицо,

такое знакомое, близкое. И, наконец, вспомнил детскую книжку «Векфильдский священник» и картинка к ней: круглое лицо, височки, полный, мягкий подбородок, ласковые глаза и воротник вроде жабо.

А за окном одна на другую громоздились лохматые, растрепанные тучи, бился по ветру сломанный флюгер на изрешеченной пулями башенке, полз за поворотом обоз с фуражом, и на высоких покачивающихся глыбах сена крошечными серыми комочками виднелись солдаты.

«Векфильдский священник... А солдаты требуют его удаления... И домой хотят... Мир дому сему... А в окна стреляют», — и ласковый генерал, и съездившиеся фигурки на фургонах, и уцелевший гобелен на стене, и столетняя башенка, и мокрая шинель на плечах — все это внезапно почудилось таким нелепым и сумбурным. Гиляров поднялся со стула, генерал встрепенулся:

— Куда вы? Куда вы?

И вдруг голубые глаза потемнели, опали сочные губы, и сразу обмякли генеральские плечи — и стоял перед Гиляровым растерянный, напуганный человек, ошарашенный ударом, вот как бьют сзади на ходу в пустынной улице, вынырнув из переулка.

Чувствуя, как у него холодеют ладони, Гиляров шагнул к генералу.

— Все уладится. Все уладится, — зашептал он прерывисто. — Мы еще повоюем... — И неловким движением обнял генерала, а когда он, высокий, обнимая, поневоле должен был пригнуться, чтоб рука его не задела генеральской макушки, он увидел, что генерал плачет, беззвучно, только холеные щеки заходили, и побежал к переносице ряд внезапно появившихся морщин.

III

Вечером в соседнем флигеле Гиляров присутствовал на заседании дивизионного комитета.

Председатель, солдат с усеченной головой и белками навывкате, задыхаясь, кашляя нудно, докладывал, какие, по его мнению, должны быть приняты меры

для успокоения взбунтовавшихся солдат, и перечислял пункты, при каждом из них выпрастывал косым движением головы зобастую шею. В это время вестовой принес Гилярову из штаба письмо от генерала. Под шум споривших и речь с цитатами по-латыни — говорил уже другой член комитета, вертлявый еврей-фельдшер с носовым платком в руках, — Гиляров читал письмо генерала:

«Мне не стыдно, что я, боевой генерал, бывший ординарец Скобелева, плакал. Мне не стыдно, что я, георгиевский кавалер, разревелся, как новобранец при приеме, но я не хочу, чтобы мои слезы вами были неверно поняты и ложно истолкованы, ибо эти слезы не страха ради, не из опасения за свою жизнь. Я не раз глядел смерти в глаза, погляжу и сейчас, и если, дай бог, случится, то приму ее не на четвереньках. И плакал я даже не потому, что любимая мной дивизия потребовала моего изгнания, хотя нет ни одного солдата, которого я бы обидел даже до переворота, хотя с того дня, как я принял ее, я был только с нею, только ею жил — и под Ригой, и под Двинском, и каждый солдат знал меня, как я знал каждого из них. А вот кто спасет Россию? Кто спасет нас всех и всех нас укроет? Все мы одинаково бедны и все мы одинаково бессильны. Я не скрою, и смешно было бы скрывать: я не республиканец, мне дорога была монархия, и тридцать лет своей жизни я отдал ей, но пошла старая Россия прахом, восстала новая — и не судить теперь нам, было ли это хорошо или плохо, кто виноват и кто довел — встала новая, и пусть мертвые хоронят мертвых, — значит, так надо, значит, такова судьба и да идут вперед живые. Но почему, почему живые уже мертвы? Но почему все глубже яма, куда мы ползем со страшной закономерностью, и почему от этой закономерности не уйти? Вы, конечно, пожелаете объехать полки. Вас примут, вас не прогонят, вас выслушают, вы не золотопогонник и вы как будто свой, но вы тотчас же убедитесь, что нет исхода и что вы и они — как древние строители Вавилонской башни. Над этой башней работают в Москве и в Киеве, генералы и последние

безграмотные пастухи, министры и грошовые репортеры, чужь и мордва, талантливые и бездарные, добрые и злые. Растет башня — и ничего с этим не поделаться. Взбунтовалась моя любимая дивизия — вы услышите, что вам будут кричать из рядов, когда вы с ними заговорите, — завтра другая, третья, но разве дело в этом и разве рухнет чудовищная башня, когда дивизия согласится выйти на позицию, когда все дивизии подчинятся? Нет, нет и нет! А почему? Я не знаю, потому я и плакал. И если бы сейчас собрать всех генералов, всех купцов и всех ученых, как вот завтра вы соберете всех солдат, и пусть мой любой солдатик пойдет к ним и, как завтра вы, станет объезжать их ряды, — та же башня встанет. Я подъеду — то же самое. Потому искренно говорю, что мне страшно, потому я смерти хочу, как избавления. Не дивизия взбунтовалась и хочет покинуть передовые позиции, а вся Россия поднялась с насиженных старых мест и идет. Куда? Куда? Идет неуклонно вперед или неуклонно падает в пропасть? Не знаю, не знаю, но закономерность я чувствую и сгибаюсь под ее железной волей. Сегодня плакал я, быть может, еще многие возле меня, вот плакал вчера капитан Снитников, которого в сумерках подкараулили у цейхгауза и дали камнем по голове. А капитан Снитников в 1906 году только чудом спасся от суда за участие в военной социалистической организации, и еще недели три тому назад солдаты прислали мне резолюцию, что мне они не доверяют, так как я “царский”, и хотят, чтобы начальником дивизии был назначен свой — капитан Снитников. А завтра, послезавтра заплачем все: и те, кто с камнем, и те, кого камнем по виску. И если вы, господин комиссар, при объезде спросите любого солдата, любому заглянете в глаза, вы увидите... Ах, впрочем, все равно: и вы, и вы знаете... Ваш покорный слуга...»

IV

— Товарищ комиссар, — хрипло проговорил председатель.

Гиляров недоуменно поглядел на него и вернулся к письму; кто-то из солдат хихикнул, председатель натужно повел шеей, стало тихо, и, легонько тронув Гилярова за плечо, фельдшер зашептал скоренько:

— Вас зовут, товарищ. Вас.

Гиляров сжал письмо и подошел к столу, зашевелились в углах, и только теперь заметил Гиляров, что в комнате много солдат и что все они блеклые, пожухлые, словно не то не выпались, не то накурились до одурения. Дымилась трубки, папиросы, собачьи лапки, потели окна, в углу на куче шинелей спали беленькие котята, и точно на дозоре сидела возле них бесхвостая кошка. На столе лежала груда газет — армейских и столичных, и молоденький офицер, как потом оказалось, секретарь дивизионного комитета, подпоручик Разумный, разложив поверху лист бумаги, вел протокол. Пальцы его и губы темнели в лиловых пятнах от чернильного карандаша; стриженный бобриком, с заячьей губой, безусый и угловатый, подпоручик до смешного смахивал на гимназистика с последней парты, даже гимнастерку он то и дело одергивал по-мальчишески, даже поясok у него был с алюминиевой пряжкой.

V

— Вот, товарищ, — тянул председатель, и зоб его лез наружу, — наша резолюция такая, чтоб уладить по-мирному. В обед заявились к нам дилигаты из стрелковой дивизии, там тоже будто неладно и сухари к концу, а полушубков не везуть.

Фельдшер всем своим туловищем повернулся к Гилярову, говорил он правильно, но слишком отчетливо:

— Каково ваше мнение, товарищ комиссар? Мы хотели бы знать. Принимая во внимание ваше...

— Я хочу поговорить с солдатами, — сказал Гиляров и еще крепче сжал письмо.

— То есть с полковыми представителями. Они тут, —

улыбнулся фельдшер. — Это и суть дивизионный комитет. На началах вроде паритетных...

— Со всеми, — угрюмо перебил Гиляров. — Я объеду полки.

Фельдшер согнал улыбку и, махнув платочком, крикнул:

— Собрание объявляется закрытым.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Еще только сумерки надвигались, как ветер упал и, поредев, расползлись облака.

Когда Гиляров покинул флигель, уже над всклокоченными полями, над дальним леском, над разрушенными усадебными пристройками висела луна. В неверном, как туман, но неподвижном свете, сумрачно и гордо, как обнищавший рыцарь, вставал изуродованный замок, бывший великолепный Schloss Neuschwann, где некогда древний герб украшался мальтийским крестом, где однажды гениальнейший музыкант прошлого века в отдаленной комнате, обитой темно-синим трипом, посвящал графине Вермон-Нейшван свою бурную, как он сам и как его жизнь, свою пламенную, как его неугомонное сердце, сонату.

От ворот замка далеко уходила аллея в тополях, некогда прекрасная, как непрекращающаяся галерея готического собора, а теперь вся искалеченная, с прорехами от снарядов, с вывороченными корнями, с рывтинами, с надломленными верхушками, и в широкие просветы издали блестело гладкое, ровное озеро, такое же бледное, как лунный свет, такое же невозмутимое и мертвое, точно огромное серебряное зеркало, на которое дохнули.

Солдаты расходились, сворачивали в сторону — и силуэты пропадали за различными постройками без крыш, покосившимися, горбатыми, за стенами с уродливыми впадинами вместо окон.

Упорно глядя на озеро, Гиляров направился к нему, но услышал позади себя шаги: за ним следом шел подпоручик Разумный.

Когда комиссар остановился, подпоручик метнулся было в сторону, но вдруг обернулся к Гилярову и по-детски неестественным басом спросил:

— Можно мне с вами?

И, не дождавшись ответа, подошел совсем близко и сказал:

— Мне так нужно с вами поговорить.

И заячья губа его еще выше задралась кверху, точно он, как мальчишка, от волнения носом шмыгнул. Фуражка была у него в руках, шинель расстегнута, из бокового оттопырившегося кармана торчал сверток бумаги — сегодняшний протокол собрания, а может быть, и вчерашний, — и на одной штанине, повыше колена, наивно и убого лежала черная большая заплатка.

— Со мной? — переспросил Гиляров и передернул плечами: от озера тянуло холодом. — Хорошо. Вот... Скажите... Вы знаете капитана Снитникова?

— Знаю, — ответил подпоручик и надел фуражку, и сразу он стал старше на много лет.

— Он где лежит? В лазарете?

— Нет, в штабе.

— Вы можете меня проводить?

— К нему?

— Да, да, вам не трудно?

— Помилуйте, — чуть не крича, ответил подпоручик. — Я даже... так рад этому. — И, покраснев, заспешил.

II

Гиляров шел за подпоручиком, — и вбок уплывало озеро, будто таяло. Тополя расплывались, за поворотом чернела новая башня с рассеченной пополам главкой, а в треугольной комнате, где туго нависал сводчатый потолок и за бумажным крохотным экраном

оплывала свеча в позеленевшем от времени массивном подсвечнике, Гилярову навстречу приподнялась с подушки сплошь забинтованная голова. Глухой, но твердый голос спросил:

— Кто тут?

Под прямыми черными усами сверкнули плотные, плоские зубы, сильные, крепкие, как крепок был удар, от которого эти зубы, раз скрипнув, застыли в кривом оскале.

— Вам нельзя волноваться, — бережно уговаривал подпоручик и поправлял откиннутое одеяло.

— Я не волнуюсь, — кривился капитан Снитников. — Я только отвечаю, раз меня спрашивают. И, надеюсь, господин комиссар слушает меня не из праздного любопытства. Не так ли? И не для очередной статьи? В газете, в благонамеренном органе, на горячую тему о разладе между погонами со звездочками и погонами без всяких звезд... А, вы не пишете? Тем лучше. И я никогда не писал. Я только дело делал. Как и те, что тоже никогда не писали и тоже только делом занимались. Как вчера... за цейхгаузом. Тоже дело. Да-да, дело, дело. В этом-то все дело. Я острою неудачно, но это простительно. В пятом и шестом году мы не острили, и когда по очереди нас хватали и ссылали на каторгу...

— Я был там, — почти шепотом, с усилием проговорил Гиляров.

Белая голова взметнулась выше, и опять за изголовьем послышался голос подпоручика:

— Вам нельзя.

— В Алгачах? Нет? Где же? В Тобольской? Значит, вы знали Первухина, Кочегова? Господи, знали! И я туда чуть было не угодил, но нелегкая выручила. А те... ведь ни один из них не вернулся... Было их четверо. И вот мы могли с вами встретиться там, и там бы вместе молились: грянь, грянь, буря! А встретились тут. И вот я избит, а вы... Вы будете тоже избиты, будете, рано или поздно, но будете, будете. Там бы нас били тоже, но чужие. Ведь были тогда и свои, и чужие. И вот все свои очутились вместе. И вот свой подкарауливает — и кам-

нем, камнем раз, другой, третий. Подпоручик Шаповаленков на суде говорил: наступит час, когда нас, вами осужденных, вами ошельмованных, русский народ, русский солдат встретит радостно, любовно и вместе с нами пойдет... К цейхгаузу? Крадучись? Навалившись сзади?

Еще выше взметнулась белая голова.

Суетясь у изголовья, подпоручик Разумный молил:

— Ради бога...

— Оставьте! Шаповаленкова казнили, и он перед смертью крикнул: «Да здравствует революция!» Капитана Снитникова проклятая, трижды проклятая нелегкая уберегла от расстрела — и вчера ему крикнули: «Эх ты, сволочь!» Капитана Снитникова угнали в Оханск, и в Оханске, на берегу Камы, в лесочке твердил он солдатам: ничего, ничего — будет, будет светлое царство. Капитан Снитников при первой телеграмме из Питера выскочил из окопов и заорал восторженно: «Наша взяла, наша!» А вот вчера Шаповаленкова, Снитникова, тобольчан колошматили за цейхгаузом. Бедный Шаповаленков, бедный Снитников, бедные тобольчане, не пожелавшие помилования, — все с повязками и бинтами. Остановите все заводы — и пусть только выделывают бинты. Много их понадобится, много. Запасайтесь, спешите запастись. Ничего не надо, кроме бинтов. Торопитесь выделкой, торопитесь. И пошлите к дьяволу все газеты, все передовые и задовые, пинком опрокиньте все трибуны, разметаите по ветру все книжки, брошюрки, реляции и резолюции. Оставьте только одну резолюцию: желаем, чтоб все похерить. Оставьте одну резолюцию: у российского цейхгауза все по-прежнему; оставьте одну книжку: руководство для наложения повязок. О, о, черт!..

Клубок бинтов заметался по подушке, и между ним и Гиляровым тотчас же выросла напряженная фигурка подпоручика Разумного, и фигурка замахала руками.

Гиляров вышел из комнаты, спотыкаясь в коридоре об ящики, наугад побрел к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик и, наконец, добрал-

ся до крыльца, где некоторое время спустя подпоручик нашел его сидящим на верхней ступеньке.

Подпоручик молча присел рядом, и оба долго сидели — один слишком прямо, как будто его насильно держали в таком положении, другой согнувшись, маленькие, как у ребенка, посиневшие ладошки сжав коленками, оба не спуская глаз с озера, где раньше плавали черные лебеди и сильным крылом били по воде, где когда-то в ажурной беседке читали вслух Но валиса.

И слушали, как рядом, за освещенными окнами, стучали ножами, вилками, гремели тарелками: господа офицеры из штаба ужинали.

III

Молчание нарушил подпоручик; он продолжительное время ерзал на одном месте и, когда до боли натер ладони, робко заговорил:

— Мне можно завтра? Вместе с вами?

— К чему? — спросил Гиляров, не оборачиваясь, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в озеро.

— Да вот... — Подпоручик поглядел в небо — туда, где белесоватый круг замкнул луну, — и замигал ресницами. — Да я... Ведь я секретарь комитета... Меня солдаты... — И вдруг воскликнул жалобно: — Я не могу иначе. — И не то горестно, не то сконфуженно кинулся с крыльца, стуча громоздкими, не по ноге, сапогами.

— Пойдите! — негромко окликнул Гиляров.

Подпоручик остановился и ниже надвинул фуражку: длинный козырек почти уткнулся в нос.

— Пойдите. Хорошо, поедем вместе. Присядьте.

Подпоручик сел на нижнюю ступеньку, отвернулся, поднял воротник шинели, и комиссар увидел, что левое ухо его загнулось, как-то смешно, грустно и обиженно. Комиссар подался вперед, протянул руку, чтобы поправить, но тотчас же отнял ее, опять выпрямился и только спросил: — Вам тяжело?

— Ужасно, — быстро отозвался подпоручик.

— Уезжайте. Хотите, я это устрою. Только скажите, куда бы вы хотели.

— Куда? — и снова подпоручик глянул в небо и снова заморгал ресницами. — Все равно, — проговорил он как бы про себя. — Все равно. — И заячья губа его дрогнула.

— Везде?

— Везде, — сказал подпоручик.

— А вы верите, — Гиляров с трудом подбирая слова, — а вы верите, что еще будет хорошо? Что еще... сбудется?

Подпоручик стиснул руки под шинелью и ничего не ответил.

— Значит, все равно?

— Все равно, — ответил подпоручик и голову положил на перила.

IV

194 Часа два спустя, уже вызванный командующим армией к аппарату и поговорив с ним, Гиляров шел к генералу. По дороге попадались ему офицеры и безмолвно кланялись, в столовой два солдата подметали пол, и один из них, увидев комиссара, бросился к буфету за салфеткой и прибором, но Гиляров остановил его, заявил, что ужинать не будет. В комнатке перед кабинетом генерала, в золоченом облупленном кресле дремал вестовой, и кренился над ним потемневший портрет женщины в розовом, безглазой: вместо глаз — пульки. Не будя вестового, Гиляров постучал в дверь.

— Войди, — слышалось за дверью.

Гиляров толкнул дверь.

— Это не вестовой, — сказал он на пороге. — Это я.

Растерянно натягивая на себя одеяло, генерал непослушными ногами ловил туфли, не мог найти и присел на краешек постели; под тонкой шелковой фуфайкой блестел крестик, и на покрасневшей мигом шее забелел узенький след от цепочки.

— Я не знал, что вы уже в постели, — продолжал Гиляров, все еще стоя на пороге.

— Прошу, прошу, — бормотал генерал и теребил подбородок и приглаживал височки.

— Я на рассвете еду к солдатам. Я только что говорил с командиром, и я хотел вас предупредить. Я иду на все. Или они завтра к вечеру займут указанное место. Или я... Ну, и вот. Через час сюда направится Третий драгунский, одна батарея и казачья сотня. Утром будут здесь. Если угодно, вы можете сдать дивизию полковнику. И можете уехать в штаб армии. Так вот... остаетесь?

Генерал оставил височки и качнул головой; сползло одеяло, и под фуфайкой заколыхался выпуклый толстый живот.

Гиляров отвел глаза.

— Так вот, я еду. До свидания. А письмо ваше...

Генерал зашаркал ногами, снова стал искать туфли.

— Письмо ваше... мне понятно. Всего хорошего.

— Господин комиссар... — тихо, но внятно позвал генерал. — Если вам не трудно... на полчаса...

Гиляров отпустил ручку двери, беглым взглядом поймал неуверенную, надломленную улыбку генерала и, на ходу сбрасывая шинель, подошел к кровати: «Векфильдский священник... Все равно».

V

И до рассвета горела лампа в генеральском кабинете, где над кроватью висел гобелен «Похищение Прозерпины» и где по столу с картой обоих полушарий торопливо, по-осеннему шмыгали тараканы, невозмутимо переходя из Европы в Азию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Чуть свет выехали втроем, верхами; присоединился и председатель дивизионного комитета. А фельдшер провожал и на прощание скороговоркой, но внуши-

тельно давал председателю последние наставления, на ухо, встав на цыпочки; скособочившаяся голова председателя никла к лошадиной гриве и кивала послушно.

Первым на очереди был Старорусский полк, самый надежный.

У избы с погорелой крышей, где заседал полковой комитет, солдаты собирались вяло, по два, по три человека, обмахивались, когда комитетчики поторапливали, на ходу в липняке ломали ветки, но тут же, поиграв прутьями, бросали их, лениво переругивались, нехотя перекликались. Стоя у окна, следя за ними, Гиляров видел перед собой скучающую толпу, не знающую, что ей делать: улюлюкать ли проезжающей мимо бабе в рваной австрийской куртке, или колотить рябого плосколицего солдатика с сережкой, который приставал ко всем, заламывал шапку, притопывал ногами и кукурекал по-шутовскому. За его спиной подпоручик Разумный, уже застегнутый на все пуговицы и потому сосредоточенный, шептал:

— Не будут слушать. Вы одно только слово скажете, как они уйдут. Так было на прошлой неделе, когда мы умоляли взяться за постройку землянок. Повернулись и ушли.

Зобастый председатель, загнав комитетчиков в угол, что-то хрипел им, и раздавалось там то и дело: «Революция, значит... значит, порядок надобен...» Безостановочно хлопала дверь, шинель напирала на шинель, в подслеповатое оконце заглядывали узкие, толстые, вздернутые носы, недовольный голос тянул: «Санька, где ты?» — у крыльца пофыркивали лошади, и солдат-татарин, заткнув полы за веревочный пояс, совал лошадям мокрое сено и уговаривал ласково: «Кускай. Кускай».

И этот же татарин прямо глядел в рот Гилярову, когда тот с табуретки говорил солдатам, и он же радостно пискнул: «Иса, ца-ца», когда кривоногий ефрейтор с багровым родимым пятном во всю щеку крикнул комиссару:

— А зачем вы всякую сволочь в министерствах держите? Не хотим таких. Кого в Париж посулом отправили? Капиталиста. Такой все посулит. Пусть вертается — тогда и говорить будем. Не пойдем!

Весело захлебывался жизнерадостный татарчонок: «Ай-ай, министра, ай-ай», добродушно, как только что упрашивал лошадей «кускать», — единственный сельчак, вертевшийся во все стороны, точно недавно оперившийся воробей среди серых и голодных галок.

II

И снова лошади понуро шлепали по лужам. Снова у Гилярова из-под ног убегали стремяна, и снова придвинулась новая «комитетская» изба, но с тем же запахом ржаного хлеба и махорки. И опять кто-то звал недовольно: «Гришка, где ты?» — и опять солдаты тащили табуретку, а вокруг нее смыкались кольцом такие же, как в Старорусском полку, сухо замкнутые глаза.

И снова самому себе слова казались никчемными, и снова и снова тянулись поля, взрыленные снарядами, придавленные пушечными колесами, обмытые кровью, человеческой кровью, которую временно лишь смыли дожди, но которая вновь и вновь польется по ухабам, по колеям, по межам и на многие годы напоит землю — землю людскую, землю божью, землю ничью и всех.

А перед вечером Гиляров в аппаратной дивизии диктовал в полковые штабы о немедленном распространении по полкам его приказа о том, чтоб под угрозой военной силы полки складывали оружие и выдавали зачинщиков, и что если к семи часам утра не последует сообщения об исполнении, дивизия будет окружена и обстреляна.

К вечеру в штабе все притихло, как на мельнице, где вода уже не бьет через плотину и где замерли жернова в белой пыли от последних размолотых зерен. В столовой стыл суп, и тщательно свернутые салфетки лежали около пустых приборов; в задних комнатках маленькими

группками сходились офицеры, а собравшись, подолгу молчали и только курили беспрерывно. Поджарый подполковник фон Гутлебен не рассказывал анекдотов из армянской жизни, на кухне прислуга глушила самовары, и самовары, понатужившись, замурлыкали огорченно, — и только не переставая гудели полевые телефоны.

А в это время Третий драгунский обходил справа полки, а казачья сотня слева отрезала лес и проезжую дорогу к соседней дивизии.

Батарея не двигалась: артиллерийские представители вели за гумнами переговоры с комиссаром, и председатель их в разговоре нервничал и фуражкой крутил в воздухе.

III

— Это торг? — спрашивал Гиляров и отстранялся от фуражки, которая все теснее наступала. — Я не намерен торговаться. Коротко: да или нет?

— Мы же вам говорим, — надрывался артиллерист, — что так нельзя.

— А как же?

— По домам, — вставил другой артиллерист, пожилой, с сектантским ртом, и чуть раздвинул губы, не то в усмешке, не то в улыбке. — По-божьему, как птицы.

— Зачем же вы сразу не отказались? — обернулся к нему Гиляров. — Для чего же вы сюда явились?

198

— Приказали выступить. Вот что. Дурачье приказало — дурачье пошло, — крикнул председатель.

— Вы ведь знали, для какой цели, — стараясь говорить спокойно, ответил Гиляров.

— Ну и знали! — дернулся председатель. — Что ж из этого? Там узнали, а здесь и знать не хотим.

— Ты постой, постой, — внушительно отстранил его пожилой и шагнул к Гилярову. — Вот что, товарищ. Знайки бывают разные. У вас одна знайка, у нас другая. Вчерась палили — нынче нет охоты. Сегодня пришли, — глянешь утром — нету. Значит, товарищ, ни при чем, что пришли. Пришли, да ушли. На то и люди, а не ка-

кая-нибудь животная. И у пушек своя знайка, по кому стрелять и по-каковски стрелять.

— Какая же сегодня знайка у ваших пушек?

Пожилой артиллерист на этот раз уже усмехнулся открыто:

— Верная, без ошибки.

— И правду знают?

— Увидите, — злобным криком сорвался председатель.

— Ну ты, ну ты, — остановил его пожилой и пошел за Гиляровым, проводить его, а на повороте, когда попрощался и сказал: «Спасибо, я найду дорогу», вдруг вежливо, не по-солдатски приподнял фуражку и спросил:

— А позволено будет у вас узнать, вы не из священнической семьи будете? А то есть такое хорошее церковное заявление.

— Какое, говорите. Я пойму.

— Да вот такое... — протянул пожилой и как будто застыдился, опустил ресницы, но внятно и важно произнес: — Никем же не мучимы, сам ся мучаху.

— Что? Что?

Пожилой вскинул глаза и, уже не отводя, в упор посмотрел на комиссара и серьезно и проникновенно повторил:

— Сам ся... Сам ся... Вот понапрасну.

Покатая спина пожилого давно уже пропала за гумнами, а Гиляров все еще стоял на тропинке и не чувствовал, как дождь накрапывает, как ветер подхлестывает и лезет, острый, за воротник.

В сумерках одна за другой потянулись пушки; гремели передки, подскакивали прикрытые брезентом дула, и никто не знал, куда они тянутся: дорога была одна и та же и к полкам, и к штабу корпуса, только за пригорком раздваивалась.

Полевые телефоны работали: «К мызе Больше один эскадрон... За Шонфильдом к северу...» Кружился стальной карандаш прямого провода и требовал к себе комиссара экстренно, срочно, но комиссара не было; искали его долго, пока не нашли у капитана Снитникова, а когда пришли за ним, капитан, приподнявшись, жаркой рукой цеплялся за Гилярова и говорил:

— Милый вы мой... Не надо пить до дна. Не надо, голубчик. Ни к чему. Последний глоток будет такой же черный и хмельной, как и первый. Бежать надо. К черту чашу. Да минует она... Не надо, голубчик, не надо.

— Сам ся мучаху? — с горечью спросил Гиляров и, пощадив горячие пальцы капитана, заторопился к двери, точно убежать хотел (от кого, от кого?) или сам спешил (к кому, к кому?), волнуясь встречей новой и неожиданной.

IV

К десяти часам вечера позвонили из Мухтанского полка: комитет вызывал комиссара для личных переговоров, соглашался сдаться, но предварительно желал повидаться с комиссаром.

Подали крытую санитарку.

На дышле покачивался фонарь, подпоручик Разумный стягивал пояс и умолял взять его снова с собой. На крыльце стоял генерал и смотрел на отъезжающих. На его ярко вычищенные сапоги падал отсвет из окна, и та щека генерала, которая была к свету, рдела и наливалась густым лихорадочным румянцем.

Подпоручик дорогой молчал, только все старался разглядеть в темноте лицо комиссара, но не мог. Ав душной избе, где, откашливаясь, жались друг к другу солдаты и при крохотном огарке под низким потолком маленькие казались большими, а большие гигантами, где старуха латышка в печи шарила кочергой и что-то шамкала босоногой девчонке, подпоручик думал о том, что все страшно: страшно с этими и страшно без них, страшно жить и страшно умирать, и что нет ни исхода, ни выхода, что не часы проходят, а годы и что всегда, всегда будут сумерки в мокром поле и бескрайние поля в ночных шорохах. Когда кончилось тягостное совещание и, не прощаясь, солдаты разбрелись, когда на обратном пути, в лесу, вдруг со всех сторон на санитарку посыпались камни, забарабанив по крыше, по бокам, и понесли лошади, и вдогонку раздался один выстрел,

другой, третий, и мгновенная вспышка выхватила из темени несколько корявых стволов, кучу валежника и лоснящийся лошадиный круп, и запрыгала будка на колесах, точно лодка у водоворота, — подпоручик, сползая со скамьи на дно санитарки, закричал пронзительно:

— За что? За что?

Гиляров как сидел в углу, так и не пошевелившись, но когда во все стороны завертелась будка, он встал, расставил ноги и затылком уперся в навес, как упирается человек, застигнутый в горах оползнем: упирается, стискивает зубы и молчит, потому что тогда равнодушны одинаково и бог наверху, и люди на земле.

Замелькали огни усадьбы, Гиляров по полу шарил руками.

— Подпоручик Разумный... Мы приехали... Подпоручик Разумный...

— Я не разумный, не разумный, не разумный, — твердил подпоручик. — Я не знаю, кто я... — И копошился под скамьей.

V

До зари Гиляров сидел в аппаратной.

«Ду-ду-ду» гудели маленькие ящики, и телефонист в сердцах швырялся трубками. Над озером низко плыло большое черное облако, похожее на лебедя, и ширились его крылья — вот-вот ударят по воде.

В семь с четвертью сообщили, что Мухтанский начал сдавать оружие, а к десяти часам прошумел неугомонный дудец, что зачинщики Старорусского полка уже в районе Третьего драгунского.

Гиляров встал и попросил подать ему лошадь; согнувшись, теряя стремяна, он медленно отъехал от крыльца.

В окне, чуть отдернув гардину, в одном белье, стоял генерал и тяжело дышал; золотой крестик выбился наружу и зашуршал по шелковой фуфайке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Покорный приказаниям центра, салон-вагон № 23 перерезывал всю страну вдоль и поперек.

С севера неся к западу, с востока уносился на юг. И на востоке барышня из Клина барабанила на машинке точно так же, как и на западе, и на севере с той же аккуратностью, как и на юге, ставила номера исходящих бумаг. Со всех четырех сторон России летели по почте, по проволоке донесения Гилярова, то короткие, как условный пароль, то пространные; но и лаконические без лишнего слова и многословные с длиннейшими мотивировками — они говорили об одном.

И верстах в ста от Петрограда, и на расстоянии пятисот, тысячи верст они твердили одно и то же, и как похожи друг на друга дробинки одного заряда, так похоже было двадцатое донесение на сотое и сотое на трехсотое — об умолкнувших фабриках, о боевых генералах, уличенных в неверности республиканским идеям, о полках, отказывающихся воевать, о рабочих, прекративших работу на пушечных заводах, о беженцах, умирающих с голоду в богатом крае, о дезертирах, угоняющих паровозы от состава с амуницией, об офицерах, обвиненных в измене социализму, о резолюциях, принятых в окопах, о начальниках городской милиции, провозглашающих самостоятельные республики, о митингах над брустверами, о городских думах, выносящих свое неодобрение иностранной политике.

II

Летели, сыпались донесения, без усталости танцевали клавиши ремингтона, росла и увеличивалась груда копий, а рядом с ней другая — из указаний, распоряжений и циркуляров центра. И между копиями своих бумаг и оригиналами петроградских предписаний все ниже и ниже

гнулся Гиляров, словно сдавленный двумя яростными, мчащимися в противоположные стороны волнами.

И все чаще и чаще зеркальное трюмо отражало по ночам, рядом с ремингтоном, мирно спящим в своей жестяной коробке, маленькую настольную лампочку с картонным козырьком, лист бумаги и над листом осунувшееся лицо комиссара Временного правительства. И лицо это откидывалось назад к спинке стула, тяжело, напряженно, как будто кто-то, угрожая снизу, подносил к подбородку увесистый кулак, то вновь наклонялось к столу.

И не раз видело трюмо, как беспорядочно топтался карандаш на одном месте, как летел в корзинку скомканный в бессильной ярости лист бумаги с незаконченной фразой, как тоскливо, уныло сплетались пальцы, обхватывая то пылающий, то холодеющий лоб, и как беспомощно, с какой-то детской пытливостью, где слиты страх и надежда, останавливались глаза на темных провалах окон, за которыми расстилалась ночь, Россия и вечные судьбы той и другой с нерукотворными предначертаниями.

А по утрам барышня из Клина, машинистка с позитивным мировоззрением, нередко находила на столе листок, исчерченный зигзагами, завитушками, крестиками, квадратами и покрытый странными отдельными словами, из которых некоторые повторялись неоднократно, иногда одно за другим следом.

Приподняв иронически брови-ниточки, машинистка читала:

«Русь... Россия... Запад... Дон-Кихот... Центральный комитет... Так... Так... Так... Во имя... Во имя... Дон-Кихот... Выход... Исход... Выход... Конец... Конец... Казнь... Революция... Кнут... Революция... Резолюция... De profundis... Казнь... Конец... Сам... Сам... Будет... Будет... Русь... Рассея... Russie... Русь...»

Точно так же она пренебрежительно ухмыльнулась, как взрослый при детской глупой болтовне, когда случайно подслушала часть разговора между Гиляровым и неизвестным ей по имени генералом.

Было это в первых числах октября, в Карее, откуда

потом Гиляров и генерал уехали вместе на автомобиле в Эрзерум. Сперва они долго беседовали, запершись в салоне, и до машинистки, которую попросили уйти, только глухо долетал голос генерала, и только он один все время говорил, а потом они из салона направились в коридор, и машинистка юркнула в ближайшее купе.

Резко прозвучал басок генерала:

— Это мое глубочайшее убеждение. Иначе нельзя. Иначе крышка. Кто боится — пусть уходит.

И тихо ответил Гиляров:

— Я не боюсь, но я уйду. Вернусь и пошлю телеграмму. Но не изменится...

— Увидим, — перебил генерал. — Еще не поздно.

И еще тише сказал Гиляров, почти шепотом:

— Не знаю... Возможно. Я... ничего не знаю, я... все перестал понимать. Я... Я... с ума схожу. Вот... сейчас. — И, не dokonчив, комиссар ушел в вагон; уходя, покачивался, хотя вагон крепко и неподвижно стоял на железном пути.

Генерал, звеня шпорами, направился к выходу.

Лавируя между рельсами, подкатил автомобиль, шофер распахнул дверцы, проревела сирена, вскоре еще раз. Генерал сидел в автомобиле и ждал комиссара; изпод низко надвинутой папахи зорко глядели холодные, бесцветные и круглые, как у хищной птицы, глаза.

Долго, долго не являлся комиссар, а когда на ступеньках вагона показались его ссутуленные плечи, с наброшенной поверх длинной кавалерийской шинелью без петлиц и погон, генерал еще более округлил глаза — и сразу они стали непроницаемыми.

Путаясь в шинели, Гиляров занес ногу на подножку; посторонившись, генерал сел глубже и вдруг улыбнулся: выгнув ладонь, Гиляров подносил руку к голове, отдавая честь, скрючив пальцы лодочкой.

III

А дней через восемь, когда Гиляров вернулся из поездки по фронту, уже один, вялый, как осенний лист под

забором, с просинью вокруг век, снова всю ночь отсвечивалась в трюмо электрическая лампочка с зеленым козырьком.

И снова поутру машинистка нашла на столе бланк, испещренный ромбами, георгиевскими крестами, цифрами, контурами каких-то лиц, голов и словами, будто бы бессмысленными на первый, посторонний взгляд, но так значительно-жуткими — словами, которые попадают на бумагу в те страшные минуты, когда мысли бьются, словно ночные бабочки вокруг огня, и когда бедное человеческое сердце не в силах ни принять их, ни уничтожить.

И она же, внешне спокойно, но внутри стораая от любопытства и изумления, немного позже выстукивала на машинке заявление Гилярова о невозможности продолжать свою работу и просьбу прислать заместителя, ввиду того, что «веления моей совести не совпадают со взглядами и указаниями правомочных органов революционной власти, а посему...»

В этот раз машинистка уже писала не под диктовку, как обычно, а с черновика, и черновик был перемаран весь, и одни и те же фразы то зачеркивались, то восстанавливались, и буквы лежали криво, иные выпадали, оказывались внизу, точно быстро, быстро катились под гору.

Адрес Гиляров написал собственноручно, но долго сидел над конвертом; перед ним стыл чай, и Панасюк стоял за креслом; солнце заходило, вперегонки с поездом бежали вечерние тени: кто кого обгонит; машинистка шелестела бумагой. А в конце вагона, на нижней ступеньке площадки сидел старший проводник Се-
стриюков и тихонько, чтобы комиссар не услышал, играл на губной гармонии и тянул с короткими придыханиями одну длинную-предлинную мелодию, тоскливую, без изменений в начале, в конце, в середине.

И все-таки до Гилярова долетело.

— Кто это играет? — спросил он Панасюка.

Тот объяснил. Гиляров встал и с конвертом в руках направился к выходу. Машинистка, подождав немного,

метнулась за ним, осторожно подошла к выходной двери, за которой после короткого перерыва снова жалобно заняла губная гармошка, воровски потянула дверь к себе и глянула в широкую щель: Сестрюков играл, а рядом с ним, так же свесив ноги на ступеньки, сидел комиссар и слушал. Как Сестрюков, покачивал в такт головой и размеренно рвал на клочки конверт, и оба — тот, кто играл, и тот, кто прислушивался, — одним и тем же взглядом следили, как ползут облака по верхушкам гор, как уносятся вдаль дрофы и как рдеют крутые склоны, покрываясь багряными отсветами — последними, осенними, усталыми.

IV

Перед ужином Гиляров подал машинистке новый черновик и было там сказано коротко: «Прошу назначить заместителя, отказываюсь ввиду тяжелой болезни».

Машинистка не удержалась и ахнула. Гиляров услышал и подошел к ней.

— Это правда, — сказал он, — я очень болен. — И посмотрев на нее невидящими глазами, поверх ее лица, помолчав, добавил: — Я давно уже болен, но я не знал.

Телеграмма Гилярова в пути разошлась с пространной телеграммой — приказом из Петрограда о немедленном отправлении на Юго-Западный фронт, ввиду критического положения Н-ской армии, и вместо того, чтобы ждать в Тифлисе приезда нового комиссара, как это было решено Гиляровым, вагон двинулся на Ростов.

Скомкав телеграмму, Гиляров пошел к коменданту переговорить о прицепе вагона.

Шел, спотыкался о рельсы, путался, в темноте натыкался на чужие вагоны.

Дождило, смутно маячили скупые, припавшие вплотную к земле одинокие огни сигнальных знаков, мычали быки, запертые в теплушках, по ногам била мокрая шинель, сумрачно выползали из тьмы пакгаузы, будки, холодом обдавал кривой дождь — и такой же хо-

лод и сумрак были в душе Гилярова, и такая же темнота обволакивала сбившиеся, спутанные мысли о том, что и впереди один и тот же путь: склизкий, бесприютный и бесконечный.

V

В дороге между Минеральными водами и Дербентом вагон завяз на маленькой станции: началось восстание таинственных, неведомых Гилярову абреков. Полыхало оно в глубине края, но один из отрядов, случайно подошедший к железнодорожной линии, на всякий случай взорвал ближайший мостик.

Сотни пассажиров забили крохотную станцию доверху; потом, пока успели предупредить, подошел еще один тифлисский поезд, за ним — следующий.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Между двумя холмами, — одним невысоким, узловатым, похожим на перевернутый дуб, и другим — кругобедрым, голым — шумно, крикливо, сумбурно, то на минуту затихая, то снова с утроенной силой разгораясь, зажила внезапно потревоженная станция.

Ушла, исчезла бледно-желтая тишь опадающих листьев, деревянная платформа загудела под ударами бесчисленных ног, как некогда в лесу гудели под ветром молодые сосны, из которых она была сделана. Замелькали мундиры, мохнатые бурки, черкески, красные башлыки, пальто, шляпы, котелки и бараньи остроколенные шапки. Зазвенели шпоры, выгнутые шашки, зазвучали грубые, нежные, хриплые, сердитые, взволнованные, веселые, пришамкивающие, старческие, детские и девичьи голоса, и друг дружке в затылок, точно при перекличке, стали вагоны, в последний раз лязгнув буферами и проскрипев колесами.

К концу с надписью «Телеграф» ринулись десятки людей, другие десятки — к начальнику станции, но вскоре те и другие вернулись: стало известно, что раньше четырех-пяти дней нечего и думать о дальнейшей поездке.

Минут через десять в буфете уже все было съедено и выпито: толпа вплотную облепила столы и, как саранча, поднявшись, оставила место пусто и голо; по тропинкам к соседним уровням потянулись чающие хлеба.

Вечером за водокачкой пели солдаты; сперва о богатых, жадно пьющих кровь, а потом задушевно, грустно о тумане, павшем на море, и чей-то тонкий-тонкий голос волнующе спрашивал:

Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман!..

Кое-где в вагонах играли в карты, по платформе разгуливали парочки, но везде — и за картами, и между песнями, и после старых слов о страсти, о прекрасных женских ручках и о том, как отрадно знать, что ты не один, даже в чужих горах, — говорили о дороговизне, о буржуазии, о том, кому из руководителей можно верить, кому нельзя, о социализме, о необходимости переустройства всего мира, о рабстве, о том, что партийные вожди подкуплены немцами, о смертной казни, о капиталистах, губящих революцию, о разгромленных имениях, о рабочих, предающих родину, о голодающих мужиках, о жалованьи.

И тот, кто одних ругал, а других хвалил, и тот, кто обвинял и первых и вторых, и тот, кто никого не одобрял, — все, и робкие, и храбрые, и обойденные, и неудачники, невысказанными словами мечтали о тишине и покое, и каждый думал о себе, что он больше всех устал, что больше всех пострадал за Россию, за человечество и мир, и скорее, чем кто бы то ни было, вправе отдохнуть, успокоиться. И каждый не верил другому, и каждый каждого ловил на себялюбии и упрекал в отсутствии любви к стране, но всем было одинаково жутко,

все одинаково тревожно переживали свои часы. И, как бывает часто, меньше всего думали о том, что тут за спиной, — о восставших абреках, — и не это страшило, и не взорванный мост пугал, а то, что дома по-прежнему не будет ни тишины, ни отдыха.

Еще кто-то смеялся, еще кто-то шутил, кто-то любовался поздними осенними переливками по холмам и чувствовал всю нежную тихую печаль дальних очертаний гор в золотисто-пепельной дымке, еще кто-то говорил о Боге, о любви неумирающей, еще были губы, отвергавшие хулу и проклятия, — но, словно самая крошечная капля, они, одиночки, не ведающие, как пленительны они в своем одиночестве, терялись и пропадали в одной огромной человеческой волне горя, злобы, страдания, корысти, исступления, ненависти, зависти, жадности, скупоности и жути.

II

На третий день соседняя станция по ту сторону моста — ближе к Дербенту, к России — перестала отвечать.

А к вечеру 15 октября из Минеральных Вод сообщили, что в Петрограде восстание, что вся Москва в огне, что убиты члены правительства, и несколько немецких конных корпусов, клином врезавшись в Северный фронт, захватив Валки, Псков и Юрьев, спешно двигаются на Петроград.

Сотни фигур заматались по вагонам, по перрону, по насыпи, по рельсам. Стемнело — и они разбрелись по своим местам и притихли, но света не зажигали. И уже слышались предостерегающие голоса: «Тише, тише!» — и уже бормотали: «Дожили... Дожили...» — и беспокойно советовали офицерам снять на время погоны.

В окнах первого класса женские руки торопливо задергивали занавески. Все чаще и чаще боязливо раздавалось: «Кто тут?» — и чиркала спичка, выхватывая из темени то клок волос, то часть лба, то беглый взмах испуганных ресниц; осторожно шаркали ноги, и, когда кто-нибудь поднимался, чтобы выйти из вагона, ему

бросали тревожно: «Куда вы? Куда вы?» — и вставший покорно, не раздумывая, садился вновь, и вскоре уже сам окликал других вздрагивающим голосом. И все думали только о том, почему тихо за водокачкой, где обычно собирались солдаты, почему песен не слышать об атамане, что-то задумавшем, о штыках, привинченных к ружьям, и почему не горит костер, на котором они всегда варили себе похлебку. Сидящие у окон старались в окна не глядеть, но, не удержавшись, отгибали край шторы и, откинувшись назад, издали пытались разглядеть. Но и на платформе было глухо, пустынно и темно, только светилось окно телеграфа. Там два генерала, оба седые, оба высокие, сидели по бокам стола и молча смотрели, как разматывается под колесом бумажный моток, как ползут, словно трудолюбивая муравьиная рать, черные точки-тире. Нагибались, прочитывали, поглядывали друг на друга, — один бровями шевелил, другой покусывал кончики усов, — и снова, не проронив ни слова, выпрямлялись.

III

Гиляров лежал у себя в купе и дремал.

Когда машинистка постучалась к нему, он сперва не отозвался, поморщился и промолчал, но машинистка стучала настойчиво, и Гилярову пришлось встать, отбросить задвижку.

210

И снова барышня из Клина изумилась, и снова поразил ее Гиляров, но уже так, что она не скоро пришла в себя — и как подшибленная убралась из купе, где Гиляров в ответ на то, что она ему передала, в ответ на невероятнейшее сообщение, после которого, убежденно думала барышня из Клина, Гиляров должен был бы содрогнуться, закричать, или принять, как это бывает, как об этом пишут в книгах о Великой французской революции, какое-то немедленное, исключительное решение, или, наконец, застонать, — сказал лишь одно, и сказал спокойно, даже равнодушно: «Вот как», и опять лег, попросив только дверь прикрыть.

Покинув купе, машинистка тут же в коридоре заплакалась. Была она хроменькой, припадала на левую ногу; в Петрограде на собраниях она постоянно заявляла, что «нам нужны две революции: политическая и социальная». Говоря, не могла усидеть на месте, расхаживала, и тогда при слове «политическая» левое плечо медленно опускалось вниз, а при слове «социальная» оно стремительно и победоносно летело вверх.

А сейчас оба плеча ходуном заходили.

И долго и горько плакала барышня из Клина, и сама точно не знала почему: потому ли, что обманули ее Арну и Блос, потому ли, что в коридоре было так холодно и так одиноко.

Ночью прогремел выстрел, откликнулся другой, и машинистка, присев на койке, подумала с ужасом: «Началось», как с тем же ужасом вскочили и в других вагонах, как одна и та же дрожь охватила всех — полусонных и сонных, дремлющих и бодрствующих, — и впотьмах беспомощно забилась маленькая человеческая мысль о том, что все рушится, что смерть идет, и почему, боже, я, умный, хороший, должен погибнуть.

Не спал и Гиляров.

При первом выстреле он подошел к окну, потянул вниз раму, — и повеяло ночной свежестью, и были в ней умиротворяющая чистота и сладкая благодать, как от прикосновения родимых рук в час безнадежной болезни.

И не потому ли и выстрелы, и заматавшиеся по платформе одиночные силуэты показались столь незначительными, столь несущественными, как круги от внезапно брошенного камня на безупречно ясной поверхности мудрой водной глади, знающей, что никакими камнями не замутишь сокровенной глубины?

IV

Уже давно отзвучали случайные выстрелы, и уже попрятались по своим укромным уголкам на миг ошарашенные — на миг, чтобы снова при любом шорохе сорваться, а Гиляров все стоял у окна. И так же ровно,

как ровно за холмами возникал рассвет, неторопливый, как молитва, и, как молитва, успокаивающий, думал о том, что не смерть страшна, а путь пройденный, путь в самом начале неверный, путь уже неисправимый, где не те вехи ставились, не те зарубки заносились, где уже поздно, поздно равнять выбоины, метить новые заметы, и что смерть будет незаслуженным даром нерадивому, и что надо встретить и принять ее просто и тихо.

Путру новая телеграмма из Минеральных вод сообщила о вздорности вчерашнего известия.

Опять загудела платформа, и снова по тропинкам змейками зашевелились ходоки за молоком, за хлебом, голодные, но повеселевшие. И машинистка на радостях напудрилась — очень она пожелтела за ночь — и за чаем усиленно-звонким голосом спросила Гилярова, как ему спалось, и добавила при этом, что она спала восхитительно, точь-в-точь как малюсенькая девочка, как будто под крылышком у няни, а не в дни революции, когда...

Еще немного — и вскинулось бы левое плечо, утверждая строго и неуклонно, что нам нужны две революции, но комиссар рассеянно поглядывал в окно и жевал губами, точно старик после ночных ревматических припадков.

И не знала машинистка, что нет уже для него ни настоящего, ни будущего, а только одно недавнее прошлое, в котором он раз навсегда и безоговорочно прочел для себя: «И ты, и ты виновен», и ждет после приговора нужного и должного наказания, ждет безропотно и покорно.

212

День разворачивался солнечный, совсем не осеннему молодой. В салоне в чехарду играли зайчики, в зеркальном трюмо, как в пруду от раки, опрокинулись узорные тени привокзальных каштанов, и поблизости женский голос негромко, но затаенно ликуя пел:

Прощай, хозяин дорогой,
И я пойду вслед за водой,
Да-ле-ко... Да-ле-ко...

Не докончив завтрака, Гиляров вышел на площадку — с той стороны, где песня казалась ближе. Комиссар

любил пение, и когда-то — это было несколько лет тому назад — он в Италии, в Сан-Ремо, услышав уличную певицу, потом весь день ходил за ней по пятам, от одного отеля к другому, и только сумерки помешали, а то бы шел за нею без конца, безотчетно, как, купаясь в море, безотчетно тянешься за белыми гребнями. А вот в эту минуту, быть может, дальше своего вагона и не двинулся бы, как бы ни манил к себе завлекающий голос, но ближе к пению все же хотелось быть. Ближе — и подальше, хотя бы на миг, от окончательной и бесповоротной мысли о тусклом и беспросветном завершении своего круга: ведь и самоубийцы невольно рады ничтожной временной помехе, когда то мышшь заскребется у ног и отвлечет внимание, то сосед за стеной затянет песню о счастливом коробейнике.

Но, открыв дверь к ступенькам, он на нижней увидел перед собой женщину в белом, и огромная шляпа с широкими полями, с горстью васильков сбоку очутилась у него как раз под подбородком, заслонив лицо пришедшей.

— Чей это вагон? — спрашивала женщина. — Ради бога, чей это вагон? — И поднялись васильки, и под ними показались белокурые волосы, глаза взволнованные, узкие, но большие до странности, и в вырезе платья худенькая, по-девичьи поставленная шея. Но и васильки, и волосы, и глаза одинаково были поблекшие, точно долго-долго над ними носилась пыль. Только назойливо выделялись слишком ярко-красные губы.

— Мой, — ответил Гиляров.

Губы дрогнули и сразу стали такими детскими, такими неуверенными, даже помада тут же улетучилась.

— Ваш? — И замерли растерянно бедные, дохленькие васильки.

V

Когда Гиляров взялся за перила, васильки опять встрепенулись, точно набрались храбрости.

— Ради бога... на одну минуту... Можно, можно войти?

Гиляров посторонился.

— Пожалуйста. Дверь справа.

— Я знаю. Я знаю, — нетерпеливо отозвалась пришедшая и побежала к коридору, но вдруг комиссар услышал ее громкий крик. Обернувшись, Гиляров увидел, что она, в дверях столкнувшись со старшим проводником Сестрюковым, ловит его за плечи и тянет к себе:

— Сестрюков, милый... Господи, и ты тут?.. Не узнаешь, — не узнаешь меня? Милый, не узнаешь?

Сестрюков, оторопев, уронил ведро с углем. Женщина плакала; качались запыленные мертвые васильки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Без шляпы, без жакета, в беленькой, с простенькими прошивками блузке, а рукава, как у гимназистки, кончались манжетками, она на ученицу, так класса шестого или седьмого, и была похожа. Полуплача, полусмеясь, она перебежала от окна к окну и в шифоньерках выдвигала ящички, и непонятным казалось, почему косы лежат коронкой поверху, а не извиваются по спине. Жадно она никла к ящичкам, словно искала в них сласти, как дома, после надоевшего дня в гимназии, после «а-в-с» и династии Меровингов, в старом оливковом буфете разыскиваешь, чем бы полакомиться, и боишься, как бы бабушка или старая тетка не застала на месте преступления.

И как порозовели кончики ушей, когда в одном из ящичков она нашла круглый беззубый гребень.

— Мой, мой гребешок. Уцелел. Посмотрите. — И она показывала Гилярову и через плечо кричала Сестрюкову: — Погляди... Сестрюков... Я его узнаю. Мне казалось, что я его в Харькове на вокзале потеряла. Помнишь, Сестрюков, — это когда мы в Харькове бежали с тобой в буфет за пирожными, а ты меня торопил: «Барышня,

опоздаем». Помнишь, ты тогда меня на руки схватил. Я барахталась... Кричала, что я уже большая. А ты мчался сломя голову и налетел на какого-то офицера. Помнишь? Помнишь?

Сестрюков мотал головой и все еще не мог прийти в себя, все еще не верил, что перед ним генерал-губернаторская внучка, барышня Тоничка, за которой ежегодно в Питер отправлялся вагон, а старый генерал-губернатор в шелковом расписном халате каждый раз накануне поездки призывал к себе проводников, подносил им по стакану добротного сиябчашмы и по золотому в придачу и просил внучку беречь, чтобы, упаси боже, под колеса не угодила.

— А Прохор где? Ты, может быть, знаешь? Где он теперь? А ты помнишь его?

— Как же, — откашливаясь, говорил Сестрюков. — Как изволили представиться его высоко...

Сестрюков осторожно поглядел сбоку на комиссара, который стоял сгорбившись неподалеку от трюма, и, малость запнувшись, продолжал:

— Как скончались ваш дедушка покойный, то и Прохор вскоре помер.

— Умер? — Она бросила гребенку и тут же над выдвинутым ящиком заплакала и сквозь слезы говорила Гилярову: — Простите... Но я не могу. Я его так любила. Он мне и сказки рассказывал, и спать укладывал. И он же мне говорил, что быть мне несчастной, если мало молиться буду. А я много молилась. И все же... Он как няня был. А этот вагон. Вы не поверите, но я каждое утро тихонько целовала его. Вот здесь, видите, вот слева от дивана. Раз навсегда отвела место. Точно на лице, где есть любимое место. Все лицо любишь, а все же есть уголок милее всего. Когда я сегодня увидела его — я сразу узнала. У меня сердце остановилось. Мой голубенький вагон. Я и ступеньки узнала, и окна, и крышу. Побоялась поверить, даже отошла. Но тут увидела номер и бросилась к нему. Другие так на вокзале встречаются с людьми близкими. Вот едешь — и вдруг такая неожиданная, такая чудесная встреча. А я встретила с ним... Я совсем

одна, никого у меня нет. Ну, да ладно. А тут вот, левее... Тут я однажды написала стихи. Я была очень глупенькой и стихи сочиняла. Теперь я не сочиняю, но поумнела ли — не знаю. Вот тут. У меня был маленький перламутровый ножичек, и я вырезала. Вот тут я целое утро...

Она отвела в сторону гардину крайнего окна, нагнулась и тотчас же откинулась назад:

— Все сохранилось. Господи! Как это чудесно и как это больно! Миленький, миленький, — тянула она Гилярова за рукав, — посмотрите, все сохранилось. Прочтите мне, прочтите. Я сама не в силах.

II

Зажмурившись, она слушала, как Гиляров неуверенно, еле-еле разбирая каракули, читает.

И так, стоя с закрытыми глазами, вслед за ним повторяла про себя:

...Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАК БОГА,
Если б не было бы Бога —
Умерли бы все души...

— Если ты меня покинешь, я умр... — читал Гиляров.

— Я умру... Голубенький... — медлительно и серьезно, точно жалуясь на большую, ни за что ни про что нанесенную обиду, твердила и она.

Гиляров обернулся к ней: она все еще стояла с опущенными ресницами. Солнечные лучи крест-накрест обняли ее, белую, тонкую и порывистую, и как бы приподняли с полу, вот-вот собираясь унести. Но те же лучи явственно показали, что юбка потерта, что туфли беленькие в заплатках, а белокурые завитки утомленно, как у больной, пробиваются у висков и точно липнут ко лбу.

«Зачем она губы мажет?» — досадливо подумал Гиляров.

— Все души, — еще раз повторила Тоня и вскинула глаза на Гилярова. — Если б не было бы Бога... Это правда?

Гиляров молчал.

Тоня, покраснев, потянулась к жакету, и от краски еще моложе, еще более девичьим стало ее лицо, а приколола шляпу — сразу все юное, трепетное и чистое сгнуло.

И вновь стояла перед Гиляровым неверная женщина, хотя и с зовущими губами, но поблекшая и уставшая — облик, какой встречаешь на рассвете в ночном ресторане с дутыми мавританскими колоннами, у кадушки с высохшим филодендроном, когда линолеум липок от пролитого ликера, и окурки противно пристают к подошве.

Уходя, она только сказала «спасибо», а уж с перрона вдруг крикнула в окно:

— Господин комиссар!

Гиляров глянул в окно.

— Я хочу вам сказать.

— Слушаю, — проговорил Гиляров.

— Я хочу попросить вас... Ничего... — махнула она рукой и отошла. Белое платье исчезло за мохнатой буркой, потом вынырнуло за красным башлыком, снова показалось вдали — и потонуло в крикливой, галдящей, движущейся взад и вперед толпе. Долго не отходил Гиляров от окна, все ждал, не мелькнут ли васильки на желтой соломенной шляпе с нависшими полями, под которыми словно нарочно удлинённые глаза так часто и так удивительно меняются, то притягивая к себе, то отталкивая, как вот сразу оттолкнули покрашенные губы. И опять подумалось: «Зачем это она... напрасно», и внезапно потянуло к нацарапанным строчкам в углу — снова на них взглянуть, снова прочесть о том, как без Бога умирают все души, прочесть и — что? Посмеяться над собой, над своей неожиданной чувствительностью, глупой, вздорной, или заново при этом вспомнить и ясно представить себе, как вот несколько минут тому назад светлела в утренних лучах девушка вся в белом, в заплатах туфельках, и грустно говорила о том, что она умрет, если ее покинут?

И хотя морщился Гиляров, но все же прильнул к крикам строчкам.

III

А в обед Сестрюков иноходцем рыскал по платформе, суетливо шмыгал по вагонам и все искал «барышню Тоничку». Ту самую, дед которой, хоть и в халате, а генерал-губернатор, своими руками угощал вином и просил, как просят родного, присматривать за внучкой. Всюду шарил, и наконец нашел ее и доложил, запыхавшись, что комиссар покорнейше просит пожаловать к обеду. А уже от себя шепотком добавил, что комиссар человек хороший, редкий, не похожий на всех прочих из нынешних новых вылезалок, совестливый, что не след отказываться барышне Тоничке пообедать в «нашем вагоне» и что для этого он, Сестрюков, уже раздобыл в кладовке тот самый приборчик, что некогда служил Тоничке.

— Синенькие тарелки с золотыми каемками? — спрашивала Тоня, смеялась, а ладонью все же заслонилась от Сестрюкова, будто солнце жгло.

Точно таким же шепотком, после того как Тоня пообещала ему прийти к вечернему чаю и ушла к себе, он докладывал Гилярову о том, что барышня никакого места для себя в третьеклассном вагоне не имеет, что приходится им бог знает где сидеть, на торчке, что воздух там густой, людей напихано, как на свадьбе, все больше мужичков и солдат, не говоря уже о татарах с длиннющими ножами, и по всему видать, что барышня по ночам не спит по причине малого места, а едут они в Харьков, точка в точку по дороге с нами. Рассказывая, умильно и заискивающе заглядывал Гилярову в рот, как собачонка, которая прибежала к хозяину, чтоб потащить его туда, где другая собачонка лежит с перебитой лапой, — и говорил всеми своими движениями, умолял растроганными морщинками вокруг вспотевшего лба, упрашивал растопыренными реденькими усами: «Ну, вымолви заветное слово, ну, прикажи же...»

К чаю Тоня не пришла, и напрасно Сестрюков дважды разогревал самовар и даром дежурил на площадке. Шпоры звенели, и брякали кавказские шашки, но не

окликал милый голос: «Сестрюков, это ты?» — а Сестрюков ждал, все не верилось ему, что Тоничка не придет: ведь слово дала. Правда, за обедом она почти звука не проронила, как будто не по себе ей было, но, уходя, она все-таки еще раз сказала, что не обманет, придет, а вот уже и народ на перроне редеет, и давно второй самовар заглох, еще немного — и огни зажгут.

Не выдержал Сестрюков и сбежал — в поиски.

В вагоне на Тонином месте два татарина, разложив платочек, ели овечий сыр, на Тонином чемодане дымилась чужие кружки с кипятком.

Лишь к поздним сумеркам Сестрюков разыскал Тоню за плетнем привокзального садика, там, где над сваленными шпалами нависал дряхлый дуб.

Обрадовался Сестрюков, даже оторопел от радости, но не пошла с ним барышня Тоничка, на все уговоры отзывалась молчанием. На коленях у нее багряной горкой лежали опавшие листья, и она их перебирала руками, только всего, а обмолвился, между прочим, Сестрюков «наш вагон», она вскочила и крикнула ему: «Не смей так говорить, это не мой вагон, не мой, ничего у меня нет, я все растеряла». Но тут же попросила ласково, совсем как в те времена, когда по вокзальным буфетам носились за кремовыми трубочками: «Иди, милый, оставь меня», а замешкался Сестрюков — она топнула ногой:

— Уйдешь ты, наконец?

Но тотчас же побежала за ним, воротила, говоря:

— Не сердись на меня, — и усадила рядом с собой. — Сиди, сиди, только не зови меня туда. Я дурная, понимаешь, я очень дурная. Ты ничего не понимаешь. Старый ты мой проводничок. Я не смею... в тот вагон. Мне стыдно перед его зеркалом стоять, видеть себя в нем. Там ведь я осталась прежняя, и зеркало меня другой запомнило. По утрам я подходила к нему, глядела и у него спрашивала, хорошо ли на мне передник застегнут. Я была чистенькой, скажи мне, проводничок, — я чистенькой была? А теперь я вся, вся замаралась. И не зови меня, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь,

ничего не понимаешь, потому что ты уже сморчок, а я уже не Тоничка. На, развеселись, поиграй!

И сгребла она листья и кинула ему пригоршню, а сама стала насвистывать, покачиваясь, но свист был нарочитый, вскоре прекратился.

По-старчески шелестел дуб, точно перелистывая пожелтевшие страницы стариковских записей, брызжал над тем, что молодое старится, а старое помереть должно.

IV

Гиляров, проходя мимо купе проводников, услышал, как, тяжело кряхтя, рассказывает Сестрюков младшему своему товарищу:

— И подумать только, что с барышней нашей случилось. Ищу, ищу, — нету их, а самовар канючит. Ищу, ищу, а нигде не видать. Дикий-то человек, в соседях у барышни, и говорит мне: «Уехалья». Куда, говорю, дурень без рельсов поедешь. «Уехалья», — говорит и гогочет. Без сил остался, пока заприметил. Сидят себе у возле садика и молчок, молчок. Я упрашиваю христом-богом: пойдем, миленькая ты наша, самовар растренькается, с огнем оставил, а она мне такое отвечает, что и знать не знаю, как мне быть. Одно чувствую: смяга во рту. Ведь как домой, говорю, зову, а она мне про зеркало такое невозможное, что хоть плачь.

220

Гиляров остановился — и не морщился, как днем, читая наивный стишок, много лет тому назад выведенный детской рукой, — рукой, которая теперь уже иная, но пальцы чьи живут, как самостоятельные, совсем отдельные живые существа, и, промелькнув раз-другой, не исчезли из памяти, а запечатлелись в ней, как оттиск в мягком воске, запечатлелись вопреки желанию того, кто их увидел, даже словно назло, наперекор.

А может быть, во благо, может быть, для последнего необходимого указания?

Вот, вот так они шляпу прикалывали и чуть-чуть трепетали, будто оскорбленные, когда он не отвечал на

ее вопрос: правда ли, что без Бога умирают души людские? А вот так они скользили по платью, когда лучи перекрестили ее, а за обедом они едва-едва шевелились, точно их испугнули, и они притаились, точно украдкой взирая на свет Божий.

И даже поближе стал Гиляров, чтобы явственнее разобрать сетующее бормотание Сестрюкова, но тот приумолк и засопел только: возможно, что сапоги снимал натужно, а возможно — слезы глушил.

В окно, подплыв, глянула луна, и по коридору протянулся зыбкий след. Гиляров одернул на себе френч и вышел на платформу.

Свежело, у водокачки догорал костер, в хвосте поезда неосвещенные вагоны стояли понуро, точно быки, застигнутые ночью в степи, а две-три фигурки, маячившие у огня, казались погонщиками.

Гиляров прошел внутрь вокзала — там на весах дремал седой железнодорожник с веником в руках, на оголенной буфетной стойке усиками пошевеливали прусаки и карабкались по забытым пустым бутылкам. Гиляров снова направился к платформе и круто повернул к садику.

Но белого платья там не оказалось.

Вскоре Сестрюков, на ходу натягивая куртку, спешил к Гилярову; второй проводник недоумевал, что это вдруг в такую пору понадобился Сестрюков комиссару.

— Так вы сказали, что она в Харьков едет? — спрашивал Гиляров, старательно поправляя зеленый козырек лампы.

— Точно так! — отвечал Сестрюков и глаз напряженных не отводил от комиссаровского лица, вцепившись в тайной и бодрой надежде.

— В Харьков, вы говорите. Вот как... А нам надо в Екатеринослав.

— Барышня могут и от Екатеринослава повертаться, — посмелев, подсказал Сестрюков, и сам же обомлел от своей смелости.

— Все можно и ничего нельзя, — проговорил Гиляров и сломал козырек, надавив слишком.

V

Сестрюков потупил глаза, но не надолго: мигом ожили они, и если, действительно, глаза человеческие могут улыбаться, то они не только улыбнулись, а расплылись одной сплошной улыбкой и рассмеялись счастливо, когда Гиляров, отбросив куски смятого картона, привстал и молвил:

— Вы найдете ее вагон? Проведите меня.

И не менее счастливым говорком покрикивал Сестрюков под окошком Тониного вагона:

— Барышня Тоня, а барышня Тоня, — и возбужденно кивал Гилярову, стоявшему позади. — Сейчас отзовется, Петр Федорович, сейчас отзовется, одну капелюшечку.

В окне забелели рукава.

Сестрюков отошел в сторону — что ж, загляделся на остаточные угольки костра, а такие же угольки перекачивались по собственному сердцу и грели и грели...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Уже поздно ночью Сестрюков перетаскивал Тонины свертки в салон-вагон, а она шла рядом и говорила:

— Зачем, зачем я только согласилась?

222

В купе, отведенном для нее, где уже постель заранее приготовили и столик покрыли салфетками из уцелевшего министерского добра, она не переставая твердила:

— Зачем? Зачем?

И не пожелала прилечь, как ни уговаривал Сестрюков, и не верила ему, что это сам комиссар надумал, а не он подстроил:

— Ты меня обманываешь, Сестрюков. Это нехорошо. А еще старый друг. Вот ты какой. Не лягу, пока ты мне правду не скажешь. Не приставай, не буду спать. — И вдруг обхватила его шею, целуя бурые щеки. — Ой, только не горюй — буду, буду. Лягу, лягу. Вот уже легла,

видишь. Вот уже сплю. Как хорошо: подушка, удобно, никто не курит — как дома. Да-да, я дома. Это мои каникулы. Я уже шесть ночей не ложилась. Все сидя дремала, то на одной скамейке, то на другой. Как странница — без места, без ночлега. Я и есть такая... Тучки небесные, вечные странники... Но я не тучка. Я... Они по небу бродят, им хорошо. А я по земле. Иди, иди. Тебе спать надо много-много, я тебя сегодня так утомила. А больше не буду. Вот увидишь завтра: добренькой буду, а ты мне завтра расскажешь, как ты жил, где ты бывал. А там, где я, где дедушка, где арбакеши кричат, ты ни разу больше не был? И фазанов больше не видел? И не ел хандалек? Ты уже все забыл? Так ты уже совсем как бабай — старенький.

Перед уходом она попросила его прикрутить электричество, повынимала гребни — косы упали.

И так лежа в потемках, руки за голову забросив, отчего сразу всему телу стало легче, точно свалилась с него сухая короста, она думала о чуде, что осенило ее так неожиданно и так просто, бесхитростно встало на ее пути сегодня, когда еще вчера путались тропинки, и по-обычному все до одной были не свои:

«Вот я опять в голубеньком. Вот я опять с ним. Как все странно. Революция, война, а я все-таки с ним. Это настоящее чудо. Боже, значит, на земле еще есть чудеса? А если одно пришло... Может ведь и другое прийти, и я отдохну. Может? Опять я с голубеньким. Могла ли я думать? Могла ли я ожидать? Тогда я спала в первом купе справа. А думка моя потеряна. Я все растеряла. Кто там теперь? Он? Комиссар? Он как будто больной. А лоб у него высокий, как у дедушки. Он когда-нибудь улыбается? Машинистка тоже революционерка? Как она за обедом следила за мной. Она постоянно улыбается. Нет, это не улыбка. А он? Никогда? Чудно, ко-ми-с-сар. — Это слово она произнесла вслух, разбивая по слогам. — Почему он мне предложил перебраться? Ведь я ему чужая. Сестрюков не лжет. Или пожалел? Значит, я очень жалкая, и каждый может сразу заметить, что мне плохо, что в октябре я в белом платье и надо меня пригреть?»

И я еще в соломенной шляпе. Не хочу я жалости, не хочу. Вот прямо я и скажу ему: не хочу. Господин комиссар, я не хочу, чтобы вы меня жалели. Мне совсем... не так худо. Ну, из миниатюры я, ну, пою я скверные песенки. Ну, актриска я. Да-да, актриска, а не артистка. Так в Ростове мне поручик Рымгайло крикнул: пей, пей, актриска, нечего жалеть себя, все окачуримся вскоре, время такое, все на том свете будем. Он уже там — злой и несчастный. А я...»

Она насторожилась, приподнялась: в коридоре раздалась шаги.

— Это он. Я ему должна сказать. Сегодня же. Пусть он не думает.

II

Она распахнула двери и, забыв, что волосы не в порядке, что косы по плечам пущены, вышла в коридор: сонно, никого нет, на окнах шторы натянуты, а вот только в раскрытом салоне что-то блестит, что-то отражается издали, будто ручей пробежал.

И на отражение пошла Антонина Викторовна Ашарова, по паспорту дочь гвардии полковника, двадцати трех лет от роду, по сцене Викторова, когда-то девочка Тоничка, институточка с нарукавниками, а ныне артистка батумского театра миниатюр «Ренессанс», где зимой пела о том, что «есть у меня один секрет», потом весной читала солдатам-фронтовикам «Каменщик, каменщик, что ты там строишь», а после «Каменщика» танцевала танец ковбоев в сомбреро, в стоптанных сапожках и красном шейном платочке поверх мужской пикейной рубашки, в паре с веснушчатым премьером, у которого зубы гнили, и потому дышал он в лицо креозотом.

Пошла на отблеск и лишь на пороге догадалась, что это зеркальное трюмо светится. В одном окне штора была приподнята — струились по зеркалу колеблющиеся лунные пряди; за облако пряталась неумная луна — зеркало темнело, но тотчас же снова и снова тянулись пряди, будто бесконечные, бесконечные, будто живые

и в то же время неживые, неведомо куда стремящиеся, как вода проточная с гор: по камням, по ложбинкам, по песку, все вперед, вперед. Но куда, куда?

Тоня подошла поближе, но робким шагом: так с огромной душевной боязнью тянешься к заветному, не можешь не тянуться, но опасаясь, не встретят ли тебя с укоризной, тебя, кого от заветного отринули и отбросили в противоположную сторону.

Еще ближе — и встала перед зеркалом во весь рост.

— Здравствуй, зеркало, — сказала она. И молчаливый вечный свидетель, как всегда невозмутимо, принял еще один подошедший к нему лик.

— Узнаешь? — спросила Тоня и даже подалась вперед, как за ответом желанным, а в этот миг луна зацепилась краем за облако, побежала вниз темная полоска, переломила зеркало на две половинки — нижнюю вглубь погнала, верхнюю выдвинула — и точно кивнуло зеркало: да.

Тоня ахнула и прикрылась руками, а когда отняла ладони — все лицо изнутри горело целительным огнем.

— Милое, милое ты мое зеркало. Хорошее ты мое.

И, подвигая к нему кресло, говорила:

— Я посижу с тобой. А ты погляди на меня. Погляди, какой я стала, как мне нехорошо...

III

Как некогда, как бывало в незабвенные, безвозвратные дни кремовых трубочек, обильных слез над утащенным томиком «Обрыва», сувениров от подруг, засушенных цветов, нансеновского «Фрама», писем дедушки о том, что в саду удачно взошли азалии, стихов об ангеле, который душу младую в объятиях нес, и рассказов Прохора о солдатских представлениях «Черта, мельника и колдуна», уместилась в кресле с ногами, глубоко ушла в него и кожаной, надежно-просторной спинкой отгородилась от всего.

От всего — и от пляски ковбоев, и от мебелирашек с запахом кофейной гущи и посапыванием коптящего

примуса, и от летних садов с куплетистами, с мраморными столиками, к ночи испещренными скабресными рисунками и надписями, со зрителями, похожими на лакеев, и лакеями, похожими на жуликов. И от ротмистров, угоревших в кровавом дыму и угар новый возобновляющих на отдыхе, и от отдельных кабинетов с пробуравленными дырками в дощатых стенках, с тепленьким шампанским, допущенным высоким покровительством меценатствующего пристава.

И от мартовских дней, когда крики «ура» взмыли Тифлис и красные флаги вихрем опоясали его, а она лежала в своем номере третий день без еды, кутала пледом стынувшие ноги, в отчаянии одурманивая себя остатками эфира, а сосед по номеру, коллежский советник в отставке, в нанковых не по сезону панталонах, проворовавшийся земский начальник в эспаньолке, уговаривал: «Рвите, рвите паспорт. Нас, дворян, будут резать, *ragole d'honneur*. Нас, чистокровных, эти каналы пороть будут, *je vous assure*, увидите. Рвите».

Перед зеркалом и уснула.

Сперва в глазах зарябило, потом неведомо откуда прилетевший фазан крыльями взмахнул, рябь прогнал, но тонкую пахучую сетку накинул на веки, пахучую и разноцветную. Затем сквозь дрему почудилось, что подошел бабай-Мутала, тот самый, что неподалеку от дедушкиного дворца торговал кок-султаном, виноградом и персиками, подошел и опрокинул над ней кулиган с розовой водой, и от теплых ароматных струек даже по кончикам пальцев прошла неизъяснимая радость, и почему-то рядом с ним очутилась *mademoiselle* Жиро с французским диктантом и прошипела: «Не шалите, вы из порядочной семьи», а затем снова фазан развернул крыло. И стало кресло падать, падать, падать...

IV

До зуда в коленях бродил в эту ночь Гиляров; вокруг всех поездов кружил, и на холмах побывал, и слушал

за семафором, как гудит проволока: «Новые вести. Каждую минуту будут новые, одна другой ошеломляющее, а я уже позади, давно позади. Кончено, Петр: можешь гроб себе тесать, можешь и головой биться о телеграфные столбы, можешь и стихи писать — все равно». У себя в купе даром постель снял: не спалось, а когда в салоне от круглого обеденного стола подошел к своему письменному столу, увидал в зеркале кресло, в кресле белый комочек, и косу, перекинутую поверх ручки почти до полу. Стараясь не шуметь, он на цыпочках пробирался к выходу: но оттого ли, что уж очень старался, или оттого, что, идя, все оглядывался, он зацепился за стул.

— Это я, не бойтесь, — успокаивал он, — я не знал, что вы тут. Простите.

А белое платье уже покинуло кресло и притаилось в углу, между ремингтоном и овальным диваном.

— Я не боюсь. Я не испугалась. Я сама виновата. И я рада, потому что я хочу...

Покрышка ремингтона звякнула под возбужденной рукой: рука легла на него, точно прибегая к опоре.

— Потому что я хотела... Хочу переговорить с вами. Вам меня жалко. Я знаю. А я не хочу жалости. Вам Сестряков наговорил, потому что он глупый, потому что он носил меня на руках. А меня не надо жалеть. Я в этом не нуждаюсь. Да, да. Я этой жалости не хочу от вас. И завтра я уйду из вашего вагона.

— Он не мой, он ваш, — не изумляясь, принимая как должное и ночную встречу, и необычный разговор, ответил Гиляров. — Я здесь чужой, а вы своя.

— Вы хозяин. А я...

— Я временный гость. Нежеланный и незванный. Даже не татарин, — усмехнулся он, — а недоразумение одно.

Белое платье отделилось от стены.

Лунные пряди все набегали и набегали безостановочно, как безостановочно и долго раздавался в салоне двойной шепот: то один поглуше, то другой помягче, — в том самом вагоне, где когда-то князь Григорий Ильич, царедворец и винокур, делился анекдотами из придвор-

ной жизни, а полногрудая фрейлина, надев кокошник, отплясывала русскую для увеселения сибирского прощателя.

— И не надо бояться жалости. Быть может, это самое прекрасное из всех человеческих чувств, завещанных нам. И если я даже пожалел! Разве жалость оскорбительна? Бьет? Унижает? Только бездушным она кажется унизительной. И только тот, кто говорит: я все знаю, — клеймит ее. А кто все знает? Никто. Или сумасшедшие. Но и им она нужна. Природа знает жалость и утвердила ее, как утвердила огонь, свет, смерть. И если я даже пожалел? Тогда ответьте той же жалостью, чтоб не страшила мысль остаться в долгу.

— Она нужна вам?

— Нет такого, кому она не нужна. Кто говорит: я не хочу ее, — тот себя обманывает; кто говорит: она не нужна мне, — тот боится ее, ибо она и дар и, как дар, не только радует, но и обязывает. Люди перестали друг друга одаривать, они не хотят обязательств, поруки, потому скудеет земля. Вот в пустыне даже шакал шакалу весть подает. Вот ночью в море посылает же пароход другому пароходу сигнал: я тут, слышишь? И люди должны, как корабли...

— Корабли, проходящие ночью, говорят друг с другом огнями.

— Откуда, откуда, это? Чьи это слова?

— Не помню. Быть может, в ролях попалось. Нет, не там, — что я говорю! Нет, нет. Хорошие, да?

— Хорошие.

— Есть еще настоящие слова?

— Корабли...

— Скажите: есть?

— Корабли, что ночью прохо...

— Не так, вот как: корабли... И Гиляров, ловя подсказанное, шевелил запекшимися губами:

— ...проходящие ночью, говорят друг с другом огнями, — и видел необозримое бурлящее море, а себя привязанным к сломанной мачте с потухшим фонарем.

V

Рано проснулась Тоня в своем купе и после многих дней впервые почувствовала себя неразбитой, хотя спала всего-то часа три. А вскоре и Сестрюков постучал:

— Барышня, чайку кушать.

Тоня отвернула занавеску — над холмами плыли тонкорунные барашки, то тут, то там голубели небесные проталины. Тоня поправила у плеча сорочку и присела.

— Ко-ми-с-сар, — проговорила она раздельно, вслух и засмеялась смущенно и радостно.

Глава девятая

I

День пробежал, как весенняя тень по косогору, Тоня даже не успела оглянуться.

Уже давно — когда это было? — не проходили дни так безболезненно, не задевая, не рая, точно не часы шли, а лепестки осыпались, точно не в жизни еще шаг-день отмерен был, а на берегу нездешнем, высоком-высоком, над синим провалом день-мгновенье пронежилась. И потому не сушили злополучные мысли, ставшие в последнее время неотъемлемыми — никакие, даже новые о чудесном не посетили, даже чудесные о новом, где озарение, где предчувствие пленительных минут уже не исторгнуть из души. А за ужином перевела взор с блюда на Гилярова, посмотрела, как он от телеграммы, только что полученной из Тифлиса, отщипывает кусочки и кусочки то ко рту подносит, то сбрасывает на пол, словно не знает, куда девать самого себя промеж этих лоскутков, поглядела, как он дергает бровью, — и подумала с жутью, жалостью и первым волнением приближающейся любви: «Господи, да ему еще хуже, чем мне», — и снизился высокий берег.

Но не горевала, что пропал он, а с ним и безмятежность, не объяснила себе, почему нет сожаления, но по-

няла бездумно, что взамен другое будет, — ярче, нежнее, и, быть может, выше, выше любой горы...

...Снова притих вагон, улеглись проводники, машинистка заснула над развернутой книгой о городском самоуправлении. На Тонин стук Гиляров тотчас же отозвался, как тотчас же после ее слов: «Идемте, идемте в салон», сказал:

— Я вас ждал.

II

В эту ночь луна где-то заблудилась.

Зеркало только едва отсвечивалось, уже само по себе, как будто от всего отмахнулось, чтобы суметь прислушаться по-настоящему, чтоб никто не помешал, никто и ничто.

— А мне можно при вас с косой? — спрашивала Тоня и поджимала ноги под себя. — Вы не смейтесь. Поймите, милый, милый комиссар... Я вас так буду звать. Пока... Мне нравится это слово «комиссар», в нем для меня необычное и... И приятное. Поймите, что я так много вольностей насмотрелась, что мне страшно, когда я... Ах, что насмотрелась! Я сама позволяла другим и себе. Я... комиссар. Я гуляющая. Слышите?

— Слышу, — ответил Гиляров и, взяв ее руку, поднял пальцами кверху. — А пальцы остались. И живые. И не надо, не надо больше об этом.

— Почему? Почему? — сухо отозвалась Тоня. — Вам противно? А если мне хочется, чтобы вам стало противно. Нет, нет, — потянулась она к нему испуганно и плечами передернула — такой холод вдруг объял их. — Я не этого хочу. Я хочу другого. Я хочу, чтобы вы всё знали обо мне. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я под маской пробралась сюда, как ряженые свою настоящую одежду оставляют дома. Клянусь... Комиссар, милый, клянусь, я ни на одну минуту не притворялась. Когда вы попросили меня перейти сюда, я сразу сказала: нет. Только потому, что не знала, смогу ли я вам все рассказать о себе. Я побоялась, — да, да, побоялась. А прийти и не сказать, таиться, —

нет, еще хуже, точно под чужим именем. Я побоялась, боже мой, ведь я только женщина. А потом... Вы стояли на платформе. Сестрюков приуныл, чуть не разревелся. Я вспомнила, как он говорил мне, что вы не такой, как все, особенный. И я опять поглядела на вас, а вы сказали: ведь это ваш вагон, ведь это единственная радость, которая вам осталась, вы снова обрели ее, и надо идти к ней, ведь это ваше старое пепелище, и надо вернуться к нему. И у меня сердце замерло. Господи, подумала я, ведь этот человек заглянул мне в душу. И я сказала: да. А ночью я решила: жалеет, как котенка, который попал на рельсы, и вот его сейчас поезд раздавит. И вот пришла тогда и сказала об этом. Я хочу, я хочу, чтобы вы все знали про меня.

— Я знаю, — мягко проговорил Гиляров, — я сразу все понял. И не надо об этом.

— Поняли? — Она окончательно зарылась в кресле и не пошевелинулась. А потом глухо спросила:

— Значит, по мне видать? По лицу? Да? По платью?

— Ничего не видать, бедная странная женщина. У вас лицо девичье, вы еще в школе, и мел от доски на локтях. А в платье без шляпы вы — как причастница. Мне губы объяснили.

Она рванулась и снова свернулась клубочком неподвижным. Вскоре оттуда протянулась рука, на слабом свету сквозная, и легла на колено Гилярову.

— Я больше не буду их красить. Никогда. Хорошо?

— Хорошо, — помолчав, ответил Гиляров и осторожно-осторожно снял ее руку и положил ее на край кресла.

Так она там и белела до рассвета.

И от пальцев не отрывался Гиляров, и жили они перед его глазами на тисненой обивке кресла и, словно камни драгоценные на дне раскрытого ларца, переливались и просились взять их, любоваться ими...

III

Второе Тонино утро в салон-вагоне застало ее в слезах.

— Я хотела рассмеяться, когда проснулась, — рассказывала она Гилярову в третью ночь.

Не могла не постучаться к нему, не позвать его к зеркалу, к лунным пятнам, к креслу, где можешь вся целиком уместиться, и оттого кажется, что ты в безопасности от всяких бед и напастей, покоишься на широкой, родной груди, и грудь эта не выдаст, защитит, убережет.

— Мне сон снился. Редкий, дивный, не как прежние, потому смеяться хотелось, так это хорошо было. Вот в саду я будто, на качелях, качели взлетают, а я кричу: еще, еще. Они еще выше. А на мне красное-красное платье, а в саду вишни распускаются, и вся я в цветах вишневых. А я заплакала, я услышала в коридоре ваши шаги и вспомнила, как вы за ужином кривились, читая телеграмму, какой бледный сидели, как сгорбились. Я не хочу качелей. Я хочу знать, что с вами. Не хочу я вишневого цвета, когда вижу, как вы угрюмы, как вам тяжело. Что мне качели, когда вам трудно.

— Пройдет. Пройдет, — отвечал Гиляров и не горбился, точно доказать хотел милым пальцам, будто вовсе не так тяжело — и вот даже не придавлен, а стоит прямо, — точно успокоить их хотел, отвести от них и горести и заботы. — Пройдет. Еще немного...

На том же месте, что и вчера, и третьего дня, Тоня уже не спрашивала, есть ли настоящие слова, а верила им.

«Я глупая, — говорила она себе. — Я многого не понимаю, о чем он говорит. Но я пойму, пойму. Но я хочу, чтобы он мне говорил. Со мной никто так не говорил. Он мне, мне это говорит. Значит, он знает, как мне с ним светло, чувствует, что все мне нужно — и он, и слова его, и боль его».

— Еще немного, еще немного, и я уже совсем успокоюсь. Я уже почти спокоен. Ведь я уже знаю, во что я уткнулся. Разбился, уткнувшись. Тем лучше, только плохо, что не насмерть. Надо вот еще раз заглянуть и раз навсегда условиться с самим собой: посторонись, Петр, посторонись и пропусти тех, кому ворожея наворожила. Наворожила по-сказочному: плечом двинешь — переулочек, рукой взмахнешь — улица. Бог мой, старая русская ворожея — не то ведьма, не то ангел. Посмотришь:

ангел, ангел; взглянешь — ведьма, ведьма полосатая. Но все равно: от святого или дьявольского, а посторониться надо. Не то в лягушонка обратишься, не то в жабу, не то в сыча. Тоже по колдовству. Посторониться — и убежать, убежать. Не в переулочек, не в тупичок — нет, все переулочки затряслись, ходуном пошли все Скатертные, Спасские, Борисоглебские, все тупички, все клетушки попадали. Убежать, зарыться на краю или затянуть на себе кушак покрепче, вынуть рукавицы и гаркнуть: «Эй, бабушка-ворожея, исполать тебе, верю. Верю, что Русью пахнуло подлинной, бегу, родненькая. Сарынь на кичку, молчавшие досель. Сарынь на кичку, не ушкуйники, нет — угодники, праведники! Плыви, расшива, гуляй, волна, смой всю ветошь, потопом пройдишь по земле. Лейся, огненный дождь, сорок-сороков ночей. Дорогу, дорогу, храмы, дворцы, старые книги, старые истины, старые боги, старые заповеди. Все залей потопом, никаких ковчегов. Ни одной пары нечистых на разводку. Все потопаи, на дно потяни навсегда, пусть раки гложут, или выпусти, как из новой купели, заново крещеным великим крещением, новой живой водой». А если все это навождение и ворожея — ведьма? Надо ответить, надо. А тяжело, тяжело, сил нет — и гнусь, и гнусь.

А с кресла послышалось:

— А я не могу помочь? Ничем? Не могу? И потянулись было пальцы порывисто, но застыли по пути, словно сознали все свое бессилие.

— А если это метелица метет? А если это ведьма дымом напускает, гарью мутит, чтобы, потешившись, взвиться на метле в трубу, а из трубы каркать: сгинь, Русь, сгинь, ни дна тебе, ни крыши? Все равно: рукавицы так или иначе надо надеть, и рукавицы железные. А у меня руки-дощечки. Из таких дощечек кустари коробки делают, а потом их покупают и дарят на память для хранения писем, мелочей. Вот мы и наделали таких коробочек много. И сами там очутились: на память. И нас подарят новой России с надписью: безделушки. Не хочу в коробочку. А куда? Под кирпич хочу. Когда

строят дом — и то кирпичи иногда падают с лесов. А генерал писал: строится башня вавилонская. Тем больше падающих кирпичей на головы. Кому на горе, кому на счастье. Я не заслужил этого счастья, я знаю, но я молюсь о нем, потому что больше некому и не о чем молиться.

IV

Все утро Гиляров оставался в своем купе и от обеда отказался.

Машинистка усмехнулась и, следя исподтишка за Тоней, делилась:

— Петр Федорович не в духе. С ним это бывает. — И как бы мимоходом небрежно осведомлялась: — А почему вы не едите? Нет аппетита? Вы тоже не в духе? Плохо спали? Петр Федорович тоже в последние дни не спит. Сегодня ночью я слышала, как он дверью хлопнул. А вы не слышали? Вы крепко спите?

Тоня, едва досидев до конца обеда, встала. Машинистка поковыряла вилкой, развернула очередную брошюрку, но не читалось — тянуло в коридор, туда, куда вот только что направилось белое платье.

У дверей Гилярова Тоня остановилась.

— Комиссар... — позвала она, и голос дрогнул; дрогнул и упал. — Комиссар...

Не отозвались изнутри; зарделись щеки и погасли, а пальцы соскользнули с фанерок двери, не задев, не стукнув.

Минут через тридцать Тоня снова подошла, но дверь уже была открыта, и в неубранном купе валялись на полу, на постели нетронутой клочки бумаги и куски изломанного карандаша.

Тоня подозвала Сестрюкова, сказав:

— Надо у Петра Федоровича прибраться.

Прислонилась к косяку, глядела, как Сестрюков наливает воду в графин, как он взбивает подушку, и говорила ему:

— А когда Петр Федорович придет — ты мне скажи.

— Они на вокзал прошли. Говорят, будто на мосте уже поправили. Стало быть, в дорогу.

— Что ты говоришь? Поедем? Когда?

— Может, и сегодня, а то и завтра.

— А куда мы... Куда вы сначала поедете?

— В Бердичев.

— А потом? — тоскливо спрашивала Тоня.

— Куда начальство прикажет.

— Какое начальство?

— Из Питера. Министр и прочие.

— Куда прикажет? А куда... самому захочется?

— Что вы, барышня! Никак нельзя — служба. Петр Федорович такой: раз приказано...

— Нельзя, говоришь?

— Нельзя, Тоничка.

Тоня посторонилась: Сестрюков подметал пол. Встретилась она с Гиляровым только за ужином. Ужин прошел в молчании, барышня из Клина зубочисткой выводила на салфетке узоры.

Когда убрали со стола, Гиляров сказал, ни на кого не глядя:

— Сегодня ночью мы едем. Путь уже открыт.

Ночью застучали молотки.

Тоня глянула в окно: внизу шевелились фонари, черные спины нагибались к земле, и постукивали, постукивали молотки, пробуя крепость колес, вдоволь отдохнувших на стоянке.

Накинув жакет, торопясь, Тоня покинула купе, по коридору поспешила к выходу — скорей, окончательно убедиться, что не обманывают молотки, что правду постукивают они о близком конце, о том, как за Ростовом разбегутся рельсы: одни на Харьков, другие на Бердичев, туда, где есть приказы, начальства, служба.

А в коридоре ее тут же окликнули изумленно:

— Вы куда?

— Не знаю, — ответила Тоня. — Не знаю, — повторила

она, когда Гиляров с порога салона, где он немало минут простоял, подошел к ней. — Не знаю. — И на рукав его френча положила похолодевшие пальцы.

— Я вас жду давно.

И услышала, что добавил он тихо-тихо:

— Вас... Тоня...

— Я не Тоня, — проговорила она. — Я... я тону. — И прижалась к нему, все отдавая блаженно — и себя, и свою просветлевшую душу, и томленье свое.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Снова, после недельной передышки, салон-вагон помчался по русским полям.

Снова по утрам ремингтон освобождался из жестяного плена, и комиссар Временного правительства кратко и сухо сообщал Петрограду о продвижении своем, о причинах невольной задержки, указывал свой маршрут, изредка прибавлял два-три слова о разбитых паровозах, о самоубийстве нескольких офицеров на станции Дербент, где неизвестно почему очутившиеся там матросы, дробя стекла, срывая двери, ворвались в штабной вагон, о поджогах в Баку, о бабьем бунте в Таганрогском уезде, где одна помещица оказалась ведьмой и колодцы отравляла, о погроме под Ростовом, о пастухе-пророке с Дона, антихриста воочию увидавшем, об эшелоне, разгромившем депо, о женском монастыре, где монашки продавали божью воду для истребления социалистов, о деревенских ходоках, ищущих новые земли. Но Петроград упорно молчал, не отзывался.

А по ночам Петр Федорович Гиляров, человек во френче цвета хаки с сизым, голову свою прятал в колени певички, танцовщицы и декламаторши из батумского «Ренессанса» и умолял уехать, не считаться с ним, забыть о нем:

— Я тяжкий груз. Не по твоим плечам. Да, ты мне

нужна, и смешно теперь скрывать это. Да, я один, и тяжело мне. В Белоострове я плакал от счастья, а сейчас я на четвереньках — придавило меня. Но ведь земля-то та же. Стоял ли я на ней обеими ногами или лежу теперь пластом, но она-то осталась. Почему же теперь не поит она меня верой, надеждой? Высохла она? Потрескалась? Нет, это я высох, это на мне трещины. И не возись со мной. Верю, верю, что корабли говорят друг с другом огнями, знаю, как глубока темень, но ведь я давно потушил их. Испугался ветра, не смог сквозь бурю пронести. Я давно несусь, не зная ни путей, ни гавани. Ради бога, не говори мне, что ты никчемная, что ты лишняя. Ты живая, у тебя душа жива, а моя давно выдохлась. Ведь это я только по виду прежний. Я не люблю лишних телодвижений, потому кажется, будто все благополучно. Неправда, — как есть губернии, неблагополучные по холере, так я давно неблагополучен по силе и выдержке. И сколько нас таких — дутых, безруких, безногих. А мы машем руками, топчемся на одном месте и кричим: идем, идем. Русская интеллигентско-революционная вампука. Не хочу ее, довольно. А ты — беги скорее. Ты не знаешь, что такое социализм, нужен ли он России, кому нужны мы, кто нужен нам, — и ты уцелеешь, милая русская женщина. Уцелеешь даже в кабаке, даже под пьяными поцелуями. Когда нужно будет — сотрешь их, и уста станут чисты. Когда нужно будет — кабак отодвинешь и в храм войдешь. А мне... Мне не по дороге ни кабак, ни храм. Уезжай, уезжай, родная!

237

На остановках он первым устремлялся к вокзалам и уходил последним.

Жадно прислушивался к разговорам, к толкам, с такой же ненасытностью приглядывался к лицам, от одной шинели переходил к другой, от армяка к зипуну, от бабьего платка к косынке сестры, от матросской полосатой фуфайки к засаленной скуфейке лукавого монашка, от теплушки к теплушке, от котомки старика-странника к венгерке проходимца-жулика.

Гудела толпа — он торопился на гул, где-нибудь куч-

ка останавливалась — он ютился возле нее, песня раздавалась — он шел на песню, вопль прорезал воздух — он бежал на вопль, щелкали винтовки — он протискивался вперед.

А возвращаясь, глядя, как трещат крыши вагонов под сапогами, лаптями, как сотни обветренных рук липнут к перилам, хватаются за буфера, за оконные рамы, за дверные скобы, как треплются по ветру юбки, шинели, очипки, платки, как гнутся оси, оседают мостики, перекинутые от одного вагона к другому, как гуляют мешки по головам, слушая, как в один непрерывный ропот сливаются крики, визг, хрип, кашель, ругательства, чавканье и несутся вдоль насыпи, перебитых щитов, за которыми мертво лежат серые голые поля, кренятся пустые овраги и чернеют буераки, — еще настойчивее, еще с большей горечью, словно упорнее назло себе, убеждал Тоню:

— Ты должна оставить меня. И твой голубенький не защитит. Только чудом он еще держится, но это ненадолго. Пойми, что тебе нельзя оставаться здесь.

— А тебе, а тебе? — И она потянула его к зеркалу. — Погляди на себя, во что ты обратился. Ты уже разогнуться не можешь. А тебе?

— Я капитан, — попробовал он пошутить. — На гибнущем корабле. Должен до конца остаться.

— Не шути, — взмолилась она и побледневшее лицо спрятала в старом гостеприимном кресле, но и этот верный друг долго не мог успокоить ее.

238

— Плохой капитан, — пробормотал Гиляров. — Дырявый, безрукий, но остаться должен.

И зеркалу, молчаливому неизменному свидетелю конца многих «капитанов», улыбнулся искривленной и жалкой улыбкой.

II

На остановках Сестрюков гасил электричество, запирал выходные двери, а в Ростове еще к тому смастерил деревянные заслоны.

И все чаще и чаще шушукались меж собой проводники, и не раз замечала Тоня, что порывается Сестрюков заговорить с ней, но нет в нем решимости, а потому старается не попадаться на глаза. Однажды подслушала, как справляется Панасюк у Гилярова, где прикажет он припрятать серебряные подстаканники, ножи и ложки.

В тот день, когда Сестрюков впервые приладил к дверям заслоны, Гиляров твердо сказал Тоне:

— В Синельникове мы расстанемся. Молчи. Так должно быть. — И отвел глаза от задрожавших, испуганных, милых ресниц. — Я попал в водоверть. Страшна она, бешено разворачивается. Ты, к счастью, не видишь, но я вижу. Все ширится и ширится. Кого заденет, — конец тому. Не могу, чтоб ты даже подле стояла. Я попал — и пойду ко дну. И не пробуй удержать — все равно не сможешь. В Синельникове ты пересядешь в харьковский. Нельзя иначе. Нельзя. Нельзя.

А при гудке сорвался с места.

И снова побежал к платформе, к вокзалу, к гулу, к запаху овчин, махорки, доморощенной сивухи, к ларькам с воблой, к облупленным стенам, где спина спину выпирает, где звенят стекла от брани, к грудам тел и мешков, вместе спянных жадностью, верой, слезами, проклятьями, мозолями, к тверской, вятской, черниговской, олонейской, пензенской волне, — к водоверти: еще раз заглянуть, еще раз убедиться, еще раз понять.

В сумерки Тоня внесла к нему в купе свечку. Он с постели приподнялся ей навстречу.

— Теперь я тону, Тоничка. И вот даже пузыри пускаю.

И, уже не пряча ни тоски, ни боли, искал в пальцах ее забвения, тишины и отдыха.

— Ты когда-нибудь видела, — спрашивал он, руку ее укладывая себе под голову, — как в половодье гибнет человек, застигнутый на реке? От одного берега отошел, другой далеко, а может быть, его и совсем нет и никогда не было, только марево одно. Громоздится льдина на льдину, гора растет. Вдруг грохот, один удар, третий — и впадина. И летит в нее человек, и не за что ему ухва-

тяться. Все соломинки ветром унесло, а льдины руки режут, а по льдине ноги скользят. Вскрылась река. Не угадали мы часа, уговаривали себя, что вскроется она смиренно, ласково, в положенный день. Ведь мы ученые, знаем законы природы, недаром изучали их годами по Парижам, Женевам — и сели, бог мой, с каким треском! С какой убежденностью мы талые места заклеивали бумажками. Умники, умники, алхимики всякие, законоведы. И летят вверх тормашками все законы. И ученые тож, с приборами, с выводами, с барометрами и словами. Туда им и дорога. Но только не ты. Ты тут ни при чем. Ты маленькая.

— Так пожалей меня, — попросила Тоня.

— И не покидай меня, — поутру говорила она, держа шляпу в руках, когда поезд приближался к Синельникову, а Сестрюков из купе выносил ее чемоданы. — Не покидай. Я не жена тебе, я даже не любовница, но мы не должны расставаться. Ведь и тебе так же худо, как и мне. Ведь и ты один, как я. Так уйдем оба.

— Куда?

— Не знаю. Но мы узнаем, потом узнаем. Вот уже и вокзал. Петр, я сейчас надену шляпу — и конец. Ты уйдешь, салон-вагон уйдет. Ни тебя, ни его. Чудесно обоих нашла и обоих потеряю. Я ничего не прошу — ни ласк, ни клятв. Я не говорю: возьми меня в жены. Не говорю: дай мне счастья; бог с ним, со счастьем. Мне счастья не надо. Но только не уходи. Петр... хотя бы до Екатеринослава. Мы узнаем, мы потом узнаем, куда.

240

Зашипели тормоза, Сестрюков вскинул чемодан, Тоня застегивала жакет, и увидел Гиляров, как она не той петелькой ловит пуговицу.

— Сестрюков, — крикнул он, — подождите. — И глухо сказал Тоне: — Объясните ему... Скажите, что раздумали... пересаживаться в Синельникове.

III

Из Екатеринослава поезда на Харьков не шли: ба-
стовала линия, харьковские телеграммы не доходили.

Одна случайно проскочила с известием, что украинские полки, покидая Север, запрудили все дороги. В городе постреливали на окраинах, ждали погрома, в университете с утра кипел митинг, в двух-трех аудиториях раздавали оружие самообороне. Съездив в город, комиссар снесся со Знаменкой, оттуда ответили, что пока продвинуться можно.

Ночью, при одном фонарике, вдали от вокзала составлялся поезд.

Работали с оглядкой; часть поездной прислуги разбежалась, и помогали офицеры: подталкивали вагоны, неуклюже, но лихорадочно возились с буферными цепями. Работал и Гиляров. Была минута, когда он чуть-чуть не угодил под колеса; похолодел, споткнувшись: «Вот... конец», — и только невольно заслонился рукавом, а поднялся — опять то же небо и те же осенние продрогшие звезды.

Крадучись, погасив огни, точно убегая от врага, или к врагу подкрадываясь, поезд с опаской пробирался по запутанной сети рельс, пока не выскочил на нужный путь и не понесся вдаль, оставляя за собой дымные полосы, вдогонку крики обманутых мужиков и солдат, вокзал, полный распластанных фигур, залитый потом, бабьими слезами, остатками солдатских щей.

Но точно такие же вокзалы побежали ему навстречу, с тем же чадом, с тем же ревом, с той же шелухой от семечек, с теми же заплеванными полами, с теми же грошовыми свечками перед образами, возле которых хныкали дети, переругивались мужики, почесывались переселенцы, и брякали манерками беглецы с фронтов, — обшарпанные, в рваных обмотках.

— Кончено, — сказал Гиляров, входя к Тоне. — Попрошайся с Харьковом. Надолго, а быть может — и навсегда, — и горестно припал к ее руке. — Моя вина. Я должен был настоять в Синельникове. Моя вина — прости.

— Не твоя, не твоя, — поднимала Тоня его голову и искала глаз его. — И не проси прощения. За что? За то, что ты мне помог? Найти себя и тебя? Нет вины, нет виноватых. Милый, милый...

IV

В Знаменке барышня из Клина сбежала.

В ночь перед этим она проплакала до зари, и не только потому, что обманул ее Блос, — о Блосе и не вспоминала, когда в Екатеринославе от одиночества, темени и насторожившейся тишины не знала, куда приткнуться. Прощаясь с Гиляровым (с Тоней не простилась), просила иногда вспоминать ее.

— Не отпускай ее, — говорила Тоня и порывалась бежать за машинисткой, остановить, вернуть ее.

— Пусть, пусть, — удерживал Тоню Гиляров. — Она знает, что делает. Она не пропадет. Она, как крыса, заранее убегает. Она маленькая-маленькая крыса, но жить и ей хочется. Пусть бежит. Она права: мы тонем. Беги и ты.

— Я не крыса, — сквозь слезы улыбалась Тоня и мелкими-мелкими поцелуями, точно крестиками, покрывала Гилярова, — я не крыса. Посмотри на меня, только посмотри, и ты все поймешь. Поймешь, что меня нельзя было отпускать. Поймешь, как безмерно ты наградил меня, поймешь, что спас меня. Ляг, ляг. Я посижу около тебя. Ты сейчас бледен, как умирающий, а я хочу, чтобы ты жил. Я дурная, я знаю: я ненавижу твою революцию, я ненавижу твоих министров. Я... я не понимаю, для чего все это, к чему. Я глупая, я как баба деревенская, но сердце мое чувствует, что нужно тебе, куда надо увести тебя, почему ты такой. Чувствует и не ошибается. И мы уйдем. Вот ты в Бердичеве сдашь дела свои... Ведь ты их можешь сдать?.. Можешь?.. Ну, ответь же мне. Не хочешь? Ну, хорошо, хорошо. Потом, потом ответишь. Господи, какой у тебя лоб горячий. Приляг, приляг. Ни о чем не думай, хоть полчаса. Милый, слышишь, как колеса стучат?.. Ведь это мы едем домой. Мы найдем дом свой, и ты забудешь о кирпичках, как я для тебя все забуду, все, что только захочешь. Тебя и меня везет наш голубенький. Тебя и меня. Слышишь, слышишь, как он стучит: домой, домой!..

V

Покачиваясь, дребезжа, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

А перед ним, за ним, вокруг него гигантской сказочной птицей кружилась октябрьская ночь, одним — черным — крылом осеняя поля, леса, города, окопы и села, а другим — красным — сея по русской, по-старому алчущей нови колдовские семена огней, пожаров, искр, бурь, криков, песен, смерти и вихря для будущих великих всходов нового святого преображения бездны и хаоса.

Глава одиннадцатая

I

В Фастове поезд задержался на полдня.

Человек тридцать пехотинцев в полной походной амуниции, молча, лишь изредка отрывисто переговариваясь промеж себя, отцепили паровоз, без лишних слов избили машиниста и заставили его повернуть назад к Знаменке, забрав десятка два теплушек, переполненных людьми, откуда предварительно усач в желтом чепане, при помощи двоих сподручных в шлепанцах на босую ногу, но в лихо надвинутых мерлушковых шапках, выкинул всех евреев:

— Выходи, бердичевские. Бердичевских не надо.

В лужи летели подушки, узелки, свертки, тут же исчезая по рукам, и возвращались в те же теплушки, но уже к новым владельцам. Толстый, старый еврей вцепился в край теплушки и повис над рельсами, — задралась брюки поверх глубоких галош, показывая клетчатое цветное белье, наземь упал порыжевший котелок, и разметались по ветру седые волосы. Ловя за ноги, один из сподручных тянул его вниз; две еврейки барахтались у стрелки и, плача, путались в юбках; у одной

на затылок сползал парик; неподалеку стоявшая баба в нарядной плахте хлопала себя по бедрам и повизгивала от восхищения. Кружились редкие снежинки и таили, не доходя до грязной, черной земли, повитой криками спотыкающихся детей, стонами слепо мечущихся женщин.

Паровоз засвистал — желтый чепан напоследок пинком повалил в лужу еврейку с бубликами, веером разлетелись бублики. Подхватывая их, сподручные зашлепали к вагонам; в одном из них солдаты запели «Марсельезу», — поезд тронулся.

— «Отречемся от старого мира», — выводили удаляющиеся голоса; старик еврей ловил свой котелок.

В окне салон-вагона стоял Гиляров и, как ни упрашивала Тоня уйти, не отходил, щурил глаза, мямл занавеску и твердил:

— Я все должен увидеть. Вот ты просишь уйти с тобой. Надо же, чтоб перед уходом все запечатлелось. Вот тут. — И взяв ее руку, прикладывал к сердцу. — Тут... Потому что в голове давно уже мутно. Мутно, родная. А ты и мутную голову будешь ласкать? Будешь? И успокоишь ее? А вот кто эту девочку успокоит? Вот эту евреечку? Видишь, как она за стенку хватается? Кто ее утешит, рыженькую? Есть, рыженькая, утешение. Лет через пять-десять у всех будет курица в супе. Терпи, терпи, рыженький цыпленок. А ее мы тоже возьмем с собой домой?

Сестрюков возился с заслонами, Панасюк в кладовке зарывал в мусор министерский сервиз, сворачивал ковры, все гадал, куда ему приткнуть их, лез за советом к Сестрюкову, а Сестрюков, кряхтя над болтом, сердито отмахивался:

— Да плюнь ты на ковры. Ты лучше о живой душе подумай. Куда нам барышню деть? Ну-ну, времечко.

И опять протянул Панасюк, как в мартовские дни, когда растопились снега и переливчато, звонко и бодро зашумели весенние молодые потоки:

— Мм-дд-аа, достукались.

II

В Казатине Гиляров послал свою последнюю телеграмму в Петроград, — Петроград молчал.

От Бердичева, с фронта, с позиций грядями катились к северу солдатские волны, то целыми эшелонами, то отрядами, то отдельными кучками, побросав окопы, в сторону отойдя от войны. И как гремели пустые манерки, и стучали приклады теперь уже будто ненужных винтовок, разносились по насыпям, по рельсам, по мостам, по вокзалам охрипшие голоса: «Домой. Домой».

За Казатином на разъезде сухонький артиллерист собирал вокруг себя шинели и случайным свиткам махал рукой:

— Подходи, товарищи. Ноне нету никаких разниц. Что мужик, что солдат, — все за одно. Солдат по барину, мужик за солдата. Повоевали на чужой карман, а все пусто. У Киеве народная республика. Есть телеграмма. Без господ, ефрейтор — губернатор. Есть телеграмма. Без обману, замирение и прочее. Подходи, подходи, мужички. Ноне все за одно.

На пути к рязанским, воронежским, московским деревням сметались, точно вихрем, вокзальные лари, будки, опрокидывались вагоны, откатывались локомотивы, дотла очищались еврейские хибарки, присоседившиеся к станциям, и по избам тех же русских деревень хозяйничали туляки, костромичи, залезая в квашни, шаря по печам, швыряясь ухватами, давя кур, топча огороды и пашни.

III

Петроград молчал — и только в Бердичеве узнал Гиляров, почему он замолк.

В штабе, у стола командующего, за картами с флажками, теперь лишними, точно детские игрушки в разгромленном доме, он окончательно понял, как развер-

нулась водверть, куда она закинула концы свои, на что размахнулась, кого втянула в свою могучую воронку.

Презрительно, почти с отвращением поглядел он на присутствующих, когда те убеждали не ехать в Щепетовку и равнодушно мямлили то о бессилии, то о том, что надо переждать, пока «безумцы опомнятся», и, получив нужный ему приказ к коменданту бердичевского вокзала, вышел не попрощавшись.

Из штаба он подошел к Центральной гостинице, о чем-то условился со швейцаром и поехал к себе. Густо падал снег и плотно залеплял опустевшие улицы, заколоченные магазины, одиночных прохожих, при стуке пролетки бросающихся с тротуара к стенам домов, словно под защиту, а дома тоже прятались за ставнями и тоже нуждались в помощи, и не было ее ни для тех, ни для других.

Подъехав к вокзалу, Гиляров велел извозчику не уезжать и ждать его.

Весь запушенный снегом, Гиляров прошел к Тоне, — Тоня спала.

Он нагнулся к ней, и упали на нее с фуражки, словно лепестки неведомых, но прекрасных цветов, несколько снежинок. Тоня со сна провела ладонью по лицу, вздохнула, но не проснулась. И долго стоял Гиляров, глядя, как, пошевелившись раз, затихали пальцы на порозевшей щеке. Потом осторожно и нежно разбудил ее:

— Вставай, Тоня. Надо укладываться, извозчик ждет. Я сдал все свои дела.

246

Все падали вещи из рук, когда Тоня укладывалась: не слушались в один миг ошастливленные руки, не знали, за что раньше взяться, а Гиляров присел к столу с карандашом и блокнотом.

Кончив писать, поманил к себе Сестрюкова и заперся с ним в купе; выпуская его, вдруг опять втянул его в купе, с силой взяв его повыше локтя:

— Так как, довезешь ее до Питера?

— Довезу. Как бог свят, — багрово вспыхнул Сестрюков и даже перекрестился.

— Не забудешь адреса?

— Ваше благородие... — внезапно сорвалось у Сестрюкова. — И вы бы...

— Что? Что?

— Невский проспект, 35... — невнятно пробормотал Сестрюков и попятился к двери.

В коридоре Тоня, уже одетая, с сумочкой через плечо, остановила Гилярова и смущенно спросила, не будет ли он смеяться, если она попрощается с зеркалом, с голубеньким, и Гиляров нашел в себе силы не только приветливо и светло улыбнуться ей, но и сказать, что это даже надо, что и он попрощается с ним, как с близким, любимым человеком. Тоня обходила все уголки и кивала:

— Прощай! Прощай!

Еще раз мелькнули в трюмо удлинненные, повеселевшие глаза. Мелькнули и исчезли навсегда.

IV

Сестрюков и Тоня усаживались в пролетку; Сестрюков двигал желваками и отворачивался.

— Где тебя ждать? — спрашивала Тоня.

— В Центральной, — отвечал Гиляров, пригнувшись копался на дне пролетки, укутывал пледом заплатаемые белые туфельки. — Я снял номер. Сестрюков знает. Ну, с богом.

Пролетка заскрипела по снегу, а вскоре замело и колеи проложенные и черное, все уменьшающееся и уменьшающееся пятно.

Гиляров на одну минуту, только на одну минуту прислонился к фонарному столбу — и прошел в комендантскую.

Часа через два салон-вагон с небольшим составом платформ отошел на Щепетовку; еле-еле плелся поезд, потрепанный паровоз задыхался, отдыхал на каждой версте, Панасюк завалился спать.

Гиляров снимал заслоны с дверей и по белым полям скользил тупым взглядом, и, как поля, мертвенно-чисто было лицо его.

А в Щепетовке салон-вагон как врезался в солдатскую гущу — так и застрял там.

В Щепетовке ловили офицеров и мимоходом громили станцию.

И когда один из убегающих, волосатый генерал со шрамом поперек лба, завидев голубой салон-вагон, четко выделявшийся среди плоских платформ, кинулся к нему, в нем усмотрев неожиданное спасение, каблуками отбиваясь от цепких рук, растянутых кричавших ртов, красных, похожих на развороченные помидоры, а Гиляров, рванув дверь к себе, с верхней ступеньки поймал генерала за шиворот, уперся обеими ногами в железную обивку и втопил его на площадку, — один и тот же приклад обрушился и на него, и на генерала.

Потом оба лежали на снегу, рядом, плечо о плечо: Гиляров и генерал со шрамом от порт-артурской раны — оба в шинелях защитного цвета, оба запрокинув разmozженные головы к небу, откуда не переставая сыпались мохнатые хлопья и одним белым покрывалом крыли алую кровь, скудную землю и голубой салон-вагон.

А в этот час в номере бердичевской гостиницы, где выцветшие драпри тщетно пытались приукрасить убожество сырых стен, облезлых пуфов и колченогих стульев, Тоня читала письмо Гилярова на двух листиках из блокнота, с неровными в зубцах краями.

Как некогда в дни кремовых трубочек и писем об азаниях, старый проводник Сестрюков взял на руки барышню Тоничку, поднял ее с полу и понес к дивану...

V

А на следующий день, 30 октября, салон-вагон повез председателя военно-революционного комитета Н-ской армии в штаб фронта.

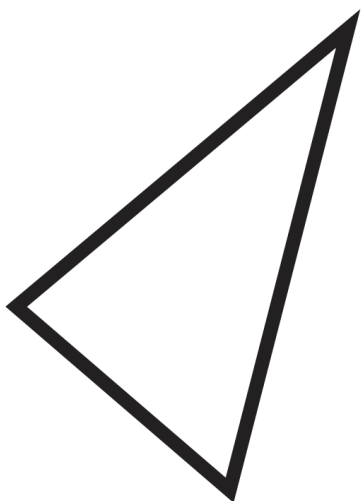
Высокое зеркало по-прежнему невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина — приземистую, крепко сколоченную, и каштановую прядь волос из-под папахи, вбок надетой, и наган без кобуры за поясом,

и гимнастерку на выпуклой груди, и вздернутые брови над смышленными, молодыми и слегка лукавыми глазками.

Но так как зеркало было надтреснуто крест-накрест — от сильного удара, после того как убили комиссара, и солдаты ринулись в вагон, — то и отражение получилось неверное, словно на несколько частей расколотое.

Коктебель, 1919 — Одесса, 1920—1921.

Александр
Малышкин



Падение Даира

I

252

Керосиновые лампы пылали в полночь. Наверху, на штабном телеграфе, несмолкаемо стучали аппараты; бесконечно ползли ленты, крича короткие тревожные слова. На много верст кругом — в ноябрьской ночи — армия, занесенная для удара ста тысячами тел, армия сторожила, шла в ветры по мерзлым большакам, валялась по избам, жгла костры в перелесках, скакала в степные курганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь черной скалой, лег перешеек в море — в синие блаженные островные туманы. И армия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими ползучими постами.

Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов, Республика, кричащая в аппараты, гул сотысячных орд в степи; это развернутый, но не обрушенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров.

В штабе армии, где сходились нити сотысячного, за керосиновыми лампами работали ночами, готова удар. Сотысячное двигалось там отраженной тенью по веерообразным маршрутам — на стенах, закругляя щупальца в хищный смертельный сдав. Молодые люди в галифе ползали животами по стенам — по картам, похожим на гигантские цветники, отмечая тайные движения, что за курганами, скалами, перешейками: они знали все. В абстрактной выпуклости линий, цветов и значков было:

громадный ромб полуострова в горизонталях синего южного моря. Ромб связан с материком узким двадцатипятиверстным в длину перешейком;

в ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая нить суши от ромба к материку, прерванная проливом по середине;

на материке перед перешейком цветная толпа красных флажков; N армия, и красные флажки против тонкой прерванной нити — соседняя Заволжская армия; и против той и другой — с полуострова — цветники голубых флажков: белые армии Даира.

Путь красным армиям преграждался: на перешейке Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими инженерами, — это делало недоступной обрывающуюся на север, к красным, террасу; перед Заволжской армией — проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррикадирован кошмарной громадой взорванного железнодорожного моста. За укреплениями были последние. Страна требовала уничтожить последних.

Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.

И минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм N, взявший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника. В ветхих скрипучих переходах штаба, ведущих на телеграф, отголосками — через стены выл ветер, переминались и шатались деревья, черным хаосом скакала ночь! И казалось, с облаками бурь, с гуломдвигающихся где-то масс затихли и стали времена в вещем напряжении...

От командующего фронтом

«Секретная. Вне всякой очереди. Командармам N-й, Заволжской, Конно-Партизанской.

Дополнение директиве приказываю:

Перейти наступление рассвете 7 ноября.

Заволжской армии произвести демонстративные атаки переходимый вброд Антарский пролив, дабы привлечь себе внимание и силы противника.

N-й армии, усиление коей переданы две конно-партизанских дивизии, прорвать укрепления Даирской террасы, ворваться плечах противника Даир и сбросить море.

Конно-партизанской армии двигаться фронтовым резерве; N-й армией стремительно выдвинуться полуостров и отрезать отход противнику к кораблям Антанты.

Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника».

Из кабинета командарма отрывистый звонок летел в оперативное.

— Ветер?

Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись к телефону.

— Северо-западный, девять баллов.

Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ироническую улыбку: над теми, дальними, что за террасой. Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.

И начальник штаба бежал с приказом из кабинета на телеграф. В приказе было: начать концентрацию множеств к морю, к перешейку; нависнуть молотом над скалой... Аппараты простучали в пространства, в ночь — коротко и властно.

А в ночи были поля и поля: земля черная молча лежала. Дули ветры по межам, по невидимому кустарнику балок, по щербнистым пустырям, там, где раньше были хутора, скошенные снарядами, по дорогам, истоптанным тысячами тысяч — теперь уже умерших и утихших — по дорогам, до тишайшей одной черты, где лежали, зарывшись в землю, живые и сторожкие; и впереди в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда дули ветры.

И все-таки в черной ночи, впереди, видели — не глаза, а что-то еще другое — темный, от века поднятый массив, лютый и колючий; и за ним чудесный Даир — синие туманы долин, цветущие города, звездное море...

Но так казалось только: за террасой чудес не было, а те же лежали поля. За террасой в пещерах и землянках сидели и курили люди в английских, шинелях, с медными пуговицами и в погонах; смеялись и разговаривали, кое-кто дежурил у телефонов: такие же живые люди. Но к ним шло безглазое и страшное, страшное молчанием — из-за террасы, с черных полей, где кто-то присутствовал и выжидал и ехидно полз. И нависло так: вот еще миг и вдруг погаснут смех и разговоры и коптилками освещенные стены; и вот а-а-а-а!.. кричать, зажать голову, лицо руками, бежать прямо туда — в ужас, в безглазое и поджидающее, подставляя под удары, под топоры мозг, тело...

И дальше по дорогам на юг; за деревушки, еще не спящие; за пылающие огнями станции, со скрипящими составами поездов, полными солдат в английских шинелях; за платформы станций, где лихорадочно ждут поездов люди и с поездами угромыхивают в темь — все дальше шло это: безвестьем, ползучей тоской.

И вот, гудя в туннелях — с поездами — катилось еще дальше на юг, где глухо и веще стучало море в обрыв, и тысячами пожаров стояли пространства, пронизав ночь. И там — ...

...гудящая циркуляция площадей — в пылании светов; шелесты шин щегольских авто, и грудные гудки, и звон скрежывающихся в голубых иглах трамваев, и лязг рысачьих копыт, и во всем пронизывающие токи толп, вперед — назад, выбрасывающие под светы низких солнц плосковатые, припудренные светом лица, ищущие глаза, сонные, прогуливающие скуку глаза, безумные глаза

и еще — с пролетки — очерченные карандашом, увядающие и прекрасные. И все несло — в фасады — в аллеи каменных архитектур — в кипящие ночным полднем пространства — в сонмы бирюзовых искр и взошедших солнц.

Даир.

Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылающих изнутри, сбежали, сходили и снова восходили, рождаясь и тая в кипучем движении панелей: красивая из кафе, с румяной ярью губ, гордо несущая страусовое перо на отлете, и этот — бритый заветренный ротмистр, с выпуклыми, изнуренными и жесткими глазами, волочащий зеркальный палаш, и вон тот, пожилой, тучный, в моднейшем сером пальто и цилиндре, с выпяченной челюстью сладника, обвисший сзади багровым затылком — и еще — и еще —

— охваченные водоворотом, грохотами ночного полдня, где сквозь безглубую, слепую от светов высоту кричала со стены небоскреба огненным РОСКОШНЫЙ ВЫБОР... М-СЬЕ НИВУА... ПОСТАВЩИК ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ... СПЕШИТЕ УБЕДИТЬСЯ... шли мимо ослепительных витрин, где изысканно-скудно разложено матовое серебро, утонченные овалы вещей, которых будут касаться пресыщенные, ничего не хотящие руки владык; где сыплется мерцание камней, уводящих очарованные глаза в лучезарные осверканные сферы — и вот мимо этих, неживых обольстительных восковых, с чересчур сказочными ресницами и щеками — с этих дышит шелк, как дыхание, как Восток — и мимо окон озер, разливающихся ввысь стройно — до ноябрьских южных звезд — «ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ»: — под налетом влажной пыльцы тускнеет виноград, пухнут коричневые круто-сбитые груши, и корзины оранжевой земляники и алого, прохладного, горьковато-весеннего... и все мимо шли — к перекрестку: там оплеснутая огнями, светилась над зыбью многоголового карикатура знаменитого «ТРИУМФ».

На ней:

с круглым обритым черепом, приплюснутым до бровей, с исподлобным сверканием маленьких звериных глазок, шел некто в скомканном картузе со звездой, в рваной шинели и чугунно-тяжких ботах. Немного нагнулся, оскалив зубы, приподнял винтовку, высматривая кровь.

И черепа, черепа скалились, мостились грудами — впереди и сзади и под чугунной, поступью ботов; по черепам шел он из далей — плосколобий, кровавый, сторожкий...

Из ночи, из улиц прилиwała глазеющая зыбь. Стыли раскрытые рты, разверстые неподвижные зрачки, восковые от голубых светов лица. Сзади, обходя толпу, заглядывали, привстав на цыпочки, еще: мимойдущие. На цыпочках безглазое ползло в свет, в улицы, в улыбки — щемью, дикой тоской...

— Не придут, где там.

— Союзные инженеры работали. Теперь — миллионы положи, не возьмешь!

— Пускай эти Ваньки попробуют, хе-хе!

— А слышали? Говорят, будто...

— Что вы, что вы!..

— Тише, это ни-ко-му... Ужас... ужас!..

А на улицах шли и бежали люди, словно торопясь за счастьем, по двое таяли в бульвары, где просвечивал звездный ход волн. Высоко на мутной стене небоскреба огненным прожектором кричало:

Сводка штаба главнокомандующего.

«Атаки красных на твердыни Даирской террасы легко отражаются артиллерийским огнем.

На всех фронтах спокойно».

II

В селе Тагинка штабы двух дивизий: Железной, численностью и обилием вооружения равняющейся почти армии; неделю назад дивизия, выполняя директиву командарма N, разбила белый корпус и захватила восемь танков, и Пензенской — эта дивизия, окровавленная и полууничтоженная, зарывшись в землю, принимала на себя удары врага, пока Железная сложным обходом выполняла маневр.

В школьной избе, в штадиве Железной, в присутствии начальников дивизий и штабов, командарм излагал план операции.

Противник имел численно меньшую армию, но эта армия была сильна испытанным офицерским составом

и мощью усовершенствованной военной техники. У красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних, и хитрость культур.

Армия противника стояла за неприступными укреплениями террасы, пересекающей все пути на полуостров. Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за террасу — уже значило победить.

Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника — обратилась бы в груды тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.

Дули северо-западные ветры. По донесениям агенты, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Ринуть множества в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка — проволочить туда же артиллерию — обрушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни —

— Надо спешить, пока ветер не переменялся и вода не залила пространств, — сказал командарм. — Общее наступление назначаю в ночь на седьмое ноября. Остальные части армии одновременно атакуют террасу с фронта. Если так — мы прорвем преграду с малой кровью.

Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, тощий, впалогрудый, похожий на захолустного дьякона (он и был дьяконом до войны), заволновался и замигал.

— План верный, товарищ командующий, что и говорить, а мои ребята хоть и через воду — все равно перепрут. Только я, ведь, докладывал: разутые, раздетые все, как один. Железная после операции вся оделась — они, изволите видеть, первые склады захватили! А за что мои страдали? Как?

— Относительно обмундирования мне известно, — сказал командарм, — но нет нарядов из центра. И вообще... У Республики едва ли есть. За террасой все оденутся!

Он встал каменный, чуждый мирным сумеркам избы.

— Оперативных поправок нет?

Очевидно не было: все молчали. План был принят — он висел над глухой сосредоточенностью полей. В них снилась невозможная горячая ночь.

В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и люди.

Командарм вышел на улицу.

В сумерках, жидко дрожавших от множества костров, шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая огоньками сигарок. Земля гудела от шагов, от гнета обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах набились вповалку, до смрада: в колеблющейся тусклости коптилок видно было, как валялись по лавкам, по полу, едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами, у коптилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там сидели и лежали, варили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, присаживались испражниться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, галдели распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из дверей. Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века.

Командарм подошел к костру. На колодах кругом сидели несколько; кто-то, сутулясь, мешал ложкой в котелке; обветренный и толстомордый парень, оголившийся до пояса, несмотря на мороз, озабоченно искал в лохмотьях вшей и бросал их в костер; и у костра лежал пожилой, в австрийской шинели и кепи, глядя на огонь из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще безликие. Сколько бездомных костров видели они в далеких затерянных скитаньях... Из тьмы подошел командарм, на него взглянули мельком: велик мир, бесконечны дороги, много людей подходит к бездомным кострам... Полуголый рассказывал:

— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески, туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней эти самые элемент в енотовых шубах, которые бородки конусами: со всей России туда набежались. А богачества-а-а! Что было при старом режиме, так теперь все в одну кучу сволокли!

— И опять они хозяева, — сказал лежачий от костра.

Полуголый обозлился и хлестнул об землю лохмотьями.

— Хозяева, в душу иху мать!..

— Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь!

— До-мо-ой!.. А ежели вот у этого, — парень ткнул пальцем в пожилого в кепи, — и дома-то нет, кругом один тернаценал остался? Што?

Лежавший поднял на него мутные добрые глаза.

— У бедних дому нема. Една семья, една хата — интернационал.

— Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и заржал. — Все книжки читашь, умна-ай!

Сутулый от котелка хихикнул.

— А ты, Микешин, все больше насчет жратвы? Имна-стерка-то где? Ох, и жрать здоровый, чисто бык!

— Верно, что бык, — отозвались лежавшие.

— У нас у деревне у дяде бык был, такой же на жратву ядовитый, так уби-или!

— Ха-ха-ха!..

Микешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозубый рот.

— Вот когда в Цаплеве стояли, — сказал он, — так кормили: пошенишный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма. Вот кормили! А теперь народу нагнали, братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых пощупам, погоди, погуля-ам!..

Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась: в нагретой стуже:

— Боже ж, какая есть сторона!..

— А, може брещут, — хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно.

Сутулый исподлобья взглянул на командарма, греющего руки над костром, и спросил:

— Вот вы, може, ученый человек будете, скажите: правда ли, если мы этих последних достанем, так там столько добра напасено, что, скажем, на весь бедный класс хватит? Или как?

Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил.

Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...

Из потемок оглянулся: у костра сели в кружок около полуголого, хлебали из котелка, говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чудесной стране Даир. В избах хлопали двери, кто-то, оберегая смрадное тепло, кри-

чал: «Лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?..» За околицей, в темном, цвела чудесная бирюзовая полоса от зари; в улицах топало, гудело железом, людьми, телегами, скотом, как в XII столетии. И так было надо: гул становой, двинутых по дикой земле, брезжащий в потемках рай — в этом было мировое, правда.

III

Целый день шли войска.

С рассвета двинулись конно-партизанские дивизии. Запружая дороги, лавой катились телеги с пулеметами, мотоциклетки, автомобили со штабами и канцеляриями, подтрясывались конные с пиками, винтовками и палицами, высматривая зорким озорным глазом, нет ли дымка за перевалом. И если показывался дымок, деревня — сваливалось все в кучу, задние слету шарахались на передних: начиналась дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками «дае-о-ошь!». В улицах, сразу пустеющих, сползали на скаку брюхами с лошадей, жгли наскоро костры, шарили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую пыль.

Впереди скакал слух: конные идут.

У мостов еще с ночи стояли мужики с подводами: через мосты было не проехать, надо было ждать, когда схлынет волна... Мужики обжились, распрягли лошадей, варили в ведерках снедево, спали, а то прохаживались, переругиваясь от тоски. Сзади подъезжали еще; останавливались; гомоном, ярмарками кишело в полях у мостов.

От Тагинки примчались и тут же круто застопорили армейские автомобили. С машин гудели в упор, в едущих, сильными пугающими гудками; адъютант бежал по мосту, едва не попадая под ноги лошадям, кричал, потрясая револьвером — но безуспешно: глухая сила хлестала через мост, спершись стеной и не пропуская никого. Черноусый в бурке нагнулся с седла к командарму и, дерзко подмигнув, крикнул:

— Посидишь, браток! Закуривай! Га!..

С трудом рванулись из клокочущих летящих лав назад — к Тагинке, чтобы взять в объезд. И сразу обе маши-

ны ринулись, словно спасаясь, — и сразу рухнуло гиком, засвистело сзади и заревело тысячами горл; отставшие неслись, нахлестывая лошадей, на автомобили, на близкий дымок. Командарм оглянулся: оторвавшись от толп, падали в зияние дорог автомобили, за ними, словно предводимое вождями, несло облако грив, пик и развевающихся в ветер отрепий. Ревели дико и пугливо машины вождей; мчалась ножовщина, сшибаясь друг с другом осями, сворачивая плетни и ветхие палисадники, улицы тонули в звякающем железе, вопле бубнов, визге лошадей. Командарм силился подняться, его сбивало ветром — в ветер, в гик злобно кричал:

— Молодцы! Блестящая кавалерийская атака!..

Селом зачертили машины — в пустые пролеты — в степь. Из штаба дивизии глядели недоуменно; в штабе бросили работу, липли к окнам: все хотели увидеть знаменитые полки, овечьные ужасом и красотой невероятных легенд. Пылью и гомоном крутило улицы. За пылью и гомоном в полдень разграбили дивизионный склад с фуражом, гикая, метались по задворкам, высматривая у мужиков и по штабным командам лошадей: которых посылее брали себе, а взамен оставляли своих, мокрых и затерзанных скачкой. То и дело запыхавшиеся прибегали в кабинет к начдиву — доложить; в кабинете топали ногами, материли в душу и в революцию, — улицы крутило пылью; гоготом, стоном; дьяволы мчались, скалясь на штаб.

В переулке остановили вестового Петухова, подававшего лошадей комиссару: в лакированную пролетку переложили молча пишущую машинку и пулемет, поверх всего посадили рябую девицу в шинели и велели ехать за собой.

Петухов было фыркнул:

— Ну-ну, шути да не больно!.. Я тебе не собачья нога! Я от комиссара штаба, за меня ответишь, брат!..

В это утро выряжен был Петухов в новый френч и галифе, нарочно без шинели — на зависть тагинским девкам, и ехал с фасоном — держа локти на отлет. Конные оглядели его озорными смеющимися глазами и фыркнули: «Вот фронтовик, а!..» Черноусый в бурке подскакал, танцую на коне, по-кошачьи изловчился и переел лошадей нагайкой.

— Га!..

Лошади встали на дыбы, упали и понесли. И сзади тотчас же загикало, засвистало, рушилось и понеслось стеной — вот-вот налетит, затопчет, развеет в пыль. В глазах помутилось. «Несут, ей-богу несут», — подумал Петухов, закрыл глаза, сжал зубы и вдруг — не то от злобы, не то от шальной радости — встал и надвернул еще раз арапником по обеим лошадям...

— Держись! — завопил он в улюлюканье и свист. — Разнесу! Расшибу, рябая бандура!..

Так и унесло всех в степь.

Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных улицах, грудясь у котлов, наедались на дорогу; котлы и рты дышали паром; костры стлали мглу в поля. А небо под тучами гасло, день стал дикий, бездонный, незаконченный; тело отяжелело от сытости, а еще надо было ломить и ломить в ветреные версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески, туманны горы?

Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к впалоглазому в кепи, лежавшему у завалины с книжкой, и сказал тоскливо:

— Юзеф, што ты все к земле да к земле прилаживаешься? Вечор тоже лежал... Тянет тебя, шло ли? Нехороший это знак, кабы не убили.

Юзеф слабо улыбнулся из-под полузакрытых век.

— А что же, у меня никого нема. Ни таты, ни мамы. За бедних умереть хорошо, бо я сам быв бедний.

За околицей налегло сзади ветром, забираясь под шарф и под дырявый пиджак. Микешин глядел на шагающего рядом Юзефа: и о чем он думает, опустив в землю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру кругом в незаконченном дне, в бездонных насупленных полях — о чем?.. В дали, в горизонты падали столбы, ползли обозы, серая зернь батальонов, орудия. По дорогам, по балкам, по косогорам тьмы-тем шли, шли, шли...

И еще севернее — на сотню верст — где в поля, истоптанные и сожженные войной, железными колеями обрывалась Россия — ветер стлал серой поземкой по межам, по перелескам, по льдам рек голым еще и серым — где в степных мутях свистками и гудками жила узловая станция — кишел народ, мягый, сонный, немыйтый, валялся на

полям и на асфальте; на путях стояли эшелоны, грузные от серого кишачего живья и платформы с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы N армии на юг, к террасе.

И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: даешь Даир! Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы с бывлым обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и запаутинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, живело и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города на юг; телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир.

Из грязных теплушек валил дым: топили по-черному, разжигая костры на кирпичачах, прямо на полу и, когда холодно, ложась животом на угли. Но чем южнее, тем неузнаваемей и чудесней становилось все для северных — обилием былого, уже затерянного в снах; а на узловой станции, преддверии юга, продавали давно невиданное — белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, засиженные копотью, сбегав куда-то, возвращались и, задыхаясь, кричали в вагоны своим: «Братва, айда, здесь вольная торговля, ий-богу!» — «А де ж базар?» — «А там за водокачкой...» За водокачкой стояли телеги с мясом и тушами, бабы с горшками и тарелками, в которых было теплое — жирный борщ с мясом, стояли с салом, коржами, молоком, буханками пшеничного... И из эшелонов бежали туда косяками с бельем, с барахлом, навив его на руку для показа; и тут же сбывали за водокачкой и проедали, садясь на корточки и хлебая теплый борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки. В вагонах уборных не полагалось, и, ослабленные, распертые от обильной пищи, лезли тут же под тормоза и в канавы.

Поезда шли только на юг, на север не давали паровозов силой. Едущие на север жили на станции неделями, обносились, проелись, обовшивели, очумели от долгого лежанья по перронам и полям, но надежды уехать все-таки не было. Напрасно представитель Военных Сообщений,

черненький, ретивый, в пенсне и кожаном, бегал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратами в телеграфной, писал, высунув язык от гонки: на Узловой пробка, на Узловой катастрофическое положение и саботаж, самовольная прицепка паровозов, угрозы оружием — «прошу виновных привлечь к суду Ревтрибунала, единственная мера — расстрел»... напрасно с пеной на губах кричал озлобленной, понурой и голодной толпе, ловившей его на перронах, что первый же паровоз — тот, который подчиняется сейчас в депо, пойдет на север — все шло своим чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукоснительном и чудовищном ударе на юг. И на паровозе — предназначенном на север и чистящемся в депо, кричало уже на чугунной груди мелом: даешь Даир! — у депо дежурили суровые и грубые с винтовками наперевес: ждали. И на перронах ждали, глядя в провалы путей жадными, впальми и полубезумными глазами — видели только муть, тоску, безнадежье...

А в отяжелевших от сытости эшелонах ухало и топало. Из дверей черный ядовитый дым полз на пути, в дыму кричали:

— Ох-ох-ох! Безгубный шинель загнал! Полпуда сала, три четверти самогону! Гуля-ам!

Чумазый плясал над дымным костром распоясанный, с расстегнутым воротом гимнастерки. В теплушке словно медведями ходило.

— Крой, Безгубный! Ах, ярь-пески, туманны горы! Зажаривай! Не бойсь, там те и без шинели жарко будет!..

— На теплы дачи едем!..

Из депо выкатывался паровоз, тяжело пыхтя, машинист, перегнувшись над сходней, курил и хмуро ждал. Платформу запрудили едущие на север с мешками, с узлами, зверели, толкались кулаками и плечами, пробираясь к путям, чтобы не опоздать и не умереть. Ждавщие с винтовками вывели паровоз на круг, схватились за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Начальник эшелона вынул наган из-за пояса и сказал машинисту: «Веди к эшелону на одиннадцатый путь». Машинист хотел протестовать, но подумал, бросил с сердцем окурков и повел. Помощник успел сбежать.

По эшелону обходом кричали:

— Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!

— Вали Безгубного, он летось у барина на молотилке ездил, всю механизму знает! Погреется заодно без шинели-то!

— Без-губ-на-а-а-ай!

Паровоз стал под эшелон. На платформах завывло: обманутые материли, махали кулаками, выбегали на рельсы, дребезжали по стеклам станции, грозя убить. Черненький бегал вдоль вагонов, терял пенсне и истушенно кричал:

— Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спугали, вы подводите под катастрофу всю дорогу! Помните — это даром не пройдет!.. Я по проводу в Особый Отдел!

— К чорту! — отмахивался начальник эшелона. — У меня боевой приказ в двадцать четыре часа быть на месте — плевал я на ваши графики. Дежурный, отправление!

— Расстрел!.. — вопил черненький.

В эшелонах зазвякало, задребезжало, рывкнуло тысячетым «ура» и пошло всей улицей.

— Дае-о-о-о-ошь!..

На подъеме за станцией паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был не под силу. Распоясанные выскакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ногтями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтоб не скользило; ухаки, подталкивали, подпирая плечом, и в то же время откусывали от пшеничной буханки и пропикивали за отторбученную щеку.

— Гаврило, крути! Ташши, миленок!

— Безгубна-а-ай, поддава-а-ай!..

— Го-го-го!.. Гаврюша, крути!..

— Ташши!..

В перелески, в мутную поземку волокли красную громадину плечами, а впереди черный, с налитыми огнем глазами, натужно пыхтел, крича хриплыми гулами в степь: дае-о-о-ошь!..

IV

И за террасой готовились. В Даире провожали на фронт эскадрон, свою надежду, самых храбрых и блестящих, чьи фамилии говорили о веках владычества и славы.

Наутро они уходили в степи — к конному корпусу «мертвецов» генерала Оборовича, — того, который сказал:

— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Был незабываемый вечер в Даире. Он вставал бриллиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег. Музыка оркестров опевали вечер; бежали токи толп; женские нежные глаза покоренно раскрывались юным — в светах мчавшихся улиц, в качаниях бульварных аллей. В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк, юные проходили по асфальтам, надменно волоча зеркальные палаши за собой; в вечере, в юных была красота славы и убийств. И шла речь; во мраке гудело море неотвратимым и глухим роком; и шла ночь упоений и тоски.

Был круговорот любвей; встречались у витрин, у блистающих зеркал Пассажа, в зеленоватых гостиных улиц, у сумеречных памятников площадей. Девушки на ходу протягивали из мехов тонкие свои драгоценные руки; звездные глаза смеялись нежно и жалобно; их увлекали, сжимая, в качающуюся темь бульваров, голос мужественных, тоскующих шептал:

— Последняя ночь. Как больно...

Горя хрустальными глазами, метеорами мчались авто — через гирлянды пылающих перспектив — во влажные ветры полуостровов, — с повторенными в море огнями ресторанов (там скрипка звенит откликом щемящего разгула...), в свистящий плеск ветвей и парков. Сходили в мать, в обрывы, там металось довременное мраком,нося отраженные звезды, шуршали колеблемые над ветром покрывала. Прижимались друг к другу холодноватыми от ветра губами, полными улыбок и тоски, и волны были сокровенны и глухи, волны бросали порывом это хрупкое, драгоценное в мехах к нему, уходящему, и девушка, приникая, шептала:

— Мне сегодня страшно моря... Я вижу глубину, она скользкая и холодная...

И он, может быть, этот, ушедший с любимой к морю, — может быть другой — там, в городе, у сумеречного памятника, может быть, еще третий и сотый — в ослепительных зеркалах ресторанов — повторял, торопясь и задыхаясь:

— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь — жить. Мы выпьем жизнь ярко! Ведь, любить — это красиво стореть, забыть все...

И девушке вспомнилось: та полночь, от которой, спасаясь, бежали... в полночи красные тени зарев, треск ло-

маемых дверей, хриплые крики орд, смрадный угол под забором, где просидели, дрожа с бонной до рассвета, глянувший в глаза ужас, ужас и смерть — о, как остро и жадно поняла тогда, что значит: жить! И бездонно усмехнулась в глаза.

— А это жутко?

И снова в туманы, теплые и влажные, кричала сирена, летели, валясь назад, загородные кварталы, трущобы бедноты и керосиновых фонарей. А влажные туманы просвечивались и утончались; раздвигались; рос и ширился в золотистом зареве ночной полдень улиц; раздвигались перспективы и туда, ринувшись, потеряв волю, мчались машины — в арки громадных молочно-голубых сияющих шаров.

Это Доре.

Замедлен лет плавных крыльев; еще толчок — и стали, качнув бриллиантовую эгретку. И еще, и еще, обегая полукруги, стекались авто; убежали; спархивали, стопывали на асфальт засидевшиеся телеса, ловко оталиенные цилиндры, плюмажи миссий, драгоценные манто, аксельбанты сиятельных: туда — в кружащиеся монументально зеркальные зевы.

Уютный подъем лестниц, сотворенных из ковров, растений и мягких сияний; утонченно почтительные поклоны лакеев, перехвативших на лету крошечное пальто бритого, тучного, с обвислой сзади оливковой шеей; у зеркал на повороте краткая остановка блистающей подруги, и за ней причмокивающий, щурящийся через монокль взгляд того, с выпяченной челюстью — в атласный вырез, в розовую роковую теплоту.

Спутник сжал рукой палаш: «Наглец!» — хотел крикнуть он, но девушка умоляюще, нежно сжала локоть: «Это же известный... парижский... Z...» — Офицер почти приостановился, подавленный: это качались на лакированных носках, шаловливо посмеиваясь, сумасшедшие алмазные россыпи, мировая нефть... Надо было улыбнуться, хотя бы дерзко, но любезно — в прищуренный испытующий монокль, в бриллиантовую запонку пластрона — мы не варвары, мсье!

И за портьерой открылись:

в звонах и светах, замкнутых сияющими плафонами пространств, вселенная блестящего: проборы, орхидеи,

белые снега грудей, бриллианты, голое плеч, летящие в блаженную беспечность выдохи сигар, смех и говор беспечных. В берегах огней и цветов пьянели залы, опеваемые смычками. Был вечер у Доре, был час, когда — жить...

Оживало мертвое вещество, распластанное раньше для глазающих толп в витринах улиц: для этого часа создала его земля. Зацветали тысячезвездные камни, курились лепестки цветов, чувственной и певучей изгибались плоскости форм, ткани веяли негой, струясь из тел. Рты, раскрываясь, давили горячим небом нежную сочащуюся плоть плодов; распаленные рты втягивали хлебки тонкого, жгучего, на свету драгоценно-мерцающего вина; челюсти, сведенные судорогой похоти, всасывали, причмокивая, податливое, жирное, пряное.

Изнывая, смычки окутывали мир.

Или это цветы пели, магнетически качаясь?.. Дремотные волны приливали, вея сладостным отдыхом, безмятежьем... Вставала — откуда? — идиллия давних вечерений, любовь на закате, у тихого дома... Качались задумчиво головы опьяненных; грустили ушедшие куда-то пустые глаза, смычки терзались в идиотическом и страстном качании, мир исходил блаженной слюной...

Шептали, безумя:

— Любимая, мы будем потом навсегда, навсегда... Будет ваш парк в Таврии, пруды, солнце... Мы будем одни! Парк, звезды твоих глаз... Как хочется забыть жизнь, моя!..

— А завтра?

И вдруг тревогой кольхнуло из недр, смычки кричали режуще и тоскливо: дуновение катастрофы пронеслось через зальные, бездушно сияющие пространства. И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие глаза...

...А на много верст севернее — за дебрями ночи — из дебрей ночи прибежали двое в английских шинелях с винтовками и, показывая окоченевшими, дрожащими пальцами назад, крикнули заглушенно: «Там... идут... колоннами... наступление...» Зазвонили тревожно телефоны из блиндажных кают в штаб командующего, ночью проскакали фельдъегеря в деревни — будить резервы, зевы тяжелых орудий, вращаясь, настороженно зияли в мрак: три дивизии красных густыми лавами ползли на террасу. Из штаба командующего, поднятого на ноги

в полночь, звонили: немедленно открыть ураганный огонь по наступающим, взорвать фугасы во рвах. И в ночь из-за террасы ринули ураганное: пели все сотни пулеметов; винтовки; и еще громче стучали зубы в смертной лихорадке. Прожекторы огненными щупальцами вонзились ввысь — и вот опустились, легли в землю, в страшное, в скалы ползущих... но не было ничего, пустые кусты трепыхались в ноябрьском ветре, мглой синела безлюдная ночь, огненный ураган безумел и вихрился в пустых полях.

— Ложная тревога! — кричали бледные в телефон — в штаб командующего; и те двое, прибежавшие из ночи, тут же легли у каюты начальника дивизии, пристреленные из нагана в затылок...

А из стен, с плафонов, нависло,росло... и вдруг, под рукой надменного метрдотеля, погасли огни, где-то визгнул гонг; подтолкнутый ужасом, тучный рванулся, прижимая вилку к груди, коротенькими безумными шажками добежал до прохода и упал, хрипя —

взвыл гонг, погасли залы, эстрада вспыхнула малиновым неземным сиянием сквозь вязь волшебных растений — и знаменитая баядера выплыла из сказок, из томных лун, заломив голые руки в алом... Бесшумные лакеи бежали к лежавшему, бережно и почтительно будили за плечо, но поздно: на губах трупа густела и склеивалась кровь.

И когда в темноте — в пьяное, и жадное, и тоскливое дыхание притянули девушку, она сказала изнеможенными и влажными глазами: да, можно все.

Глыбы черных этажей, пылающие изнутри. Каменные аллеи улиц, пустые, чуткие после полуночи.

Остановиться у фонаря, глядеть в тихое насильственное сияние его в безглубом. Не кажется ли, что делается потайное, страшное за зловецей безмолвью? И им, в этот час, и им, несущимся на бесшумных крыльях авто, сжимала сердце тревога, плывущая с пиров.

Раскрывались зеркальные зевы гостиниц, распаивались портьеры комнат, принять тех, кто возвращался спать, усталый, со ртом, раскрытым от наслаждений. И тени бесшумных любовников скользили в зеркальные двери: цилиндры, ярь губ, заглушенный стук палаша, черный шелк Коломбины, опущенный на бровь. И в кабине-

тах — в полузакрытых упоенных глазах, в объятиях последней ночи — были закаты гаснущих уходящих веков...

А на площади, оцепленной гигантским канделябром голубых фонарей — и где еще скрещивались фонари кварталов, где звонко и безлюдно процокали последние рысаки, летя в кварталы, — безглубая тишина поднялась ввысь, в мировое пространство. Никла вселенская ночь. В мутной обреченности площадей, на фонарях висели трое, с покорными понурыми головами, глядя себе в грудь черными впадинами глазниц...

К зеркальным дверям поднесли рысаки. Двое поднимались в темно-красные, отуманенные мерцанием слабых светов бесконечные ковры. За портьерой, полной мрака и невнятного благоухания чужих, любивших и ушедших, повторялось вдруг: площадь, опрокинута в безглубое, трое висящих — и где-то в черных пропастях та полночь, жуткая ужасом и позором... Девушка прижала ладони к бьющимся вискам; вдруг в близящиеся к ней с мукой и обожанием глаза тихо засмеялась, слабея...

И шла, или стояла ночь. В сказках щемящим разгулом был бубен баядеры. Или звенели неисходным пространства гаснущего рая, в зеленоватом тумане заката, последнего на земле...

...Пели гудки в тусклом брезжущем окне. Рождался день: он был, может быть, в навсегда. Распахнули окно — в зелень высот, в холодное игранье рассвета. Пели гудки; по асфальтам — из переулков, из кварталов, из трущоб шли, тихо перекликаясь, безликие, утренние; шли в гудки.

В непогасших лампах комнаты тени вчерашнего, непроснувшегося жили еще. В постели клубочком спала подруга, и был округл в усталой синеве драгоценный очерк ресниц, ушедших в себя.

В жесткой ясности восходил свет. Утренние шли в сумерках асфальтов, за ними четкость будней, жизнь. Кто-то, бережно целуя руку спящей, глядел, тускнея, в окно: день оттуда восходил, как смерть.

V

На побережье готовились к смотру красных войск.

С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами. С курганов открывался плац, в песках

под полуобгорелой ржавой крепостью, оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты батальонов зыблились под ветром, как поле; от опушки изб кольцом теснился глазеющий народ. Был день перед боем, день, нахмуренный в безвестье... На плаху среди поля вбежал без шапки, косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний ветренный день:

— То-ва-ри-шши!

О последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье, хлеб и вечера как золотеющая рожь. Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плескались под плахой в желтом свечении горизонтов. А в горизонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная матерями.

Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненно-глазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке... А за ними уходит ночь, и брезжат рассветы красной золотеющей рожью.

ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ...

Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью наплывали замедленные певучие ветры; колыхались знамена застывших батальонов. Перетянутые ремнями накрест ротные семенили перед фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво говорил:

— Вы на моих-то картинок обратите внимание, товарищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?

С рядов летела придушенная команда:

— Ра-вня-а-айсь!

И вдруг, после паузы застывших движений — ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мерно и четко. И в степи — от медных и певучих стенало откликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрасных веках.

Был на рубеже времен желтый день в полях; и в нем торжественный церемониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм, и штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и безвестье неизжитых неизволкованных дней...

И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм — шли, наступая, ряды, кося глазами ему в грудь. И впереди всех двое — их встречал он где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень с красным обветренным лицом, в черном заплатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной шинели и кепи, усатый, пожилой, с крупными прозрачными глазами.

Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля — безгранные; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи безликих, обреченных); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе — закинув голову и орлом глядя вперед — другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брезжащие сны...

Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.

— Спасибо, товарищи!

— Служ...ба... ре-во-лю-ции!

Железные птицы гудели в зените. Закат из-за далеких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц червонной дрожью. Как ветры, бесконечные, безликие провлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури, и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...

Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях стального цвета. В командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли тупомордые броневики, безглазые и безлюдые, слепо поводя щупальцами пулеметов. Рыча

гигантскими гусеницами, ползли глыбастые суставчатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж; еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные, потрясающие землю тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета сует. Газетные корреспонденты бегали в соседние избы, лезли в погреб заряжать фотографические камеры, народ глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.

Вечеря, уходили ряды вдаль, в темно-красную пыль, в навсегда. Суровой и настойчивей дул ветер на залив. В волны, в муть гортанно грустили трубы, уходя в бесконечное.

VI

И еще день прошел.

Вечером — в Даире — восходило огненным:

Сводка штаба главнокомандующего.

«Красные перешли к позиционной войне.

Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий.

На всех фронтах спокойно».

И еще через минуту:

— ДОРЭ —

НЕСРАВНЕННОЙШАЯ

АНЖЕЛИКА АСТИ

«БАЛЕТ! ОТКРЫТАЯ СЦЕНА ДО УТРА! ЭЛЕГАНТНЫЕ
КАБИНЕТЫ!»

Но кто-то уже проведал о красных лавах на побережье. На тайной неуловимой бирже платили безумное — бриллиантами и золотом, чтобы попасть в секретный план эвакуации, лежащий в несгораемом шкафу в кабинете главкома. Панический шепот шелестел в улицах. На рейде дредноуты дымили загадочно и угромо.

Ночью в степном городке горели факелы и строился корпус генерала Оборовича. Под звездами, сняв шапку, генерал сказал:

— Прощайте, братцы. Помните — идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Корпус шел в боевой резерв: его берегли для решающего момента. Первым скакал в степь офицерский эскадрон. Просмеявшись беспечной лихостью, гинул он в пустыню, где замкнулась за ним ночь навсегда...

И еще позже — в селе Перво-Николаевка, что на северном берегу залива, было так:

Красноармеец Микешин, сидя перед пылающей печкой в волостном исполкоме, где разместился взвод, доел последнее сало, аккуратно подрезая его ножичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу, что лежал животом на полу:

— Кончил, Юзефка. Ну, и сала же попалась вкусная, лихо ее забери...

И лег рядом.

В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, которого заели в боковушке солдатские вши. От бессонницы решил кое-что поделатать для завтрашнего праздника — годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:

— Помогите што-ль лозунгá-то развесить, эй!

Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из сигарок. Кривой протянул один плакат над окном, но для другого не хватило места, да и работать одному разонравилось. Микешин поднял голову и от безделья разбирал:

Мы — миру — путь — укажем — новый...

Секретарь сел к печке, к теплу и прикорнул. В полночь велели собираться. Взводу назначено было идти в головной колонне, раздали ножницы для резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего секретаря и взял, подмигнув, оставшийся красный свертк.

Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожко зяблось. Ротный обходил, считал людей.

— Первое дело, братва, не шуметь, ни гу-гу... Мы его на печке живьем сцапаем! Слушать команду...

В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.

— Взвод... ар-рш...

Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За откосами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом: старые обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди колыхались по земле багровые тени — это на берегу, сзади, жгли костры, чтобы не сбиться идущим.

И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары. Они светили в пустые поля, где не шел никто... А в сухое море сползали из мрака тьмы тем, уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое глухое ржанье, скатываясь в неезженный морок. Головные ушли далеко. Понемногу скрылись костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин сказал Юзефу: «Друг за дружку давай держаться, братишка...» и вот стало все глухо, черно и мертво, как на дне.

Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел ложись... Тогда пригнулись к земле и поползли дальше, сжав зубы...

276

Так начался знаменитый удар командарма N.

Всю ночь молчали аппараты.

И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства ползли полчища облаков — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили в кабинет к командарму: «Дуют ветры южных румбов, восемь баллов...» — из бессонного кабинета верные и четкие шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам. Свинцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли, годы ли? И опять —

— С частями за заливом связи нет. Слышна канонада на побережье...

Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было: вспыхнуть зовами, заревами в далеком — за террасой, загудеть из моря в недра смятенных, неверящих еще; и тогда, с севера — ошетиненным потоком взреть на террасу — в крик, в крошево, в навстречу. Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами нетревожимые — караулили тысячи хитрых, настороженных; и далекие молчали... На рассвете, не дождавшись, потоком разъяренных, опасливо пригибающихся к земле, хлестнуло на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легли человечьими грудями во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма...

С моря дул ветер.

И с моря бежало ручейками, серо-грязными озерами — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно залива, взрылленное ступнями тысяч. В слякотях, в озерах, глубиневших каждую минуту, хлюпали резервы, брошенные вдогонку ушедшим. Свинцовым поясом стояли воды у берегов, в водах тонули дороги. Не было дорог.

И опять —

— Немедленно, по приказанию командарма...

— Все меры исчерпаны. Связи нет...

На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они, прижатые к берегу множества — прижатые к морю — в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая, по колена в воде; с материка выгоняли деревни в воду — мостить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, путались ленивыми, вязнущими телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие, седые — и таяли тотчас: ветер и воды пожирала их.

Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессонной ночи — может быть, единственной в жизни и — в истории. Аппараты молчали... и вдруг — из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло грозой:

— Есть. В двенадцать часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.

Армия была за террасой. Рубеж был перейден. Полки лежали на солончаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений, опутавших узкие

дефиле озер. Сквозь шестидесятиверстную даль — через шины железных проволок — через гарь боя — и командарм видел уже счастливую синь долин...

Армейские автомобили мчали к террасе. Конно-партизанским дивизиям, еще замешкавшимся у залива, было приказано: стянуться на перешеек через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с перешейка уже дышало гулом, дрожанием недр: там начиналось... И, хрипя от нетерпения и злобы, конные свалились под берег, ордой забурлили — в воды, в кипящую муть...

VII

Был день — из жизни, из снов ли? — во мгле его остались седые плескания волн, кому-то понятные передвижения в тумане прибрежий — вперед — назад, обреченность переступивших через черту, стоны, матерщина озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете зарева зажженных хуторов — в избе, на минутку, хлопнул Микешин бедрами на пол, отвел потные волосы и пил, тяжело дыша, из котелка.

— Ну, и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоленая, аж с нее пить хочца! И железой отдает... Вот ты какая местность, а!..

И потом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечерении синих озер, и в этот беглый огневой треск отдавал свою долю, ложась ухом на приклад, едва открывая веки, усталые, запавшие — какая мечта, какая боль за ними?.. А впереди выло и ахало железом из-за озер, рвалось, ураганилось сзади, в безводных солончаках, заревами вздыбливалась пыль, и в пологох пыли, в ночах пыли и дыма тупо и лениво ползли суставчатые серые громады в синь озер.

— Садуны-то! — всхлипнул Микешин. — От зажварят теперь! Крепись, Юзефка!..

Танки шли прорвать первую линию дефиле. На хуторе, в пяти верстах сзади, сидел командарм с начдивами и штабами дивизий: танки были его воля. За танками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Дайрскую степь. И на минуту вдалеке смолкло татаканье сотен пулеметов, только ухало и дышало железным гулом в земле — это танки подошли к окопам и, не переставая, били

мортиры из-за озер. И вдруг слева застрочило, запело, визгнуло медными нитями ввысь — и в степи, в озера бежали поднимающиеся из-за бугров, бежали пригнутыми, разреженными токами в крик и грохот, где танки плющили кости, дерево и железо; из-за бугров подходили еще, пригибались и тоже бежали, и за ними еще зыблилось нескончаемое поле масс — до окраев степей, до мутных вечеряющих заливов: это был вечер, исторический вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньских дефилов.

На карте одноверстного масштаба командарм зачерчивал математически рассчитанные параболы движений. Он думал: это уже завершение, конец.

Но это было не все. За озерами стоял свежий, нерастроченный корпус генерала Оборовича: его берегли к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор белых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую колючую сеть и пешие настигали его железом, сбывченными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого, растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом глаз — в бреши живых, теплых, раздавливаемых тел мчались те, которые уже были убиты.

Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших против правого сектора. Конные растекались уже сзади — во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в лавы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был занесен отчаянный удар.

На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тревожное. В даях метались спины масс, крики и гиканье плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались с привязи фельдъегерские лошади, вставали на дыбы, били копытами по лакированным крыльям автомобилей. Командарм вышел и глядел в степи: там творилась смута.

Корпус выходил в тыл армии, загоня ее в мешок между дефилом и заливом. Впереди корпуса офицерский эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в смерть. Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в вечере, и в зверином шатании масс была острая жизнь, было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми тверде-

ли века владычества, верилось в гениальность маневра, в легкость победы над диким, орущим и мечущимся безголовьем.

Командарм был спокоен, может быть, потому, что знал закон масс. От командарма скакали фельдъегеря к конно-партизанским дивизиям с приказанием немедленно выступить на поддержку частям. Но не успели доскакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от усталости и воды, проволочившие свои телеги и пулеметы через море, — шли прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.

Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива до залива, тяжело неслась лава коней, бурок, телег, прядающих грив — в вечеряющее. Это шел конец. Против прорыва, зияющего между заливом и скопищами армии, развертывались гигантским полукругом телеги, подставляя себя под бешеное паденье мчащихся фаланг.

На левый сектор только еще дошла тревога из тылов. Пешие не знали, куда идти; глыбастые громады, огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор подкачившиеся почти вплотную орудия. В водовороте стоял Микешин, большой, с кроваво-красными обмотками на упорно расставленных ногах, кричал в лезущее:

— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку держатца! Уходят, слышь, Юзеф!..

Из-за второй линии озверелые лезли догонять отходящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зевов, расстреливавших почти в упор, на картечь... Во вселенском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный... или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними кричал Микешин, охрипнув, разеваая в гуле будто безмолвный рот.

— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок! Слышь, Юзеф! Эх, друг-то, ведь какой бы-ыл...

И, обернувшись к озерам, махал винтовкой.

— Жлобы!.. Вы!.. Напоследок и его, а-а-а!..

Рядом, из сумерек, упирался в бегущих ротный, гололобый матрос, трясся маузером, визжал:

— Бежать? Шкурники! Трусы!.. А революция, бога вашу мать? Первого на месте... сам!.. Убью!.. Назад!..

В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег: на них обрушились, хрипя лошадьми, эскадроны. И брызнул

огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. Распадались перебитые кости, чернели рты, исцелованные вчера любовницами, в крованое месиво, истоптанные ногами, сваливались улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств... А телеги мчались по лежачим взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Петухов на пролетке, в одном френче, с сигаркой в зубах, держа локти на отлет; сзади рябая, сжав зубы, строчила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми визгами.

И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой подъятых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обрато в правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в левый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин, и за ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды — «дае-о-ошь!» — и вот: на второй линии полег матрос, повиснув через проволоку затылком почти оземь — и на правом — мчась в табуне визжащих взбешенных коней, рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем, завязив размозженную голову ему под шею. И через них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блиндажей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные; далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, уходили остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми глазами.

Конец.

К ночи прошли укрепления, под откосом, в степной речушке, пили пресную воду — Микешин лег на живот, пробил прикладом ледешек и пил, а потом камнем уснул тут же на берегу. И легли еще множества и спали. И вежах — сквозь зарево, жуть и кровь — успокоением сияли в мглах светы.

Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и мно-

жества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.

И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал, не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов в века.

VIII

В ночь противник оторвался от передовых нагоняющих частей и сгинул в степях. Вперед были брошены конно-партизанские дивизии — настичь отходящего и не дать ему сесть на корабли. Из-за террасы — с севера шли резервы, вразвалку, в накинутых на плечи шинелях, за ними волочились бесконечные обозы в солончаках; резервы шли на смену усталым от трехдневных переходов и боев частям. Но боевые части встретили пришедших матерщиной и насмешками и сменяться не пожелали — впереди уже светились млечно-синие доли Даира. Резервные бригады тоже не хотели оставаться в тылу; полки их втиснулись кое-как между полками Пензенской и Железной, и на рассвете, скрипя и гудя тысячеголосым, армия повалила по большакам на юг.

И правофланговая Заволжская армия, проделав заход правым плечом, выходила на магистральный тракт к Даиру. Запоздавшая благодаря маневру, она наткнулась там уже на обозы далекой ушедшей N армии. Но армия не хотела прийти последней; она свернула на проселки, там понеслась вскачь на подводах и повозках, задыхалась пешком, волочила рысью артиллерию, бросая застрявшие орудия у зыбких рухающих мостков на степных речонках; и с тылов двинулась конно-партизанская — прямо в незженое, сбритое осенью и утрамбованное копытами белых — три армии бежали наперегон в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные богатства городов; золотом крыш горело из сказок... С пересохшими ртами бежали кочевья потных, иструженных, ведомых снами...

Далеко впереди катились, расплзаясь по радиусам степей, армии врага: к кораблям. С презрительной усмешкой, свертывая с дорог, отделялись от них последние из мертвецов Оборовича. Эти не хотели уходить: скрываясь в горах, поджидали идущих с севера, чтобы напасть, убить, еще раз умереть...

И дальше — в бушующей мути крутились корабли бежавших. Еще грузились у берегов: толпы бежали по дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущими зыбкой обвисали и трещали сходни, с берега кричали и проклинали оставленные, гудки кричали угрюмо с берега в нависающую жуткую расправу и смерть. Черный дым с судов, не оседая на зыбь, куревом ночи полз у прибрежий; дикая смятенная ночь шла.

В ночи гул дальних. Все ближе на города — раскаленной тенью костров.

Командарм выехал в рассвет — в степь.

Были пустые поля, теплеющий иней на развалинах разбитых хуторов, за курганами невнятная, огромно восходящая заря, как грань времен. Ночь грезилась за спиной, будто черные дремотные ворота, вставшие до высот. Заглушенно гудел мотор, плавными крыльями пожирая пространство; мерцающая дорога, обложенная лошадиными трупами, кружительно пробегала назад. Трупы... трупы со вздутыми боками, с оскалом челюстей, за горизонтами опять трупы, недвижимые, как вещи. Тысячи, коридоры из тысяч... И, заслышав шум, стаи трупных собак, пригибаясь брюхами к земле, отползали в поля, облизываясь, глядели на дорогу фиолетовыми кровавыми глазами, мутными от страсти...

В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля, бескрайные, вогнутые, как чаша, подставленная из бездн заре...

Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрайном курганы уплывали, как черные — на заре — шеломя: назад, в сумерки, в историю... Где-то сзади раскинулось в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками, гарью; пустынно брошенные, не раскраденные еще деревнями на топливо стоят рогатки с сетями колючек, разметано железо убийц, кости, помет животных, ямы, зияющие сумраком. Ветер треплет лохмотья бурки, повисшей на железных шипах в безумно-наклонном полете вперед. И тишина плывет над полем битв — дневная тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пластами забвенья, времена.

.....

Перед сумерками авангард ворвался в Даир. По площадям копыта отзвонили пустынно и гулко. Авангард

подскочил к углу трех улиц, где над каменной рябью мостовых свисали со стен небоскреба алые флаги непоколебимо, как металл: Ревком. Под балконом, потрясая пиками, авангард прокричал свой дикий и радостный вызов. И с высоты из-за решетки, ликуя, наклонялись маленькие, безумно юркие, в пиджаках и без шапок, махали руками и кричали в приливающие оцетиненные низины:

— ...приветствуем...

— ...пусть услышат угнетенные массы мира...

— ...да здравствует!..

Из далей, перспектив, как прибор, мчались конные, рассыпая в улицах крик телег и дробь копыт. С низов махали шапками, из опрокинутых лиц тысячи горящих глаз глядели ввысь — на ниспадание алого, на гаснущие алебастровые химеры небоскребов, на каменные арки культур — там оркестры веяли волнами слав — из раскрытых пересохших глоток, из спертых зыком грудей выло:

— ...а-а-а-а!..

С окраин, из доков, из трупоб бедноты шли вставшие из земли, давая улицы множеством, зыбля алые лохмотья над зыбким океаном тысячеголовья, и от них, еще невидимых, из сумеречных недр стенало —

— ...а-а-а-а!..

В порту глыбами и насыпями громоздилось изобилие вспоротых пакгаузов и складов — тюки, ящики, остовы машин, брошенные задыхающимися на бегу. Цепи конных оттеснили берега и порт, сторожили, покуривая, глядя в невиданную тысячелетнюю даль: зыбь шла туда зеленоватым свечением, словно из-за горизонтов заря.

Улицы вспыхнули от синих, бесконечно убегающих огней. В свету изумленные, смеющиеся глаза тысяч глядели, как в утро. Из этажей, из стеклянных подъездов выходили нерешительные, спускались на асфальт, кривясь ласковой и бояливой улыбкой, помахивали тросточками: «И мы рады, и мы тут!..» — выходили, осмелев, женщины напудренные, со сладкой горячкой глаз; шепчась, улыбались обветренным и хищно скалящимся галифе. Мутным, радужно-болотным оком вчерашнее глядело, догасая...

В особняке черного переулка, оцепленного конными, угрюмыми и молчаливыми, осудили последних, захваченных у взорванного туннеля в горах. Пожаром факелов

осветился колодец двора; молча и торопливо расставили их у каменной стены, бледных, с глазами, как застывшие свечи. За безлюдьем переулка ширился гул и крик, вещающий о рассветах; резко и жутко прогрехотал грузовик в мраке у ворот. Никем не слышимая, глухим мгновенным криком проползла смерть...

А ночью пришли полки. Массы расступились под железным упором рядов. На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в светлы культур. Из глоток мощным выдохом ревело:

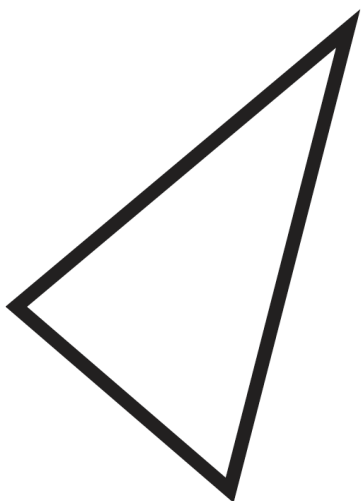
НЕ НАДО НАМ МОНАРХИИ,
НЕ НАДО НАМ ЦАРЯ,
БЕЙ БУРЖУАЗИЮ!
ТОВАРИЩИ, УРА!

Промчавшийся из степей автомобиль, замедленный полками, стал на перекрестке. На шестивии бесконечных, на сиянии пространств — недвижим был в остром шишаке профиль каменного, думающего о суровом. Полуоткрытый рот хотел крикнуть призывно и властно.

Армия, командарм вступали в Даир.

Таврия, 1920—1921

Артем
Весёлый



Вольница

288

Буй

ВЕСНА ВОСЕМНАДЦАТОГО. ПЕРВАЯ НАША ВЕСНА.
КУБАНЬ, ЧЕРНОМОРЬЕ, НОВОРОССИЙСК, РЕСЕФЕСЕРИЯ.
ПЫЛ, ОР, ЯРЬ, ПОЛОВОДЬЕ — УРЫВИСТАЯ ВОДА...

Всю дорогу разговоры в вагоне.
Об чем крики. Об чем споры. Все дела в одно кольцо
своди: бей буржуев, бей, душа с них вон. Все наше. Голова
мы. Когти мы. Беломордые? Што нам беломордые, — сила
наша. Всех потопчем. Всех порвем. Простонародная рево-
люция. Плач и стенанье, песни и слезы.

Навстречу, под Тоннельной два эшелона попались — урезный фронтвик, кровь родная. Стогне Днепр, стогне широкий. И все одного направления: ж а б н у т ь. Все машут винтовками и страшными голосами эрзерумских высот гукают:

- Долой Хвилимонова...
- Рви кадетню...
- Поиздили, попили... Теперичко мы поиздимо...
- Крой, товарищи...
- Капиталу нет пощады...
- Долой...

А Хвилимонов главковерх царизма по-на-Кубани. В чине свахи гад ползучий: войсковой казачий круг с Радой спаривал. Но мы раз и навсегда против всей этой лавочки. И бои кругом рикотят: под Тихорецкой, Тимашевкой, Невинкой... Скрозь бои по всей Тамани, по-над-Кубанью, аж до самого Терека. Диствительно долой генерала Покровского: дюже вредный генерал для крестьянского народонаселения.

- Ду ду. Фьюрр...
- Березай, вылезай.

Новоросейский город. Станция Новоросейская.

- Где комендант?
- Ах, братишка, сурьезные дела...
- Фронтвики не подкачают — в один мент обделают дела в лучшем виде...
- Эх, ваша благородия, держись, не вались. Фронтвик он...

- Где комендант? Под девято ево ребро!
- Есть.
- Здрастуйте.
- Ваш мандат?
- Налицо.

Правильный мандат: станичник Максим Кужель, как делегат за оружием. А комендант, сучара, развалился в мяхкой кресле и языком ледве-ледве:

- Ни от меня зависит...
- Як так?
- Так
- Да як же так?
- Эдак.
- Да який же ты и комендант, коли оружие немає...

А ежели екстренное нападение контры?

— Ни от меня зависит...

— Га, чортов сынок!

Плюнул делегат через коменданта на стенку. Давай в город срываться.

Совет рабочих солдатских...

На лестницах народ, в залах народ — руки ни пробьешь. С Черноморья мужики. Молдаване с Джубги, Дефановки, Сапсульской. Матросики шныряют туда-сюда: где бы горилочки похрамчить. Тут же неизвестный солдат серебряны тарелки продает.

Потолкался-потолкался Максим: ходов не найти, и пронял его такой-то ли аппетит, такой аппетит... Примостился на подоконнике. Хлеба отломтил и токо-токо за сало... Глядь: дорогой товарищ Васька Галаган. Каже:

— Здорово, голубок.

— Та неужто ж ты живой остался?

— Э-э, меня ни берет ни дробь ни пуля...

— Ах, в бога господу мать, рад я ужасно.

И вышел тут экстренный разговор. Смеется Васька — откровенный друг... Подманил товарищей и давай рассказывать, как с Максимом в трубе ночевали, как вдвоем по телеграфу город кавказский взяли. Смеются матросы: щикатурка с потолка съпится, советски шпалеры вянут — стружкой по стенам завиваются.

— А в совет здешний всякая сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы... Оружья тебе, солдат, не достать.

— Як так?

— Да так.

— Да як же так?

— Да эдак.

— Що ж це такой за Совет, коли оружия для добрых людей не стоговил. А ежели экстренное нападение контры? Воны и вусом не моргне...

— Ни по назначенью попал.

Иэ-х, сердцу стало прискорбно. Уцепил Максим Ваську за рукав, давай молить-просить:

— Васек, товарищ подсердечный... За что мы скомлели, терхались? Долой золотую шкурку. И зачем нам кисла меньшевица власть? В контрах вся Кубань — тридцать тысяч казаков. Што тут делать и как тут быть!

— Успокой ты свое солдатское сердце.

— Будь уверен, оружия достанем.
 — Слово олово.
 — Диствительно, долуй кислу менышевицку власть...
 — А Совет. Совет — чхи! — будь здоров — погремушка...
 — Вся власть в наших руках... Хоромы, дворцы и так далее.

Обрадовался Максим. Так-то ли обрадовался — сало и хлеба краюху на подоконнике забыл.

Табуном притопали в гостиницу «Россия». Картинки, диваны эти самые и занавески чистый шелк. Барахла понавалено, барахла: сюда повернешься — чемодан, туда — узел, двоим не поднять. Расстегнули бутылочку, другую. Вспоминали с Васькой, как на ахтомобиле мимо дороги чесали, — выпили. Про трубу вспомнили, — еще выпили. За поповский сапог на-ново выпили. Опосля того вывел Васька гостечка дорогого через стеклянную дверь на терраску. Вывел да и показывает:

— Вон немцы в Крыму. Вон Украина, страна хлебородная, всю ее покорили стервозы, а флот наш сюда отсунули.

— Немцы?

— Немцы, Максим, немцы, хлеть иху мать... Шёлм-блём даешь флот по брест-литовскому. Шалишь. Распустили мы дымок — сюда уплитовали. Выпьем вино до последнего ведра, дальше поедем, разгромим все берега и с честью урем.

— Вася, зачем умирать. Умереть не хитро...

— Я? Мы? Никогда сроду. Все прошли с боем, с огнем: гайдамаков били, Раду били, под Белградом Корнила шарахнули, с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, офицеров топили в пучине морской... Раз офицер — фактически контрик...

— Бей с тычка. Бей с навесу. Бей наотмашь. Хрули гадов. Ни давай курвам пощады...

— Справедливо, дядя. Полный оборот саботажа. Весь путь под саботажем. Мокроусовский отряд: слышал. Наш отряд... Черный флот... И кругом теперь судовые комитеты — наша бражка: чумазая, нечесаная, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню выталкиваем по тыще резолюций — клянемся, клянемся и клянемся: б е й к о н т р у. Баста...

Правильно, от Новороссейска море начинается. Корабли гуськом. Весь черный флот. Пушечки, дымок, флаги праздничные. По утрам с дредноута «Воля» малым током радио по всей эскадре:

В
СЕМ
ВСЕМВ
СЕМСЕГО
ДНЯВЕЧЕРО
МВГОРСАДУОТ
КРЫТАЯСЦЕНАНА
ВОЛЬНОМВОЗДУХЕК
ОНЦЕРТМИТИНГШАМПА
НСКОЕБАЛДОУТРАВХОДС
ВОБОДНЫЙВОЕНМОРЕПРИГЛ
АШАЮТСЯБЕЗИСКЛЮЧЕНИЯДАЗ
ДРАВСТВУЕТДАЗДРАВСТВУЕТДО
ЛОЙДОЛОЙДОЛОЙДАЗДРАВСТВУЕТСВ
ОБОДНЫЙЧЕРНОМОРСКИЙФЛОТТройка.

Команды на берегу. Двенадцать тысяч матросов на берегу.

Сколько это шуму!

Гостиницы и дома буржуйские ломаются. Хоромы, дворцы и так далее. Совет, што Совет! Лучше об нем и не говорить и слов ни тратить. Даешь шампанского, — и кислый Совет из бездонных подвалов Абрау-Дюрсо перекачивал на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая — двенадцать рублей бутылка — твердая цена. Хватало и водки, николаевской, белоголовой. Слезу вышибала, за сердце брала старорежимная, злая водка. Совет — чхи! — будь здоров — погремущка с горохом. И такое бывало. Ночью, загнав всех рысаков и смеху ради перетопив лихачей в вине и керенках, подваливалась к Совету буйная ватажка, обвешенная бомбами, кольтами...

— Даешь авто!

— Тыл штатска провинция.

— Душу вынем.

— Го-го-го...

— Даешь авто!..

Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый.

— Товарищи, я сам четыре года кровь проливал, но автомобилей в Совете нет... Вы, как сознательные, должны...

— Ботай.

— Куда подевали?

— Пропили?

— Немцам берегут.

— Душу выдерем...

— Товарищи...

Из толпы для забавы стреляли. Можбыть, кверху. Можбыть, в члена промахивались. Ни всякий, скажем, понятие о прицеле имеет. Да.

А член мечет:

— Я ни против... Я сам фронтовик... Вместо авто Совет выставит пятьдесят бутылок шампанского.

— Мало...

— Ни заливай нам.

— Тоже фронтовик — нажевал рыло-то...

— Мало.

— Двести...

Сходились на сотне.

Всяко бывало.

Девочки-мармуленочки до одной за моряками. Вихрем свадьбы. Сплошная гульня. Свадебные поезда кишками. Через весь город. Сквозь. Свадьбы каждый час, каждую минуту. Пьянка-гулянка. Дым-ураган. Жизнь на полный ход. Хриплые женишки. Невесты первый сорт карамельки. Шафера, подруженьки, тетушки — честь честью. Колец ураган: с пальцами нарубили у корнил-офицеров. Венчанье, лохмачи осипли. Музыка крышу рвет. Денег много. Все пляшут. Все поют. Дым в небо.

Женится Васька на буржуйской дочке. Денежки всему шапка. Васька с Маргариточкой за красным столом сидят, друг дружке эдак улыбаются. Маргариточка в форменке — женихов подарок. Куражится Васька. Уцепил ее за хребет. В миндальные губки целует. Вино пьет, стаканы бьет, похваляется:

— ...в натуральном виде с подливкой...

Ах, и веселый же народ матросы. Делегат за оружием Максим среди них, ровно ржавый курган в зеленой сте-

пи. Дума грызет — и как бы оружием разжиться — ждут станичники... Хотя какое тут оружие, ежли Васька женится?.. Отгуляем, отпляшем и...

Ржет братва, на слово не верит:

— Га-га-га!

— Го-го-го!

— А-ха-ха-ха!

Васька пузырится:

— Што я вам, — говорит, — чувырло какое?

Васька из двух шпалеров на спор садит в пустые бутылки, поставленные на рояль. Бабы визжат. Братва потешается. Четочку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, локти на отлет:

— Рви ночки...

— Равняй деньки...

Папаша, то есть буржуй ихний, безусловно пляшет. На затылке смятый котелок. Глотка буржуйская шире голенища разношенного. Рвет камаринского на демократических началах:

— Аарррара... Ааррра...

Ржут матросики. Над буржуем подтыривают:

— Нет. Спой-ка ты нам яблочку...

— Тряхни брылами...

— Повесели гостей...

— Сыпь на весь двугривенный...

— Уморушка-Татьянушка...

А матушка, то есть буржуйка ихняя, дышит над голубками. Пылью стелется:

— Девушка она у меня чуткая, деликатная. Гимназию с золотой медалью... Уж ты, Василь Петрович, ради бога, будьте с ней понежней... Она совсем, совсем ребенок...

Ваську от умиления слеза прошибает:

— Мамаша, да рази ж мы ни понимаем... Да я в лепешку расшибусь...

Маргариточка за роялем трень-брень. Ее восковой глосок гаснет в мутном утробном реве:

Ах, ты, яблочко,

Д с боку верчено...

И на улице под окнами подхватывают с подсвистом. Ни поймешь, плачут или смеются стекла, и в раму рожа дико веселая:

— Э, да тут гулянка...

Под окошками летучий митинг:

— Свадьба.

— Ну!

— Верно дело.

— Залетим, братва...

— Вались...

— Заходи, братишки, заходи... Места хватит. Вина хватит...

— Зачем же бить окошки?

Утром с похмельки:

— Ах, ах...

— Где молодой?

— Нет молодого!

Пропал молодой.

Теща плачет. Маргариточка белугой ревет: охорашивает ягодки помятые. Шафера похмеляются, к подруженькам присватываются. Ребятишки выжимают из бутылок похмельку.

Нету Васьки.

Оказывается, на фронт махнул. А можа, и не на фронт. Вечером будто видали Ваську — в гортее зеркала бил. А завтра слышишь, будто влюбилась в него артиска. Зафаловал Васька артиску французскую. Раз-раз по рукам — и в баню. Лафа этому Ваське. Куражится, подлец; артиска, принцеса, баба свыше всяких прав.

Пришли ребята гулять и видят: артиска ни артиска, а самая заправская чеканка Клавка Бантик. Кто ж ни знает Клавку Бантика. Васька на что доброго сердца человек и то взревел:

— Ах, ты, кудлячка...

Плеснул ей леща, другого — и в расчете: бесхитрый Васька человек.

Стонут, качаются дома.

Пляшут улицы.

Прислонился ходя к «России». По неизвестной причине плачет ходя, разливается:

— Вольгуля мольгуля...

Выкатились из «России» ребятки и навалились на ходю:

— Хам...

— Гам...

— Китаеза...

- Черепаший хвост.
 - Что обозначают твои слезы?..
 - Вольгуля мольгуля... Моя лаботала, лаботала, все денихи плолаботала: папилоса нету, халепа нету... Слезы эти из него так и прут.
 - Ха-ха!
 - Гу-гу!..
 - Бедолага, сковырни слезы, едим с нами.
 - А-яй, чудачок, кругом слобода, а ты плачешь.
 - Едим...
 - Мая каласо, тавалиса...
- Эх, развезло, размазало.
- Стой, не вались...

В дымину пьяного делегата Максима десять рук втокнули в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком. Ввалились — Галаган, Суворов, китаеза, еще кто-то. Сорвалась пара, разукрашенная красными лентами. И у лошадей праздник.

И лошадям весело.

- Пошел!
- Качай, качай!..
- Рви малину!
- Руби самородину!..
- Хха, фьюьюбьюбуюю!

Помнил Максим станицу. Фронт помнил. Гнеденько-го жеребчика Сокола. А слова, ровно раки, пьяные, расползаются:

— Вася... Родной... Господи... Братишки... Контра вся Кубань... Тридцать тысяч казаков...

— погоди, и до казаков доберемся и их на луну шпилить будем.

— За што мы страдаем?..

— Ни расстраивай, солдат, ты своих нервов... Всех беломордых перебьем, и баасстгаа — останется одна пролетария...

— Оружья тебе достанем...

— Должны мы погулять... Первый праздник в жизни...

— Вася...

Гортеатр. «Гейша». Занятная штука. Радовался китаеза, ровно малый ребенок. Смеялся китаеза, в ладоши прихлопывал:

— Уф, мая каласо...

Максим под стульями спал. Трое в карточки перекидывались на заднем плане. А Галаган с Суворовым расставили по борту ложи бутылки. Хлебали шампанское. «Гейшей» интересовались и языками причмокивали:

- Вот это нда!..
- Бравааааааааааааааааа!..
- Вахтаналия!
- Разбудил Васька Максима.
- Едим!
- Куда?

За денежками на дредноут «Свободная Россия». Открыл Галаган сундучок кованый: керенки, николаевки, гривны, карбованцы, браслеты — все на свете. Подарил дружку бинокль Цейс на три фазы.

— Вот и портсигар бери... Ни сомневайся: портсигар семь каратов...

У делегата руки трясутся. Бинокль за пазуху сунул. Портсигар в кулак утопил. Подмигнул делегат Максим:

— За два оглядка куплено.

— Ни боже мой... Грабиловки никогда нигде на грош не сочинили. Все у мертвых отнято. Скажи, зачем мертвому портсигар в семь каратов?

Максиму, безусловно, крыть нечем. Пощупал бинокль за пазухой, оглянулся:

- Показал ба ты корабль мне, Вась... Эка махина...
- Можно.

Спускались в кочегарку. Васька сыпал:

— У нас на миноносце «Пронзительной» триста мест золота на палубе без охраны валяется, никто пальцем не трогает. А ты: грабиловка... Тут, браток, особый винт упора... Понимать надо.

— Золота?

— Триста мест золота из киевских-харьковских сейфов... Мы, браток...

Черно. Угарно.

Топки жаром плескали, ревели ветрогонки. Забитые угольной пылью, задымленные кочегары в рукавицах без рубашек. Бегали, мотались. Ширяли ломами. Подламывали скипевшийся шлак. Из угольных ям на руках чугунные кадки подтаскивали. Сопел, ревел огонь в топках. Угольные лампочки еле дышали.

Максим утерся:

— Дюже жарко.

Падая на него, Васька кричал:

— Это што... Два котла пущены... Это што. Во когда все десять заведем... уууууууу... Жара восемьдесят. Ветрогонки стара система — тяга слабая: жара восемьдесят... Да ведь надо ни сидеть, платочком обмахиваться. Надо работать. Без отверту, без разгибу... Ни пот — кровь гонит с тебя...

— Жизнь горьки слезы.

— Эх, в бога господа мать... Пять годиков я тут отчубучил. Теперь свет увидал. Али и теперь ни погулять? Первый праздник в жизни...

— Айда!

Прыгнули в ялик. В город поцарапали.

Город в огнях, в музыке. Кафе-рестораны — все за матросами. Черно от матросов.

Пьяно.

Пыльно.

Пляско.

Сплошной праздник.

ШТАТСКИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

Горсад. Куплетисты. Цыганы. И кругом дешевка. Вдесятером за тыщу всю ночь с девочками, с музыкой, с вином. Не любил Васька деньги пересчитывать. А денег этих самых у него с полпуда. Пропивай — не пропьешь. Гуляй — не прогуляешь.

— Э-эх, братишки, в бога боженят...

— Нынче гуляй, завтра фронт.

— Иисус Христос проигрался в стос...

— Пей, все равно — флот пропал...

— Кто там бузит?

— Бей буржуев: деньги надо...

НАВЕРХ ВЫ, ТОВАРИЩИ, ВСЕ ПО МЕСТАМ...

— Надоела вся борьба... Домой...

— Ни хочешь ли на мой?..

ВРАГУ НИ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ВАРЯГ...

ПОЩАДЫ НИКТО НИ ЖЕЛАААЕТ...

— Братишки, в угодничков божьих, в апостолов
 мать... Сцена. Вальснйшка. Яблочко. Танец «Две киски».
 — Дамочки, мамочки, бирюзовы васильки...
 — Цыганка Аза, в рот тебя, в глаза...
 — Рви рр-рр-рр ночки... Равняй деньки...
 — Руби малину... Не хочешь ли чаю с черной саморо-
 диной?..

Хор цыганский:

Где болит? Чево болит?
 Голова с похмелья.
 Нынче пьем, завтра пьем,
 ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ...
 Иэх, давай,
 А ну, давай,
 Пошевеливай, давай!
 Иэх, даю,
 Вот даю,
 Пошевеливаю,
 Даю,
 Даю,
 Даю,
 Пошевеливаю.
 Эх, даю,
 Вот даю,
 На, даю,
 Бери, даю,
 РАСШЕВЕЛИВАЮ...

— Ой, резвы ноженъки, верти, верти верти...

Смоляные факелы пляшут. Пляшут матросы Ро-
 гачевскогоотряда. Обвешаны они бомбами, пулемет-
 ными кишками, пушками. Пахнет от них пылью,
 порохом, кровью: вчера только с фронта убежали. По-
 гуляют день-другой и на извозчиках покатыят обратно
 на позицию. Позиция под боком. Кругом бои. Кругом
 вода.

— Арра барра...
 — Засобачивай...
 — Ходи-ходи...
 — Отдирай пятки...

ОТРЕЧЕМСЯ ОТ СТАРОГО МИ-И-И-РА
 ОТРЯХНЕМ ЕВО ПРАХ С НАШИХ НОГ...

Наливался-наливался китаеза на голодное-то брюхо, и вдруг хлынуло из него все обратно: мадера, шампанское и всевозможные закуски.

За столом Максим, Васька, Ильин, Суворов, жид — Абрашка — слесарь из депа, мадьяр Франц и опять же потрясенный китаеза. На привольном воздухе. Якорь глубины морской. Максим целует всех подряд, сморкается в рукав:

— Абрашка, дай свою черствую руку... И рассознательный жа у вас в депе пролетарейт-ох... Абрашка, законный пролетарейт из рабочава строю... глаза страчат — руки делают. Руки ни достанут — ребрами берите...

— Берем.

— Это так. Это по-нашему. Шутка ли — в неделю два бронепоезда сгрохали... Под Батайском, под Кущевкой шибко они нам помогли... Вот как помогли, Абрашка... Вася, обороти внимание: в неделю два бронепоезда...

И Васька угощает китаезу, Максима, шкипера Ильина, Суворова, шестерку, Абрашку, в круговую:

— Пей, гуляй, бражка... Нонче наш праздник... Хозяин, даешь ужин из пятнадцати блюд... За все плачу... Есть ответ... А беломордых передушим до одного. Душа с них вон... Мы...

...На горе стоит ольха,
Под горою вишня.
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла.
Иэх, раз,
Еще раз,
Еще много,
Много раз...

— Больше жизни..

— Больше жару...

А ну, раз,
Еще раз,
Еще много,
Много раз.
А-ах раз,
Еще раз,
Еще сотню,
Тыщу раааааз...

Каждая башка весела. Каждая башка бубен.
 Распалилось сердце Васькино. На стол влез ревом:
 — Братишки... Слушай сюда-а-а...
 И начался тут митинг с слезами, с музыкой.

ГРА
 БРА
 ВРА
 ДРА
 ЗРА
 С КРОВЬЮ
 С МЯСОМ
 С ШЕРСТЬЮ.

И ночью же прямо из города на вокзал добровольче-
 ский отряд, Васьки Галагана партизанский отряд в две-
 сти голов. Навалились на коменданта бесповоротно:

— Оружья... Вынь да выложь...

С пятого пути два вагона винтовок. Один Максиму
 достался. На крыши пульмановских ставили пулеметы.
 Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. Китаеза рабо-
 тал, как чорт.

— Садииииись...

Длянь... Длянь... Длянь...

Ду-ду-уу...

Эшелон сорвался и, гремя буферами, раскачиваясь на
 стрелках, сразу пошел на рысях.

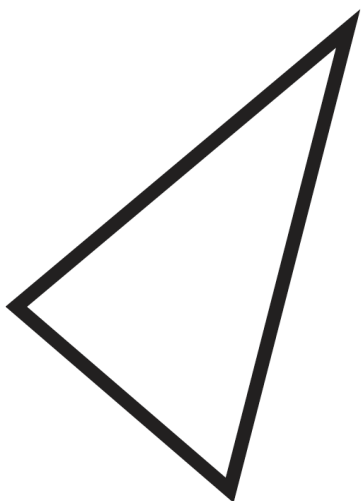
Мотай. Крути. Винти.

Поезд мчится

Огоньки

Дальняя дорога...

Глеб
Алексеев



Мертвый бег

304

I

Подполковник Петунников занимал две комнаты в бараке № 9. В одной жил сам; по стенам ее, обитым казенными одеялами, были развешаны вперемешку с картинами соблазнительных красавиц в вуалях с обнаженными, тяжелыми как гарбузы грудями, — регалии недавнего прошлого: погоны гренадерского полка крест-на-крест, красный темляк, замятая на затылок защитная фуражка. В простенке стоял столик с портретом генерала Врангеля, на столике помещалась «табачная фабрика». Две тысячи в день — это была норма. В соседней — под ветром скри-

певшей как простуженная грудь — каморке помещалась «мамаша», — так Петунников называл жену, Надежду Львовну, — жену он нашел в сутолоке гражданской войны — где-то под Двинском, — был с нею по-своему счастлив. Двое ребят — золотушных и большеголовых, пищавших заливчатым, заходящимся криком с утра до ночи, и были, в сущности, причиной, почему Петунников — не по правилам лагеря — занимал две «комнаты»: крик ребят мешал набивать папиросы — единственное средство к существованию.

Выщелкнув сто двадцать шестую, Петунников поднял голову — поперек заезженный морщинами лоб над мясистым, прошитым красными жилками носом, — и громко спросил:

— Наденька, а что этот прохвост, Сырников, отдал пятьдесят марок?

— Нет, Мишенька, не приносил, — ответил женский голос из другой комнаты.

— Х-м... Опять пропъет всю получку, мерзавец.

— Сколько раз я тебе, Мишенька, говорила: не давай лагерным в долг. Жди теперь до второго пришествия, если совсем не замотает... Самим есть нечего...

Петунников покраснел и, отложив машинку, посмотрел в окошко. За проволокой было видно, как по шоссе нашпаривают на велосипедах немцы с лопатами за плечами. Навстречу им старуха в шляпе везла солому, в повозку была впряжена собака. «Ишь!» — улыбнулся Петунников, но ничего не подумал, а вслух сказал:

— Офицер ведь, мамаша...

— Офи-це-р, — с презрением заскрипел за перегородкой женский голос, — понаделали всякой швали офицерами — сидим теперь тут. Надрызгался вчера как гусь под березой, все окна в «Кантине» поколотил... Наставили сияньков на морду — едва-едва спать уложили.

Во всем этом Петунников и сам косвенно виноват. Поэтому он молчит, постукивая ногтем по столу. Началось, ведь, всегда по-хорошему. И в сущности — хороший парнюга Сырников, и офицер из него вышел бы хоть куда. Да, вот судьба... Судьба-индейка. В субботу с работ возвращалась в лагерь холостежь. С кирпичного завода, с цементного, из рельсопрокатных мастерских... Конечно, с деньгами, к тому же единственный день, «когда лодь-

ми, а не скотами» они себя чувствовали. Собирались бы в «Кантине», если б мерзавец-кантинщик не запирали свою лавку чуть смеркнет именно по субботам. «За наше здоровье, господа офицеры!» «Дай бог поздравить с новым походом против красной сволочи!» Ура! Нет, нет — не все еще погребло! Союзники когда-нибудь да одумаются, и каждый честный солдат — Петунников вспомнил, как вчера он бил себя в грудь, произнося эти слова, — еще послужит отечеству. Но черт его знает, почему именно эти вот светлые минуты всегда заканчивались по-свински: перепьются, передерутся, фонарей друг другу наставят... С тоски что ли?

Петунников взял машинку и выщелкнул сто двадцать седьмую.

— Эх, мамаша, — с грустью сказал он вслух, — с тоски все это... Нелегко ведь тоже родину потерять... Кто ее знает, вернется ли когда-нибудь...

Но женщина за перегородкой не сдавалась, и голос ее, цепкий как репейник, цедил с непередаваемым презрением:

— Слово было у них когда-нибудь р-родина... Гуси под березой... Была б, — тут, небось, не сидели... Сашка, куда лезешь?.. Не смей — тебе говорят...

Два шлепка щелкнули по телу, должно быть, по рукам, и, услышав их, полковник вздохнул.

— Сейчас заревет, — подумал он машинально.

И тотчас за стеной захныкал, затенькал как маленький, затравленный зверек, ребенок.

— Наденька, — сказал он кротко, — я к Синецину схожу... Гильзы, говорит, по дешевой цене можно достать...

II

Проходя по двору, Петунников думал, что Надежда Львовна совершенно напрасно бьет детей. И без того Сашка растет уродом: парнишке третий год, а не говорит ни слова. И не мудрено... Он поднял глаза и тянувшись, словно видел впервые взглядом обвел бараки — черные, перевернутые гробы, упрямо дымившие синим павлиньим дымом набранных в лесу шишек. По двору шатался неласковый осенний ветер, постукивая по заборам

одубевшими рубашками и штанами. В середине — куда обращали бараки белые свои нумера над черным зевом дверей, вился тяжелый осенний песок на порыжелой, вытопанной сапогами клумбе. Поодаль — у помойки играли в «рюхи» босоногие мальчишки в желтых кацавейках из казенных одеял; палки, цокая по консервным жестянкам, замокали в грязь. Подле детей, на ступеньках барака сидел бородатый человек в тугоподпоясанной шинели; глаза его — бессмысленные, оловянные в голубизне своей упрямо упирались в переплет проволоки и не моргали; было похоже, что человек мертв — такие холодные, незрячие были у него глаза. «Сидит», — с усмешкой подумал Петунников; он знал, что Кузнецов сидит этак целыми днями, неподвижный, как мешок, без желаний, без мыслей... За помутневшими, вправленными в решетку окнами кое-где заботливая женская рука увила решетку в герань, — поблескивал ранний, опаловый свет; по окнам трепались на ветру ниточки с сушеными яблоками, грибами; бубнила речь; в дальнем бараке плакал ребенок — «Сашка!» — болезненно сморщился Петунников — плач тенькал, как тоненький, надоедливый колокольчик... Нет — вырваться, вырваться во что бы то ни стало! Она засасывала, — эта нищенская жизнь на грибах: третий год весь лагерь питался грибами, случайным заработком на заводе или «табачными фабриками», в надеждах, что кто-то одумается, кому-то еще понадобится восстанавливать Россию, и тогда о них и о нем, старом пехотном полковнике, вспомнят. Вырваться, но как? Что еще он знает, кроме командования батальоном?

Эта мысль приходила к Петунникову и раньше, но никогда не обжигала так больно. Он остановился у башни, под вывесками с предложением «репетировать детей также и по-французски», и задал себе этот вопрос с неумолимой жестокостью:

— На что он, полковник Петунников, способен еще кроме командования батальоном?

— Набивать папиросы!

От неожиданности такого ответа самому себе он рассмехался. Чудак, ваше благородие! Ну, как, в самом деле, можно всерьез подумать, что он никому не нужен? Может ли погибнуть Россия? Петунников зажмурил глаза, — что-то огромное, величавое, не обнимешь одним словом

этого, поднялось в памяти. Нет, Россия погибнуть не может. А следовательно, не может погибнуть и он, полковник Петунников. Надо только переждать, оттерпеть свое. Ведь до «этого» было сорок пять лет, и в этих сорока пяти годах все было ясно, и у каждого человека было свое место в жизни — трудами и кровью отвоеванное место, — и все это теперь насмарку?!

— Да не может быть! — сказал он вслух.

И тотчас успокоился.

С войной, — а в ней ему везло, — оставалось пять лет до пенсии. Помнится, уже в революцию, когда как сор и листья в ураган гнало русские войска с фронта по деревням — домой, он задержался в Житомире, кудрявом городке отставных генералов, антоновских, пахнущих сосной яблук и сдобных пышек, задержался один, отстал от полка, вдруг растаявшего, едва дорвались до железнодорожной станции, шел по улице, затонувшей в белом цвету яблонь, и домики в нем, опрятные, как монашки галицийских монастырей, в первый раз подсказали ему мысль о тишине, о ласковом уюте оттрудившейся жизни, спокойно, с открытым лицом встречающей свою старость. Больше ничего не хотелось ему! Поселиться здесь, вставать по утрам с колоколом — он жужжит в летнем, пенном воздухе, как большая муха, — надеть шинель с красной выпушкой и, постукивая палкой по тротуару, пройти на базар в медленной, никуда не торопящейся прогулке... И все пять лет, в которые бросало его с Вислы на шумную Кубань, а с Кубани опять на Вислу, когда не по галицийским, а по родным русским городкам наступал он с полком и вешал русских людей в одном городке, и сам бежал от виселицы из другого городка, — твердо верил он в свою мечту, ведь ради нее — оправдания и логического завершения всей его жизни, он совершал подвиги.

— Только твердости! Побольше твердости, — подумал Петунников, отходя от башни, — сдаться — значит умереть...

III

Обогнув плац, Петунников подошел к бараку № 2 и ногтем постучал в окно. В окне не хватало одного стек-

ла, дыра была забита верхней доской ящика, на ней проступали слова: Masaroni — пониже конец слова... iesto. Поверх висел кусок картона с четкой, в завитушках, но уже поплывшей от дождей надписью:

— Капитан Синицын, командир 2-ой роты Н-ского пехотного полка.

В правом углу — на месте адреса — было написано:

— Рига. Временно — Derensdorf, Германия.

— Капитан, вы дома?

— Кто стучит?

— Полковник Петунников...

— Да! Да! Пожалуйста, заходите... а-а... Вас-то мне и нужно. Я сам собирался к вам — вот только закончу проект.

Капитан отворил дверь. В нее просунулась худенькая, остроугольная мордочка с интеллигентской бородкой, обшарпанной по концам, в больших золотых очках на задорном носике — пуговкой, съехавшем под улыбкой в сторону — на щеку... Он держал в руках перо. В комнате, кроме походной кровати и наскоро сбитого треногого стола, возле которого стоял служивший стулом чемодан, — ничего не было. На столе лежали листы бумаги, исписанные точным, каллиграфическим почерком.

— Садитесь, г. полковник, на кровать... По-походному...

— Все сочиняете? — улыбнулся Петунников.

Синицын присел на чемодан и подвинул к себе заглавный лист проекта со старательно выведенным обращением:

— Его высокопревосходительству министру-президенту германской республики г. Эберту.

— Вы меня простите, г. полковник, — начал Синицын, — но я позволил себе прямо... Фигурально выражаясь, быка за рога... Хе-хе-хе... Германия, говорю я, никогда не встанет на ноги без России... В России, говорю я, как раз и находится то самое сырье, без которого остановились все германские фабрики, и без которого, выражаясь немецким языком, Дейчлянд не только... Хе-хе... не будет юбер алес, а будет капут — отсюда, вам, г. президент, должно быть понятно, что без восстановления России вам никак не обойтись. Даже не принимая во внимание, я бы сказал, этической стороны вопроса: вы повалили Россию, пустив в нее запломбированных большевиков, вы и должны по-

ставить ее на ноги... Вот тут-то я и предлагаю самый простой, и, надо полагать, самый рациональный способ...

Капитан вздернул пуговку с очками вверх и внимательно посмотрел на Петунникова.

— Вам, г. полковник, без сомнения, известно, что наряду с другими офицерами императорской армии за границу эвакуировались чины жандармерии, полиции и государственной пограничной стражи?

Петунников утвердительно кивнул головой.

— А кто такие большевики, позвольте вас спросить? Мошенники, воры, рецидивисты и контрабандисты... Ну, с, поэтому и бороться с ними в первую очередь надлежит чинам жандармерии и полиции, знающим этот народ на практике. Исходя из этого неопровержимого факта, я предлагаю немедленно отдать приказ по всем беженским лагерям, по всем городам и европейским странам, чтобы всем чинам полиции и жандармерии с получением сего прибыть в Берлин. И здесь...

Синицын скосил глаз на бумагу.

— Дальше следует часть секретная. Но доверительно... Вы, г. полковник, человек свой... Тут будут произведены необходимые формирования под командой опытных и знающих людей... Придется, конечно, позаботиться об вооружении и обмундировании... На это, я думаю, г. министр президент согласится сделать соответствующие кредиты из казначейства германской республики, которые потом, конечно...

— Да, да, все это, может быть, и так, но... — Петунников все-таки с сокрушением покачал головой, — вы упускаете, капитан, очень важное обстоятельство во всем этом деле. Для масс нужен вождь, необходимо — когда мы вступим на русскую землю, — чтобы нас встретили как избавителей, а не захватчиков... Порукой тому должно быть имя... Вы понимаете, капитан, о чем я говорю?

Синицын вскочил с чемодана, словно его сдуло. Раскосые глаза его вдруг набухли кровью, он забегал по комнате, складываясь и раскладываясь как перочинный нож. Потом подбежал к Петунникову и лихорадочно зашептал в ухо:

— Я уже написал... Всеподданнейшее... Ваше Императорское Величество, голос погибающего народа взывает к вам... Дети, женщины и старики молят в молитвах сво-

их... Армия ждет знака, чтоб жизни свои отдать за избавление дорогой родины по одному мановению руки Вашего Императорского Величества... Монарх и вождь, к воплям погибающего народа не смеет оставить свое сердце глухим... Вы понимаете, — чем это пахнет?

Его глаза горели безумием. Тоненький и острый как сабля он метался по комнате, держа перо в руке. И говорил, говорил, говорил... Броские, несвязные слова горели отчаянием веры, и, падая, жглись как угли, с треском вышвырнутые прочь. И они были убедительны: Петунников чувствовал, как в душе его, с самого дна, поднимается надежда.

IV

Муж Татьяны Егоровны уехал на кинематографическую съемку в Свинемюнде и писал оттуда, что хотя спать ему приходится на пристани рядом с клетками львов и гиен, и запах от них идет кислый, но зарабатывает прилично; через месяц, бог даст, вернется, и острая полоса безденежья кончится. Косырев не в первый раз уезжал из лагеря, эти отлучки были необходимы: в промежутках закладывались кольца, две броши и крестильный крест, — Татьяна Егоровна не любила оставаться одна. В это время всегда как-то вольнее держалась молодежь из холостых барачников, заходила чаще по делу и без дела, засиживалась...

Чутьем двадцативосьмилетней женщины, прожившей лучшую пору жизни, но жизнью не сытой, она понимала, что обозначают все эти потупленные взгляды, обыкновенные, житейские слова, в которых вдруг начинал звучать какой-то скрытый волнующий смысл, мелкие услуги: сходить в деревню за молоком, отправить письмо мужу заказным по почте, принести книжку из библиотеки, и... в глубине души сама страшилась. Двадцать восемь лет — роковой возраст — возраст бабьего лета, — когда в синем, остывшем от зноя воздухе уже завились и повисли паутинки, когда, как первая седина в голову, вплетется в жирную, досыта упившуюся листву — желтый, только по краям желтый лист, и утренняя просинь уверенно пробьется меж стволами четкой как хрусталь, стылостью.

Пора, — когда все соки земли впитал в себя цвет, и сам расцвел всеми соками, — и вдруг наступает перелом, за которым жизнь спадает с каждым днем, и каждый день этой уходящей жизни жаль. Немногим женщинам дано перейти через ступень «бабьего лета» спокойно — именно в его мучительную пору происходит ломка первой любви, в первый раз ощущает женщина тоску по жизни и в первый раз вдруг вспоминает, что молодость прошла, а она не жила еще.

Пожалуй, так и было. Разве она жила? Сейчас у Татьяны Егоровны было время подумать над этим. Может быть, два-три ярких момента только и запомнились. Тогда в маленьком сельце под Ивачурым-Горным, когда была сестрой милосердия в полковой летучке, и кругом были стон сквозь сжатые зубы и протяжный, неустающий крик раненых насмерть, — его привезли с фронта, упал с аэроплана. Его лицо было мертвенно-синее, как авиаторская куртка, от левого глаза всю голову прорезала рана, — словно разбитая, плохо склеивающаяся чашка треснул при падении череп. И когда ее заботами, бессонными, тупыми от ожидания ночами, в которых пели и плакали ее сердце и тишина, — он в первый раз открыл глаза и мутными еще, но уже отпущенными землей от смертной доли глазами взглянул в счастливые ее глаза, и как родной ей улыбнулся, — было счастье. И второй раз, когда взял ее, робкую, знавшую, что так будет, и, источившие все силы свои на ласки, оба не спали всю ночь: она — глядела в нее прозревшими глазами женщины, он — думал о завтрашнем полете за пятьдесят верст в тыл. Она стала женой авиатора. Все это она помнит: остро завидовали ей сестры на фронте, болело сердце, когда он, поручик Косырев, ее муж, чуть заметной точкой приближался к разметавшимся космам облаков, пронзал острой иглой самолета, зарывался в них как в волосах любимой женщины, и вдруг падал вниз молодецким «штопором» — вился как лист, подхваченный ветром. Боязнь и страх за жизнь любимого человека приучили сердце к мысли, что не крепко, не на года завязалось с ним счастье... Когда в Москве, уже при большевиках, она получила записку от знакомого офицера, о том, что подполковник Косырев арестован Чека и, кажется, уже расстрелян, — она не удивилась, не заметалась в женском безысходном отчая-

нии, ехала на извозчике на Большую Лубянку, зная, что увидит его труп, и боялась только одного: опять увидеть рану, рассекшую голову от левого глаза к правому уху. Матрос с наганом поверх кожаной куртки подвел ее к двери и, стукнув носком по порогу, закричал:

— Эй, товарищ!.. Жена тут к тебе пришла... Ничего себе — баба не вредная... Кому что, а я могу и выпустить...

И по тому, как долго молчали за дверью, и по огонькам электрических лампочек, лукаво качнувшихся в скользком — будто пропотели камни — коридоре, да еще по глазам матроса, двинувшего на нее белесые кустики насмешливых ресниц, — она поняла как не дорого и ей самой, и близкому ее и вот случайному третьему, то, что берегла она как сокровенное и почитала оправданием своей жизни. Правда, ничего не было... Ведь ничего же не было... Не отвела она своих глаз от глаз мужа, когда упорным и тяжелым взглядом в самую душу спросил, какой ценой куплена его жизнь, но что-то оборвалось в ней, запело тоненько, как комар над осокой, и с каждым днем росло...

— Все еще вернется, — подумала Татьяна Егоровна, — только уйти отсюда... Привезет Ваня деньги...

В такие минуты неудовлетворенности и шалой беспредметной тоски она искренне считала себя очень скверной женщиной. И думала о том, что нужно иметь ребенка, неудавшаяся своя меньше будет мучить жизнь, когда рядом поднимется близкая жизнь, новая и дорогая.

Косырев от души смеялся:

— Таню-ша! Здесь? В бараке? Этой роскоши мы пока не можем себе позволить.

Если б он понимал, что это была не роскошь, а необходимость.

V

Ласковый старушечий голос спросил за перегородкой:

— Татьяна Егоровна?

— А?

— Ужин будете ставить? Плита горячая...

— Сейчас, Зиновия Павловна.

Она вышла в коридор, где пунцовела общая для обитателей барака плита; — летом плита была сущим на-

казанием божьим, не уставая раскалялась добела, зато зимою отапливала весь барак...

Над плитой, купая в белом кипяточном пару очки, копошилась старуха в теплом купальном халате, поминутно пробовала: проварился ли картофель? Когда Татьяна Егоровна вышла, — старуха подняла вилку с картофелиной, отставила ее в сторону, будто защищалась, и заговорила проговоркой:

— А грибов-то сегодня, батюшки мои... И все белые, пухленькие, без единого-то червячка... Мадам Петунникова в лесу была, тащит своего Сашку за руку, а он, батюшки мои, как истукан... Ну, прямо истукан... и чего они его в Красный Крест не отдадут? — Им дите без толку, а в Красном Кресте,

глядишь, и отходили бы уродца...

— Застрекотала!.. — отдельно произнес чей-то бас за стеной.

Старуха хитренько мотнула головой и улыбнулась. Морщинки, собравшие все лицо ее в сморщенный желтенький кулачок, разбежались веселыми лучиками.

— Может, у вас лучок есть... Дайте мне, матушка моя, лучку... Я ее с лучком... картошечку... А ты, батюшка мой, сам стрекочешь, хоть ты и помещик... Ты бы лучше поменьше табачищем дымил, да взял бы себе кошелочку... В лесу птички поют, солнышко светит...

— Па-аехала, старая ведьма, — с расстановкой произнес тот же голос.

— Оттого и злишься, — невозмутимо продолжала старуха, — что все думаешь... А что тут думать? Живи, пока живешь, да и все... Все равно, батюшка мой, именьев не вернуть, думай не думай... Спасибо тебе, Татьяна Егоровна. Всегда ты мне, старой, удружишь...

Она придвинулась ближе к молодой женщине и зашептала в самое ухо, так, чтобы не слышали за перегородками:

— У Кузнецовых — опять баталия. Ты, говорит, зачем на спектаклях играешь? Я, говорит, полковник царской службы и своему государю верой и правдой служил, а ты в Берлине ноги задираешь?.. А она ему и говорит...

— Ах, старая кочерга, — сказал опять голос за стеной, — ну, что ж она ему говорит?

— А она и говорит... Не твое дело, батюшка, наши женские разговоры подслушивать... Встал бы ты лучше, крашевец мой, да водички в барак принес...

— Ну, ведьма!

— То-то и оно. Встал бы, да принес. Лежишь целыми днями как байбак... весь барак табачищем продушил...

— Ах, ведьма! — изумился голос за стеной. — Дай хоть посмотри на тебя, старую колотовку.

Дверь со скрипом поехала в сторону. В провал ее пахнуло сначала кислотой давно не мытой, холостяцкой комнаты, потом показалась отекающая, в красных багровых пятнах голова, за нею голая волосатая грудь в серой в клеточку рубашке, расхлестнутой до пояса. Увидев Татьяну Егоровну, чистившую на скамейке картофель, голова юркнула было назад, конфузливо что-то забормотала, но спустя секунду высунулась опять.

— Удивляюсь я тебе, Зиновия Павловна, ей-богу. Вот смотрю и удивляюсь. Уж вас ли не колотила жизнь: и сына расстреляли, и второй неизвестно где, и дочь не сегодня-завтра с голоду по улице пойдет, а жив живчик! И где только ты, старая кочерга, сил для жизни наберешься? Скрипишь и скрипишь... Дуну вот на тебя...

Голова надула губы и скосила глаза на щеки:

— Тьфу! И нет!

— А ты, батюшка Ипполит Николаевич, не дуй... Руку не обжег... Может, и я не беднее тебя была... Вот Татьяна Егоровна знают... Что было, то прошло... А что будет — одному господу богу известно... Не ел, поди, сегодня ничего, оттого и зол... Ел сегодня что или так обошелся? Ты скажи?

— Ел не ел, от этого ничего не изменится...

— Характер твой суровый изменится... А в остальном менять — нечего: все в руке божьей... Поддержи-ка вот котел! Воду с картофеля солью...

Спустя полчаса помещик сидел в каморке Зиновии Павловны, и Татьяна Егоровна слышала, как он выцедила проникновенным шепотом:

— Вы, Зиновия Павловна, — золотой человек... Я, Зиновия Павловна, слово вам даю, вернемся в Россию — ни на шаг вас от себя не пущу. Умрете — монумент вам поставлю. Редкий вы, Зиновия Павловна, человек...

В окно надоедливо царапался дождь. Осенний ветер тревожил деревья, они наклонялись, жалостливо поскри-

пывая. От сквозняка на облепленном мертвыми мухами шнуре качалась электрическая лампа, от качанья ее бежали по углам непокойные мохнатые тени. За дальней перегородкой задышался в коклюшном сне ребенок.

Подперев голову рукой, Татьяна Егоровна задумалась над письмом к мужу:

«Я уверена, — писала она, — как только ты приедешь, мы вырвемся отсюда. Она задавила меня, эта проклятая лагерная жизнь. Я чувствую, как с каждым днем я все глубже опускаюсь на какое-то дно, как размениваюсь сама, как мельчает моя душа. Временами мне кажется, что я заживо умерла и разлагаюсь, как труп.

Ты будешь сильным. Мы переедем в Берлин. Я буду работать тоже. Пойми — жизнь уходит с каждым днем, нам не вернуть ни одного ушедшего дня. Ах, если бы ты только знал, как тоскливо на моей душе, как тяжело сознавать, что не одинакова доля, что вот я второй месяц болею от картофеля, и с силами уходит молодость... Будь же моим принцем! Я жду тебя, как рыцаря, который освободит свою царевну... Я так страстно, так горячо тебя жду...»

VI

Помещик Скворцов просыпался по-стариковски рано — часов в шесть, когда в окошко только приглядывался подслеповатый осенний рассвет, лежал в кровати, куря папиросу за папиросой, не пробуя больше заснуть. Времени было достаточно, он чесал волосатую грудь загнущимися, пожелтевшими ногтями, давил, если под ноготь попадалась вошь, шумно вздыхал, слушал, как в бараке неторопливо просыпается жизнь. В самом дальнем углу, у Сирских, всю ночь, заливаясь, проплакал ребенок. «Ш-ш-ш-ш...» — часов с трех шипела мать, мужской голос, заспанный и недовольный, раздраженно советовал:

— Да, заткни ему глотку-то...

— Плодятся как кролики, — по своей привычке вслух подумал Скворцов и ожесточенно пыхнул дымом.

Пошлепывая мягкими туфлями, просеменила на дворе Зиновия Павловна. В открытую дверь дернуло колющей прохладой утра. Скворцов знал, что, вернувшись, она будет долго, по-старчески влипчиво молиться, тиши-

на разнесет ее умоляющий шепот по всем углам барака. Потом соберется за грибами и, проходя мимо его двери, обязательно поскребет ногтем. В ответ он запустит густую струю храпа, и будто во сне перевернется на другой бок.

Рядом, у соседей Татарковых, муж поднимается на работу — собирать сливы в баронском саду. Ходил версты за четыре, возвращался к ночи и тотчас укладывался спать. Скворцов знал, что молодая женщина целыми днями вышивает мережки, слепнет над тонким, кропотливым шитьем. По субботам муж возвращался с получкой, и они «жили ни широкую ногу»: накупали сладостей, коньяку, сыру, колбас, закусок, к ночи оба напивались пьяными. Потом забывшись и не стесняясь тонких, каждый звук пропускавших стенок, предавались супружеским ласкам. Кровать ходила ходуном и скрипела, мужчина тяжело сопел, женщина в пьяном забытии стонала от счастья.

— Ска-аты! — сплевывал Скворцов на пол нарочно громко и стучал кулаком в стену. Но за стеной на окрик его и на стук не обращали внимания. Утром Татарникова выйдет к плите с опущенными ресницами, виновато предложит ему стакан чаю, потом до следующей субботы покорно сгорбится над шитьем, ее не будет слышно, словно ее нет в бараке.

Позже других вставала Татьяна Егоровна. Вот кого Скворцову было искренне жаль! Эти конченные — ясное дело, она еще бьется... Он знал, как нарочно долго она будет одеваться: — сидит, чешет голову, опустит гребень, задумается. Ее глаза в этот момент становились оловянными. Или уйдет бродить без цели, вернется только к вечеру, шумная, возбужденная... Зиновия Павловна напомнит ей, что надо чистить картофель, иначе прогорит плита, а дров больше нет. Встречаясь с ее зыбкими глазами, Скворцов видел, что они, жадные, тянутся к жизни, бежавшей полновесно и звонко за проволокой лагеря, и понимал, что ее место не здесь, а там. Тогда он принимался мечтать о том, что будь у него средства, хоть десятая того, что было до революции, вырвал бы отсюда, унес, замиловал... Закрывая набухшие от бессонницы глаза, он видел, как идут вдвоем по пляжу в Гурзуфе, на мягкий, скрипящий гравием берег с шумом наваливаются волны, зацветшие миндали свевают розовый снег юга на песок...

Глядя на заострившееся ее лицо, на худую с покатыми плечами фигуру, по поясу перехваченную зеленой лентой, на маленькие ножки в затоптавшихся внутрь ботинках, — он верил, что все это возможно. И однажды, улучив минуту, когда в бараке никого не было, вытащил свежий воротничок, долго сшивал рубаху по воротнику — пуговицы не было, — расчесал волосы, сострадательно улыбнулся одутловатой физиономии, глянувшей на него в обломок зеркала, и постучал в ее дверь:

— Татьяна Егоровна, к вам можно?

VII

Молодая женщина сидела на кровати, на коленях ее лежала раскрытая книга. Но она не читала. Скворцов видел это по ее глазам, мутным и невидящим, узкая ее с черным бордюром ногтя рука, исколотая на пальцах крапинками иглы, лежала поверх книги.

— Читаете? — ни к чему спросил он и ухмыльнулся. То, что он хотел сказать и что обдумал до мельчайших подробностей сегодня ночью, совершенно внезапно провалилось. От этой мысли Скворцов вспотел.

— Я к вам на минутку. Посажу и уйду. Можно?

Он присел у стола, покрытого серым казенным одеялом. Потер руки и посмотрел на пол — по его штанам, сношенным до обнажившегося переплета ниток, гнездились капли мыла — с утра, как умывался. Взглянув на них, он виновато улыбнулся. Стадо понятно, что ничего не случится, ему не только не вырвать отсюда женщину, — не вырваться самому, что революция в России никогда не кончится и помирать приходится тут — в засклизлом, исеченном дождями и человеческим горем бараке. Теплая жалость, человеческая — качнула его сердце.

— Знаете, что я вам скажу...

— Что, Ишполит Николаевич?

Он поднял глаза, сказал просто и тепло:

— Если у вас есть хоть капля силы — бегите отсюда! Туда, где есть труд, где нет проволоки, где можно свободно идти по улице... Разве вы не слышите запаха разложившегося человеческого духа? Душа гниет, гниет мысль... Черви берутся за проволокой... Вы сильная, ваше место не здесь...

Глаза женщины стронулись, забегали, как глаза пойманной мыши. Она нервно поднялась, отложила книгу. Потом посмотрела на него нетвердым, обиженным взглядом:

— Куда, Ипполит Николаевич?

— В Берлин.

— На улицу?

— Зачем непременно на улицу? Найдите службу... Шейте те же самые мережки, только там, а не здесь... Верьте...

— Во что?

— Верьте в то, что Россия вернется, что поедем мы с вами назад: я в свою Пляковку, к снопам и пахоте, вы в Москву, на Пименовскую, пойдете опять в Художественный театр, поедете на дачу в Малаховку... В гости я к вам приеду на Рождество, с кулечками из деревни...

Но она вдруг спросила:

— А сами?

— Что сам?

— Сами вы верите в то, о чем говорите?

Скворцов тяжело завозился на стуле и, глядя в угол, заговорил неверным голосом:

— Ну, конечно же, Татьяна Егоровна. Чем же иначе жить?

Женщина с грустью покачала головой:

— Нет, не верите вы, да и я не верю... Никто не верит... Знаете, когда я думаю о том, что случилось с нами, слышу, как вы задыхаетесь ночью от астмы, как молится Зиновия Павловна, смотрю на наши бараки, на бедность, на нашу жизнь, мне все кажется, что вот по спокойному морю плыл большой корабль, и вдруг поднялась буря, мы с вами упали в воду, и волной выбросило нас на необитаемый остров. А пароход с уцелевшими людьми ушел дальше, все высадились на берегу и построили новый город, написали новые законы и стали по-новому жить. А потом пришли мы с вами, старые с трясущимися головами, и попросили пустить нас жить. Люди не узнали нас, но пустили из жалости. И тогда увидели мы, что не понимают они нас и наших мыслей, что молятся своим, новым богам, каких мы не знали прежде, какие пришли, пока мы жили на необитаемом острове... Как тогда поступить? Без нас, но строится ведь там какая-то жизнь. За восемь лет войны и рево-

люции поднялось восемь поколений, — какие они? Они прошли мимо нас с вами, поймут ли они нас, когда мы вернемся? Я уже и теперь говорю: мы имеем пойти, — вы не заметили?

— Ну, пусть так, — мягко заговорил Скворцов, — я особого мнения на этот счет. Если умерла старая Россия, крошечный осколок которой мы вынесли сюда и спрятали пока что в помойку — за проволоку, новой не будет. Из камня алмаза не выкроить. Но вы другое дело...

Он пытующе сощурил левый глаз:

— Поезжайте назад.

Женщина в ответ только качнула головой.

— Почему?

— Внутренне не могу.

— Простить?

— Нет, не простить, а приспособиться к этой новой жизни.

— Тогда забудьте, что вы — русская, изучайте язык, поступайте на должность... Посмотрите, как немец яростно возрождает свою страну после поражения. Помогите ему по мере своих сил — разве это не благая цель?

Она до хруста стиснула руки...

— Поймите: все чужое вокруг. Чужое небо, и нет силы ему молиться. Чужие пороги... Мне в Берлине иногда кажется, что я иду совсем, совсем одна в большом опустевшем городе. И вдруг где-нибудь на Wittenbergplatz у чужих и пустых магазинов прорвется русская речь... Радуюсь ей как голосу матери, плакать от радости готова...

Скворцов вздохнул. Лохматая его голова опустилась еще ниже; он внимательно разглядывал белые крапинки на коленях и не знал, что ему еще сказать? Выхода как будто не было. Но ведь не гибнуть же?!

По окнам колотился безутешный осенний день. Минутами прорывался дождь и уставал через минуту. Противно потягивало застоявшейся, густой сыростью сквозь расщелины пола. Скворцов с тоской оглядел комнату, оклеенную засыревшими по углам, глазастыми обоями. На всем лежала пыль, от сырости скорчившаяся сгустками. Лицо Татьяны Егоровны казалось также покрытым пылью — безнадежно-серое и покорное. Куда ж тут в самом деле податься?

VIII

В той же самой деревушке, боком к которой прилегал беженский лагерь, преподаватель тульской гимназии Андрей Степанович Соколовский с женой и двумя детьми арендовал огород и прожил в второй год в крохотном, уединившемся в заросль слив и яблонь домишке. Попав в лагерь из Риги, куда вышвырнула его торопливая, беспорядочная волна эвакуаций, Андрей Степанович в первую же очередь поставил себе вопрос: на что может пригодиться он, недурной преподаватель словесности, немножко философ и немножко поэт, — во-первых, самой за границе, а во-вторых, беженцам в лагере? Надумав, что первой он совсем не нужен, а вторым в погоне за куском хлеба не до него, Андрей Степанович решил заняться физическим трудом и остановился на необходимости «сесть на землю».

В деле этом помог ему случай: вдовец-немец, уезжавший на службу в Дрезден, согласился за небольшую арендную плату оставить ему все свое несложное хозяйство, хоть и недоумевал при мысли, что может делать на огороде почтенный Herr Doctor и к тому же Professor? Но Андрей Степанович с таким решительным видом в первый же вечер наколот дров, затопил печи, помыл вместе с женой полы и окна, что у немца от удивления выпала трубка, и он решил, что этот человек знает, за что берется. После отъезда немца жизнь в маленьком домике вправилась по-новому, точно определенному руслу. Вставали в шесть; Андрей Степанович одевался в синий, всегда чистый и подлатанный в прорвавшихся местах костюм, забирал лопату и до обеда копался в саду и в огороде. Белил стволы яблонь и слив, пресекал кроны, тщательно срезывая сухие, отслужившие ветки, подгортал картофель, пропалывал бобы, морковь, огурцы... Жена его, Зинаида Антоновна, худенькая, юркая брюнетка в тугих ресницах, засыпала корм корове (корову купили, ликвидировав бриллиантовые серьги), возилась с курами — во втором году хозяйства развелось их полтора десятка штук, — готовила обед, стирала белье, сама месила хлебы...

Часов в двенадцать, когда мимо домика возвращались с полевых работ немцы на велосипедах, и старые,

достаточно прохрипшие часы сельской колокольни старательно вызванивали полдень, — Андрей Степанович отставлял лопату и с радостью оглядывался назад. Поднятая на зиму земля под крутым солнцем блестела за ним как бархат, деревья в заново побеленных стволах — улыбались невестами, казалось, колыхали ему тяжелым цветением своих крон, благодарили за творческий, единственный на земле, воистину творческий труд. Крупными каплями пота, как бисером звездился его лоб, — открытый, с широкими зализками под волоса, капли стекали по носу, щекоча, он вытирал лицо рукавом куртки и бодро шел к домику.

Ровно в двенадцать садились обедать.

— Знаешь, Андрюша, у рябенькой... той, что купили у Иоганна Мюллера в январе — отчего-то синий гребешок... и квохчет как петух...

— Надо посмотреть...

— Я думаю, на птичник вообще надо употребить дня три. Тесно. Разрослось наше птичье царство...

— В четверг кончу копать картофель, тогда... А как насадка?..

— Пока только трое...

Сашка, восьмилетний, протягивал вперед кулачок и показывал:

— Вот такие... Пухые... Пухые как пушки...

Андрей Степанович наклонялся к сыну, ласково обнимал за плечи и говорил:

— А ты знаешь, как маленьких цыплят надо есть учить? Не знаешь, пожалуй. Так слушай — я тебе объясню, а ты запомни: возьми пшена, насыпь на пол и сам по пшеницу стучи пальчиком... Цыпленок на тебя посмотрит и тоже примется стучать. Постучит, постучит, глядь и клевать выучился...

Зинаиде Антоновне иногда казалось, что ее муж поступает так нарочно. Надел на себя маску и носит за нею свою боль, — из гордости, чтобы другие не видели. Но под вечер, когда рассаживались по шесткам куры — черненькими, беленькими, серенькими такими милыми клубочками, когда из сарая доносилось мерное, заправленное на ночь чавканье рыжебокой Машки, — он приходил с огорода домой таким радостным, таким довольным и так крепко, по-новому ласково, обнимал ее и пахнул

весь горячими запахами земли, что она чутьем женщины понимала: нет, не притворяется и счастлив.

Андрей Степанович стал мало читать. Когда-то по-модному увлекался Шпенглером, теперь и не вспоминал о нем. Это сначала ее пугало. Однажды она сказала ему об этом.

Они сидели на лавочке — в воскресенье... Радостный, полнокровный опускался закат за озеро, и озеро вздыхало в нем — медленно и важно, как материнская грудь, а по берегам, на свежающем вечернем ветру, посвистывала осока...

Взяв жену за руку, он ласково ответил:

— Правда в жизни, Зинуша, — только одна... Жизнь.

IX

Так от дня ко дню sereneкая, гложая в надеждах — ими одними питалась она, — текла жизнь. И каждый занимавшийся осенней непогодой день был суrow и труден, — пробуждаясь к нему, лагерь сотни воедино слитых мыслей направлял к одному: ест. В лагере понимали, что страна, в которой они живут, сама бьется в тисках послевоенной разрухи, и они не вправе рассчитывать еше на участие к ним. В бараках лагеря выпиливали лобзиками деревянные игрушки; вышивали скатерти и салфетки или тонкое дамское белье, упруго шуршавшее в руках; иногда женщина, прокладывая мережку по креп-де-шину, вспоминала, что когда-то и она носила такие рубашки; полковники и генералы, неспособные к физическому труду, набивали на своих «фабриках» папиросы, конкурировали друг с другом ценой; счастливицы уезжали по утрам на кинематографические съемки, мечтали пробиться в «дивы», но режиссеры «орали на них как на скот» и «им нужны были любовницы, а не артистки», — приезжая в лагерь с последним поездом из Берлина увядшие, с остатками грима на зажелтевших лицах женщины возмущались вслух, а про себе надеялись: «от этого, ведь, меня не убудет». Союз «американских мальчиков» помог наладить в лагере две мастерских: слесарную и столярную, один из барачков приспособили под типографию, в нем с утра до ночи колыхалась машина, выбрасывая

из черного решетчатого зева визитные карточки Иоганнов Мюллеров — шумахеров и Карлов Шварцев — портных. Но работали в мастерских немногие. Кого тянула по весне в Свинемюнде или Гамбург — грузить пароходы — все еще не умершая надежда уехать хоть в угольном трюме в Америку и там разбогатеть. Иных бросало в Голландию, Данию, Испанию, и там в невероятных костюмах не то испанских торреадоров, не то нормандских рыцарей плясали в присядку, пели «Лучинушку» или «Во лузях, во лузях», служа тем великому русскому искусству. Мужчины женились, но понимали отлично, что это так, не по-настоящему, только до России, где остались милые Маши и Саши, покорно ожидающие своих Петей и Коль, вышвырнутых в Европу.

К осени, когда в Европах становилось холодно, путешественники и странники стягивались назад в лагерь, — к синему, упрямому дыму сосновых шишек, к грибам, к холоду и к надеждам, что вот только перезимовать, а с весны все как-то устроится... Из странствий своих они приносили разочарование в народах, у которых им приходилось побывать, все больше убеждались в том, что «на Западе зари не бывает, и с Запада зари ты не жди», застегивались на зиму в своих каморках — упрямые, разочарованные и злые. Они принимали свою судьбу как крест и думали, что несут его с достоинством. На «малодушных», уходивших назад в Россию, смотрели как на людей потерянных, слабых, не донесших до конца... Разве только в самой глубине души, в которую опускается человек ночью — в неуютный дождь, хлещущий по окнам, в слякоть и окаянную темь, — завидовали и мечтали о том же...

Так шла жизнь, без начала и конца, увязшая в чужую, разбухшую в мокропогодь колею, ненужная и нелепая, но сил выбиться из колеи не было, и все глубже застряли в нее люди и отдавались ей...

Скворцов с отчетливой ясностью понимал нелепость такой жизни. По ночам, холодея от прошибавшего пота, он садился на кровати — обросший, крючковатый пень. Месяц сталкивал с него тень на стену, он прислушивался к храпу и стону, булькавшим за стеной, прислушивался к крысам, назойливо стучавшим под половицами, и все никак не мог понять, зачем все это с ним случилось. Ведь была жизнь, полная радости и довольства — он не умел

ценить ее. В густом саду — в тамбовской рябине, кровавыми кораллами обвисавшей в сентябре, стоял его дом, и каждый день в нем был полон глубокого смысла жизни, осознанного только сейчас. Отсвистали косы за лето, отмахали серпы крутобедрых жниц в подоткнутых юбках, коричневым плюшем, лоснясь от жиру, лежала вспаханная на озимя земля, прошел Покров, — когда словно пьяные ревут колокола сельской церкви, и бабы, и мужики, пахари, жнецы, косари и он, Николай Ипполитович, проводжали лето горластой ярмаркой, пестрыми платками баб, коричневой паутиной осени, ее бодрящим холодком, — эти первые холодки с синим заморозком в звонких от ветра утрах обещали белую, ровную зиму и покой до весны, сытый и довольный, каким спят звери в берлогах, каким спали мужики и избах, набитых богатством щедрого лета, и он, Николай Ипполитович, в крепко, на года, свороченном доме, на всю округу славившемся кулебяками с гусиными потрохами, вишневой настойкой и его радушием. В такой звонкий осенний день, шелестящий под ногами желтой листвой, когда солнце, оседая за бугры, словно прощается, а на селе по-осеннему тихо, а на душе по-осеннему бодро, — он любил выйти к лошадям, — крепким перегаром лошадиного нота щекотало ноздри, — заседлать каравоного Крепыша и, поддав в теплые, нервные его бока, вынестись в поле, под тынами крепко застегнутых, блестящих в осеннем закате изб, а в поле молодцеватым шагом по межам снятого хлеба проехать до самой Королевки.

Мягко раздается под копытом лошади земля, Николай Ипполитович слышит, как она устало дышит — блестящая, влажная, напитавшаяся за лето. Законен и радостен наступающий белый покой и для нее, и для солнца, закрывающего вялый, уставший глаз за крутыми горбами Королевки. Какая полнота жизни и радость, и довольство наполняли всю его душу! Он напоминал сам себе антоновское яблоко, скользкое от соков напоившей его земли, крепкое как камень. В такие минуты он твердо ощущал свое место в жизни, его работа, его жизнь были нужны земле — он чувствовал это, и от этого сознания были в его душе всегда: тихая радость и покой. Коснувшись боков лошади каблуками, он переходил на рысь — за горбом открывалось село, просыпанное разноцветным маком крыш, стен, окон, амбаров, клунь... Как из воротника — из

купы зажелтевших акаций высывала крытую золотой шапкой голову колокольня. По горбам ветряки замахнулись широкими рукавами в небо и машут, все машут — богу, земле, жизни, уходящему солнцу. По дороге скрипит воз с желтыми тяжелыми тыквами, блестящими, как отполированная медь. Андрей в налипшей по пояснице рубахе шагает рядом, осторожно выкручивая цыгарку опрямевшими за лето пальцами. Глядя на его ноги, разведенные косьбой в стороны, на крепкую жилистую шею, прошитую черными нитками грязи по морщинам, Николай Ипполитович еще издали весело кричал, пуская поводя Крепышу:

— Здорово, Андрей.

Мужик, будто нехотя, останавливался и ожидал, пока барин подъедет.

— Здравствуйте, Николай Политыч.

— Ну, как бог милует?

— Останнее, Николай Политыч... Урожайный год, что и говорить...

Он приподымался на стремянах. О, как знакома ему эта жадность «настоящего хозяина» к земле!

— Урожайный, Андрей... Урожайный... Посеяли ли озимья?

— Дождичку поджидаем... Даст бог дождичку...

— Даст бог и дождичку...

Николай Ипполитович улыбался широкой, добродушной улыбкой. Он знал: — будет и дождь, все в свое время.

Крепыш тугим копытом рвал землю... Далеко, далеко — за плотиной заиграл пастушеский рожок. Николай Ипполитович стронул коня, и тот сразу вымахнул размашистой рысью... Кустарники заметались по сторонам, пахнуло сыростью, и над головой закачались, поскрипывая, сосны, когда Николай Ипполитович вспомнил и, удержав коня, повернулся в седле:

— Про-ошку, — весело закричал он на дорогу. — Про-ошку...

Мужик, розовевший в закате тыквами, будто кучей золотых самородков, остановил лошадь и подался вперед, прислушиваясь...

— Про-ошку дошли по утру... Рожь ве-еять...

Когда донесло по ветру, мужик замахал кнутом и закричал также радостно:

— Дошло-ю-ю...

— Вот тебе и Прошка! — сказал вслух Николай Ипполитович. Было все это словно еще вчера, а как будто и совсем не было.

В семнадцатом году, когда в Петербурге повалили царя, а по России горели по ночам усадьбы помещиков, в кровь и золото окрашивая тучи осеннего неба, на добротной этой, радостной жизни Николая Ипполитовича однажды в холодный, тронувший землю первым пробующим заморозком вечер был поставлен крест. В контору, елозя налипшими в грязь сапогами, набились мужики; Николай Ипполитович вышел к ним испуганный, но в душе все еще не верящий: не может же быть! — мужики засморкались, задвигали сапогами. Пахло от них крепкой дубленой овчиной и свежерезанным арбузом — запахом земли в первые стужи. Никто не хотел заговорить первый. Словно понимали, что делали нехорошее дело.

— Ты не пугайся, — сказал, наконец, Андрей, подаваясь вперед, но глядя в землю, — сам знаешь какое нонче дело...

— Вострое, — ухмыльнулся кто-то сзади...

— Завсегда мы к тебе с полным уважением — барин ты настоящий, говорить нечего...

Тогда заговорили разом — без робости, упрямо.

— Все одно вам теперь без надобности...

— Сами работать не станете, а мужикам на барских полях — баста...

— Порешили...

— Дом, барин, порешили на слом, а поле, не сумлевайся, — запашем...

Николаю Ипполитовичу в первый момент показалось, что все это сон, не настоящее. Подвигают сапогами, попахнут еще овчиной, уйдут — он откроет окно. Вернется к прерванному чаю. После чая он хотел ехать к мельнику на Королевку условиться о помоле. Но мужики стояли крепкой стеной, молчали упрямо, — никогда еще он не видел такого темного в них, настойчивого упорства. Помнится, тогда в первый раз ощутил он в себе какую-то странную виноватость перед ними и подумал, что вся жизнь его до этого момента была не настоящей. Будто жил он в большом и удобном доме, — из милости, водил большое хозяйство, — шутя, чувствовал себя заправским хозяином — играл удачную роль, — помело ветром, про-

снулся от долгого, приятного сна, и от сна ничего не осталось. Странно, — отчего никогда раньше он не замечал вот этих упрямых, ходивших желваками скул, жадных и упорных глаз в глаза, каменной настойчивости; они стояли стеной и не уходили. В первую минуту мысль о самоубийстве показалось ему самой простой. Зачеркнута жизнь — выйти в другую комнату и... Но тотчас же он и отогнал эту мысль. Было еще любопытство.

Он ушел из дома вечером, когда в его кабинете уже засели три мужика в тулупах — выбранные управлять имением, — пытели сизой махоркой и деловито щелкали на счетах, прикидывая хлеб в поле и скот. Ноябрьский ветер, хрустящий подмерзшим снежком по дороге, гулко, как в открытое окно, свистевший в поле, — дунул ему в лицо, когда он вышел из своего дома в последний раз. На двор въезжали подводы, на них бабы — ожадневшие, нахлестывающие по лошадям, торопились перегнать одна другую... «За комодами», с неожиданной веселостью подумал Николай Ипполитович и зашел в тень под конский сарай. Было еще ощущение какой-то необъяснимой легкости, ночь была крепка и доверчива, — в ней, будто, осталась вся старая жизнь, а за ней, с утром, наступит совсем другое, совершенно новое...

— Гол как Адам, — подумал Николай Ипполитович, и засмеялся, — в Киев что ль пойти?..

Так и пошел пешком в Киев...

Вспоминая теперь обо всем этом, он не мог объяснить себе только одного: тогдашнего своего чувства виноватости перед мужиками. Этого ощущения он не мог себе простить и не любил о нем вспоминать.

— Это какой-то фарс! — произносил он по своей привычке вслух и садился на кровати. — Допустим, что я сорок лет просидел на своей земле и в своем доме. Он допускал — это было очевидно. Двадцать лет распоряжался, косил, молотил, возил с поля снопы, от году в год богател. И в двадцать минут все эго оставил как не свое. И главное — так подло, так легко оставил!

Это было положительно выше его понимания. Но ведь со всем этим ушла жизнь, жизнь! Разве есть теперь у него жизнь? Разве это жизнь? И чем он виноват, что та жизнь ушла? Не находя объяснения, он обиженно укладывался на подушки, и тогда робкая тень надежды, как тень, упав-

шая на стену от свечи, подкрадывалась к его сердцу. Конечно, все еще вернется. Вот встанет он поутру и выйдет на свой двор в летнем люстриновом пиджаке, — «опять черти полосатые, шлею на дворе оставили», — подойдет к сараям, — гомон, шум, звон тенькающего по ведрам молока захватит слух, — «обязательно надо выписать сепаратор», а потом на Крепыше махнет в поле и будет думать, что на береговом откосе следует в будущем году засеять овес — «но только с фосфоритами, обязательно с фосфоритами...» Сейчас он совершенно отчетливо понимал, отчего земля на береговом откосе плохо родила.

Он засыпал, когда безразличное осеннее утро вплотную припадало к баракам — серое. Метался во сне — весь в удушливой власти прошлого. Маленький, нечесанный человечек с волосатой грудью, мимоходом придавленный сапогом Истории.

Х

Писем из Свиномюнде все не было. Подходил октябрь, — лагерные с утра уходили в лес за дровами — запастись на зиму. Стояла мокропогодь, деревья по зеленой одежде покрылись желтыми, наспех налатанными заплатами — с них как-то уж слишком стремительно сметало листья. Татьяна Егоровна каждый день с утренним поездом уезжала в Берлин. Все наклевывалось и никак не могло наклеиваться место. Обещали корректурные работы в типографии, нужно было ждать, чтобы ушел старый корректор: его терпеть не мог владелец типографии, но корректор состоял в союзе и уволить его без причин было невозможно. На Kurfürstendamm открывалось «Чертово колесо» — русский театр с пеньем, танцами и столиками, — требовалось черное платье, к тому же, оглядывая ее серебристый, промявшийся костюм и волчий, слежавшийся в грязный жгут мех, — директор сквозь зубы задумчиво процедил: «Впрочем, кажется, все места у нас уже заняты». Возвращалась она вечером усталой и злой: мир в эти минуты казался маленьким, тесным, негде было в нем повернуться.

— Ну, что, матушка? — спрашивала ее Зиновия Павловна, встречая у барака. С некоторых пор старуха стала

с Татьяной Егоровной особенно нежной, будто угадала что-то чутьем старой, прошедшей жизнь женщины, — все они мерзавцы, все, козлы, одним миром мазаны...

В середине октября из Свинемюнде вернулся Сырников, ездивший на съемки вместе с Косыревым, и в тот же день по лагерю пополз тихонький, въедливый слушок... Передавая его на ухо друг дружке — «только вам, милая моя, пожалуйста, не распространяйте... Сами знаете — лагери: — сейчас разнесут», — женщины соболезнующе покачивали головами, а мужчины улыбались, про себя думая, что еще за одной женщиной можно теперь поухаживать. Женщин в лагере было так мало...

За съемки в кинематографической картине «В прериях Техаса» Косырев получил семь тысяч марок. Сверх того тысячу двести за легкое увечье. Прыгая в море за Сырниковым, стариком-золотоискателем, Косырев, державший в руках лассо, уронил его в воду: лошадь запуталась в размотавшейся веревке, Косырев едва не утонул, продрог в осенней воде до лихорадки и, выпутываясь, вывихнул ногу. Лошадь подхватило бурливой осенней волной.

В тот вечер по случаю «счастливого избавления» была выпивка; офицеры-статисты, вывезенные из лагеря цирком Хагенбека для съемки картины в Свинемюнде, спали в клетке самки-львицы, пересаженной в клетку льва, — в клетке пахло острым, одуряющим запахом мочи, этим запахом пропахла одежда статистов, их вещи, они сами... Сырников утверждал, что от одного этого запаха можно запитать горькую.

Выпив, засели играть в «двадцать одно».

К утру Косырев проиграл все свои деньги. Оставалось марок пятьсот. Так азартно, не помня о завтрашнем дне, с удалством швыряя на стол крупные кредитные билеты, заработанные целым месяцем упорного труда, скачек на лошади, купанья в одежде и в гриме в осеннем море, увечьем, — могли играть только в клетке льва люди, которым нечего терять. Это сказал директор цирка Хагенбек, узнав о проигрыше Косырева. Он покачал круглой, облизанной как бильярдный шар головой, похлопал Косырева по плечу.

— В тридцать два года — не все еще потеряно, mein Herr, — сказал он, — вам остается еще Америка.

Косырев вышел из цирка со странным чувством тревоги, раздражения, тупого, как камень приваленный к сердцу, и какой-то особой, ноющей радости. В порту торопясь повизгивали лебедки, плавно опуская в черные жадно раскрытые глотки трюмов ящики, бочки. Отчаянно командовали помощники капитанов. Небо и море по-осеннему серели, в них четким, металлическим голосом переключались голоса парходных сирен... На молу, по стонавшим сходням подымались грузчики, в черных мешках поверх картузов. Ослепительно ярко желтели на солнце поручни, трубки и компас на капитанском мостике, золотые овалы букв на высоко вздетом кузове: «Caledonia» — от чувства ноющей этой, подкальвающей радости и еще от чувства какой-то свободы — будто человек болел, а теперь решил, что он здоров и встал, и оказалось, что он в самом деле здоров — глаз Косырева был зорок, он примечал и суету поторапливающегося к отплытию большого парохода, и бронзовое лицо малайца-повара, выплеснувшего какую-то дрянь за борт, и то, что за дреколем мачт и труб, распутивших по ветру пушистые сероватые хвосты дыма, — открывалось море, большое как жизнь. Острая мысль ухватила сердце сразу, сдавила. Он достал платок и судорожно потер лоб. И вдруг понял, что если не осмелится сейчас, сию минуту, — это будет, и будет сегодня, или не будет вовсе. В памяти метнулось лицо Татьяны Егоровны, ласковое, обеспокоенное: когда она думала о чем-нибудь, — у глаз отвердевали кольца ранних морщин, сейчас они показались самыми близкими, самыми дорогими...

— Ничего, пробьется как-нибудь, — нарочно грубо сказал он вслух, — мы же, в конце концов, не венчаны...

И опять подумал, что это подло. Никто не знал, и сам Косырев старался думать, что этого не было — он уже десять лет был женат. Жена осталась в России, в городке над Волгой, где по весне перезванивались в Жигулях соловьи, а снизу — на реке — озорно и громко орали плотовщики. Любовь вскрикнула сразу, вместе с окрепшими мускулами юношеских рук, с закатом, пламенным платком, поманившим в этот вечер из-за Волги. Он глядел в открытые, вдруг затемневшие глаза, на тугую косу, переброшенную вперед на грудь, не верил и спрашивал: «Маша, навсегда? Ведь навсегда, Маша?» Маша ушла вместе с войной, в бес-

цветный дряблый мешок, вот только лицо, запухшее от слез, осталось в памяти, когда, держась за пуговицу его шинели на вокзале, покачиваясь от отчаяния, она твердила: мил-лый — и не могла выговорить. Он был здоров и силен, разве он виноват, что на войну не уходят с женами? Сначала он пугался этой отчаянной веселости прифронтовых городков, где у людей был только день, но мой, а завтра опять окопы, проволока, проржавевшая под дождем, винтовка и, может быть, смерть; и той доступности, с какой отдавались женщины, приезжавшие на фронт сестрами милосердия; и той торопливости, с какой люди хватались за жизнь, когда хмельной угар первых дней мобилизации прошел, и война стала нудным, опасным — и нужным ли? — делом?

Потом он понял сам, что на войне иначе нельзя — глупо сидеть в костеле и слушать, как тонет в торжественной его пустоте орган, глупо любоваться застриженными до желтизны газонами у памятника Мицкевичу или другому великому человеку, если рядом клокочет огнями кафе, в нем вино, женщины, и жжет их улыбка. В кипевших этих городках не надо было говорить о любви, уверять в любви на всю жизнь, — это звучало бы кощунством над жизнью: кто знает, быть может, еще завтра оборвется она? Так еще война стерла в нем маленькую правду жизни, которая жила с людьми прежде — в соловьиных песнях над Волгой, в любви, зацветающей вместе с вишеником, в теплой тишине вечера, когда жужжат минские жуки в засыпающем воздухе, перекликаются колотушки сторожей, а ночь звенит подступающими снами, и ходит в ней неслышным шагом понятное человеческое счастье. Так революция потом, подлетев пьяным ветром, и его, как других, закружила песчинкой, несла, подняв, мимо поваленных церквей, попов и баб, распятых на заборах, «стенок» и тюрем, отчаянного безумства и подлости, — не знаешь в них, где начинался подвиг и где кончался он, где смрад и гнус самого дна человеческой души начиналась и кончалась, — и в пьяном вихре там не было времени подумать, отыскать свое место и оглядеться. Когда победенным вышвырнуло его за проволоку лагеря, — он понял только одно: ушли восемь лет юности, золотых, самых прекрасных лет, и выжгло ими душу как пробку, ничего не осталось в ней, и чем дальше жить — он не знает.

Любовь? — Могла ли она теперь наполнить все его существо? Как прежде... Выйти в сад, под звезды, задумчиво колеблющиеся загадочный свой свет, сидеть в малиннике на подгнившей лавочке, ждать, когда в темноте тугой ночи мелькнет счастье белым пятном платья! Смешно! Или задуматься над книгой, над тем, как человек все ищет, все ищет, песок стирает в кровь его ноги по пути к орхидеям. Взлет скалы распорол птичьей грудью вольное кружево облаков. И золото сыплется вниз под попирающей вершину ногой человека. И крик его с криком орла сплетен над белым кружевом божьих, раскиданных по небу платков. «А к стенке не хочешь?» — «Addio, ротмистр!» — в крагах, желтых и бутылками, он махал ему ручкой, а в ней была перчатка, — когда вели расстреливать. Казак стукнул его прикладом в спину, покачнувшись, он еще успел крикнуть: «До скорого свиданья, Ваня!» Смел ли он признаться, что это брат. Брат! Родной брат! Трясли яблоки в заречных садах, когда сторожившие сад бабы накрыли с поличным. «Пашка, Пашка — беги!» Рубашка вздулась пузырем, две голых пятки дернулись под самыми глазами, а потом в упрямой, вздыхавшей у берегов Волги ночи, звенел спущенной тегивой братнин крик: «Ва-аня!» Он сидел под лодкой, слушал как тихонечко подхлестывала по реке баржа, на носу кровавилась над трубкой рыжая, огненная чья-то борода, чужой голос спокойно бормотал: семь... се-емь с половиной... Только и припомнилось.

Косырев подошел к деревянной дамбе. Пароход привалился к ней белым боком, раскрыв трюм, как клюв. Грузчики в угольной пыли медленной стаей гусей проваливались в его пасть. В ней скрипел сваливаемый уголь. Уйти, уйти — все равно куда. За океан, к черту, из жизни... Вымахнул крик пароходной сирены, покатился по морю стоном...

Шли вторые сутки по Балтике; к иллюминаторам вплотную припадал липкий туман, в нем едва просвечивались дразнящие хохолки волн, с воем прядавшие от крепких, замшелых стен. Косырев сидел на койке в матросской каюте, пахло в ней кислым, прелым потом немытого мужского тела, по стенкам, приколотые булавами, раскачивались фотографии голых баб с громадными, наглыми грудями; на верхней койке заботливо обернутые в холстину лежали сапоги: в иллюминатор тянуло

засвежившей волной, стучавшей в потное, осклизлое от испарины стекло. За пятьсот марок матросы согласились спрятать в каюте и доставить его в Манчестер, куда шел пароход с грузом леса.

Каждую свободную минуту в каюту приходил один из матросов — молодой, в заветренных, обвисших усах. Молча садился на койке и отпирал сундучок. Из него доставал он новенькую, ладную гармонику, пригибался к ней ухом, растягивал послушливый, певший мех... Играл сам себе ласковое, бравшее за душу простотой напева... Потом его звали на палубу — к штурвалу или к парусам, он обрывал музыку одним и тем же покорным, жалобным звуком, бережно укладывал гармонику в сундучок и выходил.

Под вечер, когда на мачты взлетали красный и зеленый фонари, и в тьму ночи, подпиравшую пароход спереди черной своей грудью, протяжно и предостерегающе ревели сирена, упрямая о спокойном его ходе, — матросы возвращались в каюту, долго, не торопясь, ели, молодой в заветренных усах тотчас доставал гармонику, заботливо осматривал клапаны и щупал — не порвался ли? — мех.

Косырев ворочался на верхней полке, втискивая голову в промежуток меж сундучком, пахшим густым, въедливым клеем, и иллюминатором, и все никак не мог понять, зачем он едет, зачем решился на такой непростительный шаг? Внизу вкусно хлебали суп матросы. Молодой все пробовал гармонику, любовно наклоняя к ней ухо. В окно подхлестывали волны. С палубы — далекий, придушенный — пропел колокол, за ним, закашлявшись, ухнула сирена... Жизнь... Разве от нее уйдешь?

На самый Покров случилось в лагере событие, потрясшее до основания все устои и навыки его жизни. Как и следовало ожидать, виновником оказался Сырников, давно безнаказанно порочивший мундир русского офицера за границей. Недаром предупреждала мадам Петунникова о необходимости освободиться от нежелательных элементов. По ее и вышло.

Стоял свежий, покрасневший осенней улыбкой день. Немцы на селе справляли праздник плодородия. Десят-

ки телег — в цветах, в плодах, в хвое, — разукрашенные и нарядные, — с шумом, с гамом, с песнями продвигались по улицам. Впереди в зеленых мундирах ехал верхами оркестр, — оглушительно ревели трубы под напором красных, надувшихся щек. За оркестром равнодушно вышагивал вол — в венках и с колоколом; на нем сидела верхом первая красавица села; ее волосы в лентах вились по ветру; в руках она держала флаг, взмахивала им, как королева булавой. За ней на телеге два гнома в красных колпаках молотили снопы, кричали «хох», потом вынимали бутылки с коньяком и жадно припадали к ним. Процессия обошла кругом села, — из окон махали платками, зонтиками, у церкви патер произнес прочувственную речь, старушки отерли глаза, когда дрогнувшим голосом он объявил, что немцы должны в два раза больше работать, ибо война отняла многих работников у фатерланда; первая красавица, покраснев, прочитала собственные стихи; рванула труба, на лихом коне с порванной в войну ноздрей вынесся вперед дирижер оркестра, закачались брюквы, репа, капуста, морковь на повозках, опять замахали цепи красных гномов — процессия в последний раз потянулась по деревне. Вечером в Шульгтейсе был назначен бал с фокстротом и джимми — нужно было отдохнуть.

Когда проходили мимо лагеря, — обитатели его высыпали к воротам, жались у стен, — словно отчего-то им было неловко, и чему-то они завидовали. В пестром хороводе обряженных в цветы телег увидели они Соколовского, Андрея Степановича, восседал он под аркой хвой, под качавшимися брюквами и большой желтой тыквой, держал на коленях старшего сынишку и правил лошадьми. Проезжая мимо лагерных, отвернулся.

Зиновия Павловна недовольно пожевала губами, сказала вслед:

— Совсем батюшка наш Андрей-то Степанович немцем заделался... И не узнал старуху...

Скворцов надул щеки и, кося глаза на ее халат, сказал с улыбкой:

— А ты бы, матушка, еще в перину обрядилась... одеяло не одеяло, халат не халат... Кто тебя в этом наматраснике узнает?

Содержатель «Кантины», рассудительный немец, опасно поглядывал на своих клиентов. Знал по опыту — по

нахмуренным лицам, всегда нахмуренным, когда село справляло свои незамысловатые праздники — без скандала день не пройдет. «И зачем они тут сидят?» — недоумевала честная его немецкая голова. Впрочем, задать этот вопрос во второй раз он не решался: пьяный Сырников, Donner Wetter, поднес однажды свой волосатый кулак к самому его честному, розовому от пива носу.

Вечером в одном из барачков, специально приспособленном для семейных спектаклей, состоялся концерт. Весело качались в синем дыму электрические лампы. Сусанна Львовна, лагерная жеманница и примадонна, пропела под гитару «Как печально камин догар-р-рает». Как в старое доброе время в Александринке или еще вот у киевского Кручипина дружно захлопали, занавес из двух сшитых одеял, с бутонами искусственных роз посерединке, побежал в стороны, и на сцену вышел... капитан Сеницын в полном походном снаряжении — в ремнях, обинтованных грудь, при шапке и с полевым биноклем.

Капитан поправил пенсне на своей пуговке и приосанился. Недаром он сегодня решился на публичное выступление: — грозные симптомы разложения проникли в самый лагерь. От наблюдательных его глаз это не могло ускользнуть. Поручик Босачев — койка № 2, барак № 15, восьмого гренадерского полка, пятой роты — по совершенно достоверным сведениям третьего дня был в Берлине в миссии на Унтер-ден-Линден, что он там делал — по свойствам секретного характера пока не подлежит оглашению. Об этом донесено рапортом, во-первых, министру внутренних дел германской республики, во-вторых, начальнику штаба генерала Врангеля в Карловцы. Сегодня он хотел предупредить. Благородство русского офицера его вынуждало это сделать. Его обязанность — старшего в чине — разъяснить.

— Господа, — Сеницын отступил шаг назад...

В зале колыхнулся шепот, вдруг выровнялась тишина. В тишине стало слышно, как гудел под полом сквозняк.

— Господа, я хотел, воспользовавшись сегодняшним вечером, сказать вам несколько серьезных слов. Скоро уже пять лет, как кучка мошенников, продавшихся нашим врагам, захватила в России власть и держит ее в своих кровавых руках. Стонет под гнетом их власти родина, задыхается в объятьях паука... Разграблены святые хра-

мы, представители известного племени надругались над мощами, задушена жизнь, голод и людоедство в стране, некогда благорасцветавшей под скипетром великодержавного русского орла... И вот в этот самый момент, когда паскудство и ужас катится по голым русским полям, — известно ли вам, господа, что Европа готовится признать насильников, узурпаторов и угнетателей русского народа законным российским правительством? Известно ли вам, что готовится, я бы сказал, легализация самого страшного злодейства, какое когда-либо помнила история цивилизованного мира?

— Совершенно неизвестна, — пробубнил пьяный голос сзади.

— Ш-ша!

Капитан в волнении стиснул руки.

— Я позволю себе, господа, предложить вам от имени остатков могущественной России, к голосу которой прислушивался весь мир...

— Мир-р-р, — подбросил Синицын кверху палец.

— Р-р-р-р... — рывкнул в задних рядах тот же пьяный голос.

— Ш-ша!

Негодование застрекотало, как просыпанные по полу орехи:

— Чо-орт знает — безобразие какое...

— Напиваются, как свиньи...

— Позор...

— Дай ему, Саша, в морду, — солидно посоветовал чей-то бас.

И когда вновь устоялась тишина, — востренький, перетянутый ременными бинтами человек, напряженный до гуда в груди, с нетерпимыми сумасшедшими глазами — заметался по сцене будто язык пламени и вдруг вырос — огромный — приказывающий — знающий, что сила и толпа в его руке. Он вскрикнул свистящим, хлещущим тенором в безмолвно разверстые, обомлевшие рты, властно приказывал, он требовал в упор:

— Немедленно... телеграмму... Ллойд-Джорджу и Эберту... Мы, вынесшие на себе пять лет войны за честь и освобождение России, протестуем... Мы, брошенные в лагеря в угоду интернациональным палачам, распинающим нашу родину, тре-бу-ем... от имени освобожденной, вос-

Вовремя дали занавес. Полыхая пыльными крыльями, одеяла бросились к середине, смыли капитана, стоявшего на будке, только лезвие пашки, прижатое бутонами, с секунду еще поторчало угрожающей пикой, потом скрылось и оно...

Следующим номером должен был Сырников декламировать стихи. Дитина вышел на сцену безнадежно пьяный, зачерпнул сапогом за ковер — фи...

— Какая мерзость! — в театральном шепоте этом лицо Сусанны Львовны поморщилось.

— Ну, батюшка... — развела руками Зиновия Павловна.

Но Сырников, замахав на старуху руками, мотнул примадонне хлеставшим по потному лбу коком, — ехидная улыбка вдруг раздавила слюнявые его пухлые губы.

— Пр-родолжение, — объявил он.

Сзади зашевелились. Поддразнивающий смешок вспух и тотчас опал. Молодежь, очевидно, в стачке. Петунников беспокойно задергался на лавке.

— Гаспа-да... шел я по лагерю... и нашел чеховскую книгу... Гы... можно почитать?...

— Просим, просим...

— Хи-хи...

— Шел, иетта, и шел, и нашел...

Сырников выволок из кармана смятую вчетверо тетрадь. Глянув на нее, Петунников с ужасом узнал одну из тщательно занумерованных тетрадей Синицына — совершенно секретный документ, который даже ему, Петунникову, человеку своему, капитан не показывал.

— Ну, Господи... — подумал Петунников и обмер. Слово падал в пропасть. Даже уши похолодели.

— Номер первый, — начал Сырников, — Скворцов, Николай Ипполитович, бывший помещик, пьет... беспринципный интеллигент... неблагонадежного не замечено... к замещению административных должностей по причине шатания ума не способен.

— Номер второй — Татарников, Иван Сергеев, называет себя поручиком... На язык не воздержан и в обращении резок... чувства нравственности лишен, сему способствует и жена его, Антонина Сергеева, 28 лет... О священной особе мученически почившего государя императора отозвался не одобрительно... Подлежит тщательному до-
смотру...

— Номер третий — Босачев, Илья Антонов, бывший подпоручик — явно подозрительный тип. От верных людей поступили сведения о том, что дважды был в большевистском посольстве на Унтер-ден-Линден. Холост. На лице имеет отличительные знаки оспы. Занимается возвращением лагерной молодежи в жидо-массонство, что усмотрено из чтения им левых эмигрантских газет и даже «Известий».

— Номер четвертый — Петунников, Михаил Степанович, полковник, по лагерной кличке «гусь под березой»...

Зал грохнул сразу и задохнулся в бешеном реве. Люди словно сорвались — стонали и задыхались от смеха. В реве этом, острый как прут, выбился женский крик: «Ме-ерз-за-вец!» — утонул в лошадином грохоте ржавших глоток. Топотали ноги. Угрожающе застучали по стульям палки. Занавес, как ошалевший, хлопал полотнищами. И только когда кто-то догадался потушить электричество, — рев смыло как волной, и, торопясь, люди стали пробиваться к выходу.

XII

Двенадцать старейших офицеров лагеря на другой же день имели секретное совещание. Было ясно, что оставить такой неофицерский проступок без всякого наказания совершенно невозможно. Это в конец подорвало бы авторитет русского мундира как в самом лагере, так и в глазах «гостеприимно приютившей нас страны». Сохранения самого дневника собравшиеся не касались, — всем была известна горячая любовь капитана Синицына к родине и его писательские наклонности, за что он и пострадал еще в свое время на службе. Налицо — явные плоды большевистской пропаганды, успевшей свить гнездо в самом лагере.

Петунников предлагал с помощью германской полиции произвести немедленный обыск.

Но с этим никак не мог согласиться Никашин, генерал-майор. Генерал находил, что у немцев после Версальского договора, пожалуй, достаточно и своих забот, и беспокоить их еще лагерными дрязгами неудобно.

Есаул Чепуренко жалел, что уничтожены военно-полевые суды, отлично умевшие справляться с подобными молодчиками.

Но как вместе с тем поступить?

Кто-то предложил отеческое увещевание — случилось и прежде, в старое доброе время, что по выбору командира полка старейший подполковник или капитан убеждал, бывало, какого-нибудь забулдыгу-поручика окон в трактирах не бить и девок на улице за сиськи не щипать. Иногда такие увещевания помогали.

Все, однако, сошлись на том, что незапятнанная честь русского мундира, которую до сих пор в лагере умели с достоинством поддерживать, оказалась затронутой, что дикая выходка эта на руку врагам России, т.е. большевикам, если вообще не была инсценирована ими, и что, наконец, нужно реагировать.

Самое простое, конечно, выбросить Сырникова из лагеря, заодно выбросить и Босачева — одного поля ягоды! Но как? Оба попросту могли ответить, что здесь не казарма, а лагерь для беженцев, и в нем нет ни полковников, ни поручиков, все равны, и никто никому не подчиняется. И они были бы правы, получился бы еще больший конфуз.

— Должен вам заметить, — сказал генерал Никашин — белые протабаченные усы его наставительно приподнялись, — вопросу я придаю серьезное значение в его, так сказать, историческом аспекте. Дело в том...

— Ну, и мерзавец, — искренне вздохнул Петунников.

— Все дело в том, что, видимо, со стороны неприятеля это — первая попытка к наступлению на нас, я бы сказал, на тот сколок старой, не умершей России, которую мы храбро защищали грудью и вынесли сюда...

— Да?

— Да. У меня есть основание полагать, что Россия изменилась до неузнаваемости, ее настоящее здоровое лицо унесли русские люди за границу, берегут его всюду — и здесь, в Германии, и по колониям гостеприимной Югославии, и в Болгарии, и в Константинополе... Это-то врагам нашей родины и нужно в первую же голову разрушить, чтобы потом не осталось, я бы сказал, даже исторического воспоминания о былой великой России...

— О, негодяи! — простонал Петунников.

— Эти соображения и материалы являются ныне ос-

новным лейтмотивом моих воспоминаний... Я уже предложил их Гессену в «Архив Русской Революции», да... Н-н-но... Мы не должны забывать, что с одной из разновидностей этой очередной работы большевиков за границей мы, несомненно, имеем дело и в данном случае...

Практического выхода все-таки не было.

Старики недоумевали. Враг проник в самую их среду — это было очевидно. Пропала Россия псу под хвост — тоже очевидно.

Решено было вывесить имя Сырникова на черную доску, а им — двенадцати — под порицанием расписаться. Чувство порядочности должно же заговорить даже в самой потерянной душе!

Доска была вывешена с утра. Омерзительным и недостойным мундира русского офицера был назван на ней проступок Сырникова.

Но шли дни. Под дождями поползли речками чернила на доске, заглохла очередная, старушечья тема у общих плит, по-прежнему дымили павлиньим сизоперым дымом бараки по утрам, скреблись в них крысы, и клопы табунами ходили по-прежнему, — но вошел все же в жизнь лагеря новый дух — недоумения и раскола, разводил, разводил потихоньку людей в два стана, и с опаской стали шушукаться за перегородкой из одеял, а мысли запрятали поглубже — в самое дно обиженных, тоскующих душ, в ночь, когда хлопает она крыльями ветра по облупленным, запотелым рамам, свистит в похолодевших печах, таит в себе многое... Многое таит в себе чужая ночь под чужим, негнущим небом.

После случая с шашкой, как окрестили инцидент лагерные остряки, словно по сигналу посыпались всякие несчастья. Они всегда нападали вместе с первыми стужами, с ветром, озорно свистевшим в щели, выбивавшим назад печной дым в коридоры. Каждый год задыхались в эту пору дети в коклюше; кашель и стон колотились по ночам, тряся перегородки, на заводах начинались несчастья и безработица, с летних заработков и побывок — разочарованные — возвращались «летние пташки»... Но никог-

да несчастья не наваливались так сильно. Точно вместе с дождем просеивало их тупое, нагнувшееся к самой земле небо, безжалостное к маленьким людям, присевшим в одеялах на чужой земле.

Жгуче и крепко ждала Татьяна Егоровна. Голова воспалилась от ночных дум. Хватит, хватит ли сил дожждаться? И когда подлое, пытавшееся оправдаться, пришло, наконец, письмо из Манчестера, — вырвалась боль в крике, пронзившем барак. Простоволосая, в растерзанном капоте — лежала на полу, о стенки кровати колотятся головой, и выла на голос как баба... Выла как затравленная волчиха — неустающим, звериным криком. Тогда ходили в бараке на цыпочках — еще умели в нем уважать горе, — прислушивались как дзенькают вспотевшие стекла в ответ на жадный нечеловеческий вой.

— Словно с жизнью прощается, — покачались космы Зиновии Павловны.

Но в комнату ее никто не шел. Неутешное было женское горе. Какими словами его утешить?

Скворцов сидел в своей каморке на кровати — тень его трепетала на стенке, уродливо наползая к углам. Он вслушивался, боялся уронить хоть один звук, копьём втыкавшийся в грудь. Боялся сам упасть на колени, поднять голову, завывать, завывать... завы-ыть... последним, сотрясающим криком. И поползти... Поднять морду и выть... А-а-а... А-а-а... А-а-а...

Когда упал, наконец, голос женщины, — только жалобно скулил он, — обиженный, расколотый колокольчик, Скворцов подтянул съехавшие к пяткам штаны, шатаясь, пошел вон. Упрямая за баракom колотилась ночь. Висела в ней луна, багровая, — расхлестнутое мукой сердце, и кровь стекала с нее на дороги, — будто обнажились кровавые вены земли, исходила земля кровью... Мохнатые кусты казали окровавленные свои рожи, рогами, усами и лапами хватались за одежду... Взметал и вился ветер, будто ведьмы закрутились в пляске... Все горя человеческие, все печали, болезни и зло вобрал он в свою грудь — вот барабанами гремит зло в его сердце, и страшен будет прямой его вопрос. Кому? Богу, Истории, Родине, Человеку...

Только когда вышел в лес, и сосны сомкнули зонты над пылающей его головой, а вдали засипел гул подходящего

поезда, а потом вымахнул он над косогором — острыми двумя мечами пронзил тьму, и, завидев их, жалобно запел станционный колокол, и в ответ ему рванулся тугой рев горла, прорвавший тьму, — сел он, маленький, у дороги, подвернул пальто к простуженному горлу, просидел до утра — в каменном оцепенении, без мыслей.

Продрожав в лесу ночь, Скворцов встал, опустил воротник пальто и бодрым шагом пошел к лагерю. Ну, что ж! Решение выкинулось само собой, теперь он знал, как нужно поступить... Силы еще придут, еще придут силы. И этой вот головы хватит на двоих...

На горизонте мотались вялые перья зари. Шел зимний холодный рассвет, как холодная ванна, освежающая душу. Скорее, скорее — она прекрасна как огонь, как воздух, как поднимающееся солнце — простая жизнь человека. Ей — всюду одинаковый светит свет, и всюду одной мыслью — о жизни — пропитаны нервы Земли. Жизнь — единственно Прекрасное, Чаемое, глоток огня в остуженное горло, путнику возжаждавшему в пустыне, живительная чаша... Как же раньше он не догадался об этом? Величаво и покойно — независимая от войн и революций, вольным ходом омывающая их кровь, течет река жизни в прекрасных своих берегах, — и волнам ее не бойся верить душу, блуждающий путник! Он бежал, путаясь в полях нескладного своего пальто. Сорвал с головы шапку, длинный нестриженный волос трепался косичками по воротнику...

И в воротах лагеря едва не сбил ее с ног.

— Татьяна Егоровна!!

— Что, голубчик?

344

Она обернула лицо немое, но спокойное. На лице он видел только глаза — словно они упали внутрь, так они были пусты.

— Куда вы?

— В Берлин.

Тут только он заметил чемодан в ее руках.

— Зачем вам в Берлин?

— А что мне здесь делать? — сказала она спокойно.

— Оставайтесь.

Он уже верил, что сейчас скажет. За руку возьмет — просто, ласково. Жизнь, жизнь вернется в пустые эти глаза... А разве к нему не вернется жизнь? Так кто же тонет?

Кто, кто?.. И чувствуя, что говорит не то, что вот одна выбилась минута — что в ней было спасение, что не поднять ему радости, готовой солнцем упасть в безмозглое, страшное это утро, он ухватил ее за руку и зашептал — подло, трусливо, неверно:

— Вернется... Он еще вернется... Не верьте...

Она тихонько высвободила руку.

Видал потом, как таяла ее фигура в сизом молоке. Тает так свеча, подожженная с двух концов.

XIV

В тот самый день к вечеру — капитан Синицын, задыхаясь, ворвался к Петунникову с доказательствами измены в руках: уезжали-таки в Россию Сырников и Босачев. Не далее как сегодня их видели выходящими из посольства на Унтер-ден-Линден, причем оба предательски улыбались. И пока два человека в сумятице душившего негодования, не слушая один другого и заходясь в гневе до сипоты, как две тени, шарахнувшие из углов, кричали и размахивали руками, — старший Петунникова сын, Сашка, опрокинул на себя самовар. Короткий, словно придавили дверью мышшь, чиркнул писк и смолк.

И во второй раз замотался над лагерем вопль. На голос кричала мать...

Тогда лагерь притих. Запрятались люди по своим каморкам. Беда и несчастья стучались в окна вместе с дождем. Демонами стояли вокруг лагеря, каждый его шаг в неистовстве истребления стерегли. И под взглядами демонов с покорством отчаяния смирились люди...

В холостом бараке, ковыряясь ножницами в потных грязных мозолях, Сырников поднял от ног голову и сказал с усмешкой:

— И чего воеет?.. Народили тоже уродов... бога благодарить должна...

— Живая все-таки жизнь, — угрюмо отозвался Босачев.

Сырников помолчал, отколупнул желтую затвердевшую мозоль и спокойно ответил:

— А я, брат, вот что скажу... В нашем положении детей заводить — по меньшей мере подло...

XV

По двери легонечко поскреб ноготь.

— Николай Ипполитович, спишь?

Скворцов со злостью поднял голову.

— Не сплю. Чего надо?

— Я это — Зиновия Павловна... Дело есть...

Подтянув одеяло под подбородок, буркнул:

— Входите.

— Ну, и дух у тебя, — запела входя Зиновия Павловна, — прямо сказать — живым покойником пахнет...

— Покойник и есть...

— И все ты с глупостями... И постарей тебя будут, а не жалуются... Проветриваешь ли комнату?

— Пока не проветривал.

— А ты проветри... Да не поленись — подмети... Смешно сказать, в этакой-то помойке, да живой человек живет... Зайти-то к тебе и то страм... Эка, до чего себя довел...

— Пришла зачем?

— А ты не торопи... Зачем пришла — все выложу... Батюшки мои, — вдруг всплеснула старуха руками, — да знать у тебя в раме-то стекла нет? Да как же это ты без стекла живешь?

— Э-к-ка удивила... Его, поди, второй год нету...

— Да чего ж ты мне-то не скажешь? Да что ж я тебе враг что ли, байбак ты несчастный? Дай сюда подушку...

— Постой, постой...

— Давай — тебе говорят... Заболеешь — возись с тобой, с красавцем немазанным.

346 Старуха выдернула из-под головы подушку, забила ею щель в окне — выходила щель на помойную яму, — присела потом на край кровати.

— Хочу я тебе сказать, Ипполит Николаевич... Дело наше бабье — плохое дело... В родной стороне и то женщине одной соблюсти себя трудно, про чужую что туж говорить... Пропать...

— Это ты о ком?

— О ней все... о Танюшке... Съездил бы ты, батюшка, в Берлин... Недалекое дело... Посмотрел бы, как живет... Ноет по ней мое сердце...

Скворцов с досадой приподнялся на локтях.

— Что каркаешь? — спросил он грубо.

Но старухины глаза горели ровно. Бежали от них лучики затвердевших морщин — тихое сияние старости, понявшей все и простившей все. И как всегда под смиряющим их блеском он сдался, — словно упал в пропасть — покорно, без сопротивления. Стояла в старухиных глазах правда живой жизни — уверенная в себя, твердая, как солнечный луч, полоснувший мертвую по утру реку. И опять перед жизнью, словно перед светом, нестерпимо брошенным в очи, — показался он себе маленьким и бесильным...

— Что ж... я съезжу, — сказал он глухо.

— Съезди, батюшка, съезди ... я тебя завтра побужу...

Дверь за ней тихонько притворилась.

— Не уснуть, — тоскливо подумал Скворцов и принялся курить, ожесточенно зажигая папиросу о папиросу.

Мысль — не мысль, облако приваливалось к голове, влипчиво припадало к глазам, беря пустоту окон. Эта пустота была чернее ночи. Побороть ее, пронзить острым копьем желания, обогреть мыслью, которая вдруг полыхнула бы как молния и всю осветила жизнь — Скворцов не умел.

А мысль шажком прогуливалась вокруг, вылезала тысячами крошечных червей из всех щелей барака, из бедноты его, из грязи его, из унылой его ненужности... Она трепетала в плаче ребенка, настойчиво верещавшего за стеной... Она скрипела в топоте крыс, носившихся под полом... В пьяной ласке, беспамятной и постылой, от которой уже затряслась, всеми гайками и болтами запищала кровать в соседней комнате — у Татарниковых:

— Умер ты... умер... умер...

Каждый раз это было мукой. Надо было начищать сапоги, подметка подхлестывала зевом, обнаруживая пальцы. Соскребать стеарин со штанов — откуда только он брался? Брить жесткую, непослушливую щетину на оплывших от привычной бессонницы щеках. Ах, этот Берлин! Скворцов терпеть не мог ездить в город.

С утра моросило совершенно омерзительной слякотью. На крошечном полустанке ожидали поезда люди в шинелях, перешитых в пальто, у женщин вязаные весе-

леньких цветов шапки и котиковые затрепанные в тряпки манто, свертки — трепалась в руках разлезающая, мокрая бумага. С ранним поездом ездили в Берлин все, кому удалось получить службу: в вязальных мастерских, на папиросных фабриках, в ресторанах...

— Это еще те, что не сдались, — подумал Скворцов.

В купе крепко воняло дешевой сигарой. Желтые, обнаженные дымились за окном осклизлыми туманами поля. На дорогах озорно заметало лист, под ветром голые сучья, как когти, царапались по заборам... В сигарном дыму, щипавшем глаза, покачивались лица; осень ли, голод положили желтизну на лоб и щеки, — она светилась прозрачная, точно слоновая кость... Скворцову казалось, что купе — набитый мертвецами гроб, братская могила; в сизое это утро мертвецы приподнялись в ней от скуки и медленный завели разговор.

— Я болен, — подумал Скворцов с тревогой.

Мертвец в синем саване напротив погрозил пальцем и засмеялся, выскалив тронутые зеленой ржавчиной зубы. Скворцов скорее догадывался, чем слышал, что он говорил.

— Этот негодяй повадился ходить в наш ресторан каждый день. Ну, знаете... типичная большевистская морда... щеки в оспе, усы как у парикмахера... «Что это вы, молодой человек, — спрашивает у меня, — в ресторане служите?» — Предпочитаю, говорю. — «Предпочитаете — это похвально. А предполагаете ли вы, говорит, в Россию поехать?» — Нет, отвечаю, не предполагаю... — «А почему же это вы не предполагаете?» — А вот, говорю, когда Россию устроят, да всех большевиков перевешают, тогда, говорю, и поеду... Так прямо в самое его гнусное хайло и сказал... «А кто же это, говорит, для вас, ма-аладой человек, устраивать ее будет?» — А сам двадцать марок на чай мне протягивает... Ну, знаете...

— Взял, гляди, подлец, — с лукавостью замигал желтый саван из угла.

— Нет, не взял...

— Хе-хе... хе-хе-хе...

Это был такой гнусенький, влипчивый смешок. Скворцов с укором оглянулся. Но смеялся он сам, прикрывал рот дрожащими вспотевшими пальцами, с омерзением чувствовал, как в мелкой дроби зашлись и не слушаются зубы.

— Я болен, — подумал он опять.

И опять увидел желтое, оскаленное лицо, нагнувшееся к нему в сигарном дыму. Оно таращило пустые провалы глаз, — Скворцов внимательно всмотрелся в черные их дыры: сомнения не было — дыры были пусты, подленький маленький роток зябко ежился и жевал слова, тягучие, как кисель:

— Они расхаживают нарядные, как куклы. Но это же в самом деле — недорезанные буржуи. Я нисколько не обвиняю большевиков: эти куклы действительно пьют кровь. Их двадцать кукол с восковыми лицами и руками, едва обтянутыми кожей. Когда я прихожу за работой, двадцать кукол покашливают в кулачки и ласково спрашивают: «Вы пришли за работой?» Они уговаривают меня поторопиться с мережками — дама, которой я шью рубашки, хочет поехать на курорт. Я соглашаюсь, две куклы записывают мою фамилию, а мне дают бумажку с адресом. В этой бумажке две подписи — одна княжеская, другая графская... Князь провожает меня до дверей и все шепчет, что дама — не какая-нибудь дама, а очень богатая дама, которая даже хочет ехать на курорт в Италию...

— Вы говорите — граф?

— Да, граф.

Скворцов опять не удержался — засмеялся тоненьким поддразнивающим смешком:

— Как ждет, — сказал он, — как ждет его обношенная Россия!

— Вы знаете генерала Артиллеристова?

— Я?

— Позвольте, позвольте... Кажется — это бывший иркутский генерал-губернатор?

— Да, он бывший иркутский генерал-губернатор.

— Тогда я знаю генерала Артиллеристова.

— Генерал Артиллеристов открыл на Йоркштрассе танцкласс и очень успешно обучает фокстроту и джимми.

— Никакой труд не унижает человека.

— Вот именно.

— Господа...

Мертвецы замолчали. Тугая пелена дыма обволакивала лица, желтое с синим давало зеленое, — стали зелеными лица и торопливый их оскал, цедащий слова в пустоту. Скворцов привалился головой к косяку, —

голова налилась свинцом, как тегель, и мысль в ней бурлила плавленным свинцом.

— Я говорил, что даром это не пройдет...

— А жаль парня! Вот уж воистину русская душа...

— Что такое?

— Вы не знаете?

— Да как же! Помните поручика Сливенкова?.. Маленький, еще — в велосипедном шлюпике ходил... Так вот пошли они — он и Тугоусов — с кокаином в Голландию...

— В Голландию?

— Вот именно. Ну, на границе немецкий часовой: «Стой, куда идешь?» А они — будто безработные, работу ищут... Услыхали окрик, бежать... Три фунта кокаина — тоже не шутка... Сливенкова, знаете, на месте, а Тугоусов спустя час в больнице помер...

— Русская жизнь, — вздохнул визави в синем, — кому жаль русского человека? Никому не жаль.

— Разбрелись по всей земле, как клопы, в чужие комоды и кровати залезли, а зачем? Неизвестно зачем?

— Размотали, растрепали Россию, бродим теперь нищими под чужими окнами...

— А все большевики! — сказал кто-то со злобой.

— Ну, брат, — не одни большевики, от каждого есть своя капля меду...

Поезд подходил к Берлину. Мохнатые от перегара очертания труб покачнулись в окнах. Заскрипели, засипели колеса на стрелках. Сбоку — из-под земли выскользнула желтая земля унтергрунда. За ней пролаял жесткий голос контролера: «aussteigen», в открытые двери рвануло дождем и слякотью, по перрону, обгоняя, побежали люди... Подняв воротник своей шинели, Скворцов вышел на вокзал.

Скворцов шел по Potsdamer Strasse, поеживаясь в легком своем, переделанном из солдатской шинели, пальто, и думал, что прийти так рано к Татьяне Егоровне, пожалуй, неудобно. Мимо, обгоняя его, желтой непрерывной цепью волоклись вагоны трамвая; на площади, звездой улиц разбежавшейся по сторонам, щуцман в каске взмахом руки удерживал податливый напор автомобилей, улица ревела утренним грохотом железа, развозившего людей по домам-коробкам... Город вставал к железной неумолимой жизни, клекотавшей свистом трамвайных

колес по рельсам, зычными выкриками уличных продавцов, живым бегом людей, будто невидимой цепью связанных за руки... У Потсдамского моста Скворцов остановился передохнуть. От реки, вправленной в твердый камень, напоминавшей оттого остывшую, сбегаящую по желобу сталь, тянуло пронзающим холодком. Ветер трепал афиши на театральном столбе, смокшие за ночь. Чувствуя головокружение, Скворцов в тревоге прислонился к столбу, — боялся упасть на улице. Глядел словно сквозь сон, тупо, как закованная в железо мчалась мимо жизнь, и думал, что она беспощадна, что изомнет, раздавит, разметет в клочки, если сейчас он не удержится, не напряжет остаток холодеющих сил и поддастся болезни.

— Пойду, — сказал он по привычке вслух и пошел, держась ближе к стенам.

Совершенно безразлично — год, два, он мог прожить еще тысячу лет, но в этой вот жизни ему места не было. «Разве я не хочу, — подумал Скворцов, — я не могу...» Ему показалось, что трамвай, автомобили, люди, даже дома — гигантские серые склепы, опутанные в проволоку стальных нервов, — все мчит по наезженной, блестящей рельсе неизвестно куда, а он стоит подле — маленький, никому не нужный человек, у которого в груди остался осколок разбитого зеркала, а в ушах еще звенит утренний клекот коростеля в жарком соку цветущих, раскидавшихся лип... Было совершенно очевидно, что он остался русским, что прошел мимо жизни Запада за последние эти три года, ничему не поверил в ней и ничему не научился... Это сознание наполнило его радостью, ему представлялось, что Россия — мать, ее глаза прищурены в радугу лучистых морщин, улыбка развела рот, ласковый под прощающей улыбкой.

— Надо ехать, — сказал он громко.

Немец, проходивший мимо, вынул изо рта сигару и внимательно на него посмотрел.

— Поеду, — сказал ему Скворцов и подумал: — Если Россия не может вернуться ко мне, я должен вернуться к России... Должно быть, у меня горят глаза... Это от болезни... Почему он так внимательно на меня смотрит?.. Я в самом деле, пожалуй, поеду...

Он прижмурил глаза... В мельканьи красных пятен открылось вдруг чистое, снежное поле, на нем лежали си-

ние жирные пятна луны, потрескивал мороз по оврагам, а от дальних, по самой земле мотавшихся огоньков села потянуло вкусным дымом, отбрехали собаки, совсем близко запели полозьями сани, и чей-то голос радостно сказал: «Садись что ли, Николай Ипполитович... Эка, снегу-то бог послал».

— Бред, — подумал Скворцов вслух, — я болен...

И пошел вперед, хватаясь за воздух и боясь упасть, боясь разбить маленький осколок, глянувший неизвестно откуда и согревший вдруг ненужную, постылую жизнь. Сейчас он боялся признаться самому себе, что жизнь его нужна, что кто-то там — за рельсами, за мельканием красных кругов лихорадки, за бегом живой жизни связанных невидимой веревкой за руки людей — ждет его с прощающей улыбкой, приласкает как сына, оценит этот подвиг во имя любви, отогреет и ободрит.

— Как мать... как мать, — повторял, он бессвязно, ускорив шаг...

XVII

С этой новой, нежданно запевшей радостью он бежал, путаясь в полах нескладной подхлестывающей шинели. Синицыны, Петунниковы, лагерь, грибы, неподвижный Кузнецов у помойки и дождь, гниение, гниение... Медленное — как труп, выброшенный на дорогу, — где он видел его? В поезде, когда носились от красных, раскачивали за ноги и кидали прочь из вагона трупы; их много лежало по пути — удушливо, одиноко, ненужно гниющих... Теперь он найдет силы и слова, целью — какой огромной, блестящей молниями у самых глаз показалась она ему — великой целью да освятится любовь...

Он пробежал дом три раза, вернулся к нему опять — вот сорок первый, это он, а в нем еще одна маленькая капля, она долблет сердце верой, и тогда ничто не станет страшно. Тяжело дыша, он бросился вверх по лестнице. Пахло на ней газом и собачьими следами. Сверху — в пролет лестницы отсвечивали зеркала, — падая, свет рваными квадратами ложился на двери.

— Боже мой, как все просто! Ах ты, боже мой, как все это просто...

Скворцов надавил кнопку. Скорее... Радость так редко падает на голову человека. Какой светлый квадрат налег на двери. На сердце лежал радостный квадрат отраженного света. Какого? Любви ли — не она ли теплое дуновение ветра; вот гонит он волны легонько, легонько бегут по реке волны, и вдруг — вспученной бездной поднимается река, ломая берега... Надежды ли — не она ли рукой матери касается к сердцу, уставшему жить, легким, полногрудым вздохом отвечает оно, и вдруг стогудым ревом ревет пробужденная жизнь...

— Эй, вы, скорее!

Дверь с осторожностью отворилась — он отодвинул старуху-хозяйку, пошел к комнате, чутьем угадывая в которой.

— Татьяна Егор-ровна!

— Кто там? — деланно, будто не узнавая, спросил голос.

— Я! Я — Скворцов. Откройте скорее...

Скворцову почудилась за дверью возня.

— Да отворите же!

— Я не одета, Ипполит Николаевич. В чем дело?

«Она простит», — внезапно подумал он и тронул дверь. Первое, что бросилось ему в глаза, была кровать — она была несвежа и смята. В утреннюю берлинскую гниль, мертвым ядом натекавшую в окна, вливался сине-белый свет газа. Татьяна Егоровна стояла у окна. На ней было надето ее пальто — прямо на рубашку: зябко проступали колени в белом в распахнувшийся прорез. Волосы, соткнутые одной шпилькой, размотались по плечам облезлым войлоком, у глаз, блестящих насмешливо, залегли черные круги. В первый момент Скворцову показалось, что она в очках. «Какая нелепость!» — удивился он, разглядев. На столе, заплесканный цвелыми пятнами пива, вонял обкусанный сыр.

Скворцов в нерешительности подался назад. Ему пришло в голову, что она ждала его. Стояла у окошка чуть-чуть покачивая головой, притопывая ногой — голый, в ночной туфле.

— Я пришел к вам... — хотел он выговорить, но не сказал ни слова.

Остановился у дверей, сжав сразу вспотевшие руки. Глаза его налились блеском нестерпимым, лихорадочным...

— Ну-с, — сказала, наконец, она, — зачем пожаловали, дорогой мой?

— Татьяна Егоровна?

В вопрос он вложил все: тоску, жалость, любовь, надежду. Никогда в жизни ему не приходилось говорить так проникновенно. В мертвенном сиянии газа лицо ее было ужасным. Лицо трупа глядело, тронутое насмешливой улыбкой. И в ужасе подался он вперед, неловко загромыхав сапогами, чтобы пасть на колени, позвать к жизни, которая так радостно предстала в мыслях.

— Та-ть-яна Егоровна!

Женщина повела ресницами и сказала:

— Я давно вас жду. Сядьте...

Она заговорила тихим, жалящим шепотком:

— Вы помните, как уговаривали меня уйти прочь — сюда, где бьется живая жизнь, где ясно горят по вечерам фонари, огни театров, где так свободно дышать, и нет грибов и еловых шишек? Вы помните это? Помните, как старательно утюжили свой галстук и пришивали пуговицу к воротнику, которой не было? Как убедительно говорили о том, что бежит за проволокой лагеря вольная жизнь — как приманчива она, как опьянительна она, и что место мое в ней... в жизни... в живой...

Она почти ласково тронула его за плечо:

— Помните, Ипполит Николаевич?.. Этими вот словами зажгли вы меня... И когда Ваня... Ваня ушел, с какой силой проснулась во мне опять жажда этой простой, понятной, человеческой жизни! Я мечтала о том, как покрою мою кровать белым одеялом, уберу свою комнатку — всю в белое, по утрам буду бегать на службу и бойко стучать на машинке... А вечером в ласковой тишине почитаю книжку, всплакну о прошлом, полюблю... И буду ждать, что вот придет он... милый, самый нежный, неловко постучит у дверей, а я почувствую, сердце мое оборвется как мышь... А потом мы сядем вместе вот в этом углу, я положу ему голову на плечо и буду тихо рассказывать, что счастье — маленькая птичка, и, может быть, не нужно для него ни родины, ни веры, ни богатства — нужно только пригреть счастье, если сядет оно на плечо человека...

Скворцов видел волосы ее у самых своих глаз. Они разметались пламенем — светлые, как вымоченный лен, ласкали щеки, упрямо налезали в глаза щекочущей слезой.

— И каждый вечер, когда к окошку подкрадывались сумерки, я садилась вот здесь, на этом диванчике, не запирала дверей и вздрагивала от каждого шороха... Я та-

кая маленькая, такая обыкновенная женщина — и разве мне много нужно? Всего только каплю ласки, одну самую маленькую каплю ласки... Ведь я еще совсем, совсем не жила...

— Родная, — подумал Скворцов с жалостью.

— Ведь я всю жизнь — все куда-то бежала... Сначала на войне, потом в России... Мне все казалось, что придет когда-нибудь день, и этот мертвый мой бег закончится, я остановлюсь на маленьком кусочке живой жизни, своей рукой уберу комнатку, покачаю в ней колыбель... Покачаю колыбель, правда же, мой милый? И все-все окажется сном: и война, и революция, и шторм на море, и кровь, и аэропланы, все огромное и нелепое, что нагромоздили для войн и революций люди, — проснусь к ясному утру, подбегу к окну и скажу милому дню: «Здравствуй, мой милый день!» Как хорошо! Здравствуй, мой милый день! Повторите вслух сейчас же, я хочу слышать как вы скажете! Ну... Здравствуй...

— Здравствуй, — глухо сказал Скворцов.

— ... Мой милый день!

— ... Мой милый день...

— Видите, как хорошо выходит. А потом подойти к нему, к милому — спит крепким, утренним сном... Голова у него большая и умная, такая как у вас... Прядь лежит наискосок к закрытым глазам... поцеловать в голову... Вот так. Стойте... Поцелуем жены, поцелуем счастливой женщины..

— Таня...

— Постойте... Это были самые лучшие дни моей жизни... я так мечтала об этом в лагере... И если бы он пришел однажды...

Она вдруг оттолкнулась обеими руками.

— Какая бы страшная ложь это была. Вы знаете...

— Это было бы еще больше, чем ложь Вани... Поманить живой жизнью мертвую... Ах, милый... Я так много передумала за это время. Вы знаете...

К самым его губам придвинулись бледные ее бескровные губы. Лицо блестело синим пятном — от утра, клейко наползавшего в окно, от газа...

— Мне кажется, что я давно, давно умерла. Ну, разве я могла бы побегать теперь по полю навстречу ржи, рвать васильки и петь, петь, запрокинув голову в небо?

Я как-то девочкой собирала камни на берегу. Никого кругом не было. Я швыряла эти камни, они летели по воде, отскакивая... как смешно вспомнить! Разве это я? Отчего так? А?

— Когда Ваню посадили в чрезвычайку, и я поехала за ним, не зная — мертвый он или живой — вы знаете... Я тогда в первый раз почувствовала, что души у меня нет, что ее как будто выпили... И когда матрос сказал, что он может выпустить Ваню, если... Если я приду к нему ночью, и тихонько сунул мне перед дверью адрес... Я пошла к нему просто, мне было все равно... Вы знаете... — Я не чувствовала никакого ужаса. Он мял меня как вещь, я, выйдя утром, пошла по Лубянке вверх и ела яблоки, которые он мне дал на дорогу. Мне было все равно, я была как мертвая... С той поры я заметила в себе это. И когда я опомнилась — я ужаснулась: боже мой, неужели я умерла?... Я перестала запоминать краски и цвета, ни утренняя радость леса, ни солнце, ни весна — ничто меня не радовало. Я жила с того времени как в забытьи, если бы подошел ко мне человек и взял меня за руку, — я пошла бы за ним покорно, не спрашивая, куда он меня ведет, и только когда Ваня ушел, — в последний раз приподнялась мертвая крышка, и я увидела, что жизнь идет мимо, жизнь все идет... Помните, — как хорошо вы говорили о том, что мимо идет жизнь? А ведь как хотелось поверить в живую жизнь, в чудо воскресения из мертвых... И как благодарна я вам, что вы не пришли, не обманули меня этой чудовищной ложью. Разве бывает воскресение из мертвых? Ми-илый...

Скворцов приник головой к ее волосам — каменный в нестерпимом забытьи. Безрадостная и смешная — шевельнулась на реснице слеза, наползая к щеке.

— Вы о нем, милый? Вы меня любите?..

Он с покорностью кивнул головой.

— Хотите — я отдамся вам? Возьмите меня всю — я буду смотреть в ваши глаза, я буду рада, если они станут счастливыми... — Вот, поцелуйте здесь... — Я согрею вашу голову поцелуями... Расскажу о ржи, о васильках... Разве вы еще помните, как в июньскую пору цветут васильки?

Чувствуя, что он падает, что круги — давешние, красные, испугавшие на улице жизнерадостного немца

с сигарой, поплыли опять с настойчивой последовательностью, и заплетают его в немой круг, и увлекают, — Скворцов встал и, не отвечая, пошел к дверям, боясь пасть на пол, с жадностью хватая руками голубой, мертвенный зрак.

XVIII

Вернувшись в лагерь, Скворцов слег. Перед забытьем — последним воспоминанием он помнил еще, как трепались над ним озабоченные космы Зиновии Павловны, как будто гляделось еще в окно солнце — блеклое и тупое. Потом все провалилось в пустоту.

Когда он очнулся — была ночь. С жадностью он поднял голову и, весь уйдя в слух, прислушивался к черной, влипчивой тишине. В бараке тянулись нити жизни по-прежнему, все так же плакал ребенок, заходясь в коклюше, старческий шепот колотился подстреленными крыльями в бесплодной молитве, в окна царапался дождь, как вчера...

И когда вышел в первый раз на двор, пошатываясь, мутным взглядом обвел все: — бараки — черные перевернутые гробы, решетку окон, перевитую веселенькой геранью, рубашки, штаны — развешенные по заборам — он понял вдруг, что из жизни этой ему не уйти, что круг ее замкнут, и мертв в нем бег человека. От привычных понятий: долг, родина, привязанность, семья — не осталось как будто ничего. Слово было дурной сон, и во сне этом он запутался. Проснулся — земля, поле, лежит он в поле голый, а рядом на опушке единственно осязаемая вещь — сапоги... Он протянул за ними руку и подтащил их к лицу. Сейчас он совершенно отчетливо представлял себе душевное состояние Кузнецова — по-прежнему тот сидел каменной тумбой подле помойки... Взгляд оловянный, веки опухли... Смотрят глаза — не смотрят... Копошится ли какая-нибудь мысль под захлобученным на самые уши картузом, да и надо ли, чтобы она копошилась?.. Человек помирился со всем, накрепко... Сечет в лицо дождь, голод и болезни — сторожат лагерь кругом, и каждый шаг в нем мертв, и каждая мысль бесплодна, — неподвижен и каменен его лик. Большие, отворенные глаза мертво смотрят в пустоту, сами изощедшие из пустоты...

— Замечательная вещь, — подумал Скворцов, проходя мимо и снимая шапку. Кланялся он терпению и кротости человека низко.

Кузнецов едва кивнул, не моргая.

Оправившись, полюбил он прогулки, уходил вместе с Зиновией Павловной в звонкий, на ветрах плачущий лес, глядел часами, как стынут на реке отраженные облака, шуршат деревья красным, опадающим листом. И найденный в буграх гриб, и просинь холодеющего неба, рвавшая зубастую изгородь оголенных стволов, и всплеск шалеющей от стужи рыбы на реке, — заливали сердце радостью. Из глаз лились глупые слезы, руки заходились мелкой дрожью.

— Старость, батюшка, — говаривала Зиновия Павловна.

Старики почти не расставались. Скворцов перешел к старухе, по ее выражению — «на полное иждивение». Незаметно для себя он подчистился, постриг бороду, легшую в опрятной старости на жилет, в глазах его обозначилась грусть, масляная покорность... Уходя по грибы, он сам нередко окликал старуху:

— Пойдем, старая, по земному шару...

И шли вдвоем — она все в том же купальном халате, в меховой авиаторской шапке, — бог ее знает, как досталась ей такая шапка? — в мужских американских сапогах, елозивших по мягкой, ускользящей земле. Он шагал рядом, неся две корзинки — старухину и свою, дымил трубкой, зорко поглядывал под каждый куст.

— Ишь, где притаился красавец!

— А ну-ка я его...

— Постой, постой, старая... Опять корешок обломишь.

Он бережно припадал к грибу на колени, разгребал мокрую паутину хвой и наставительно говорил:

— Гриб, Зиновия Павловна, надо брать с толком... Гриб, Зиновия Павловна, очень деликатный предмет...

У любимого своего озера они отдыхали. Озеро курилось как блюдце осенним смертным туманом. В спутанной его резке лапчатые вздрагивали лилии. За озерком, — вправо от синей стены леса, — кидалось поле, перехваченное волдырями бугров по дальним своим, подмывавшим желтой щетиной небо, горизонтгам. Вид на поле называли они — видом на землю.

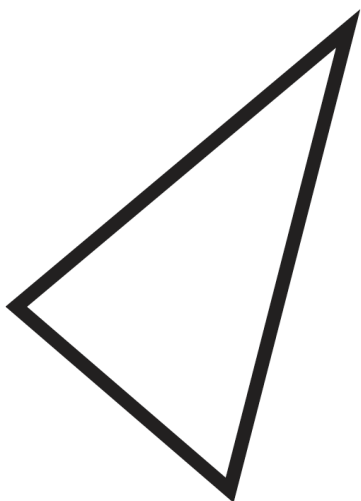
Чаще они сидели молча. Зиновия Павловна перебирала в корзинках грибы, счищала грязь перочинным ножом. Скворцов полулежал на кочке, попыхивая трубкой, следя, как ранние сумерки жадно припадали к земле, стягивая тугие бугры ее жгутами раннего мороза. Над головами их — качались верхушки леса, звеня ветвями на холоде.

Мимо шла жизнь — своя. Желтыми глазами окон глядело в непогоду село. От дальних фабрик тянуло дымом, там, где-то — далеко, по металлическим наковальням перезванивались молотки, храпела лошадь, подбрехивали собаки... Над селом поднимался вечер, нес с собою уют оттрудившейся жизни и теплоту. Беззлобными, простившими глазами глядели на бегущую мимо жизнь два старика с опушки леса — чужие ей, одинокие в просветленной своей радости.

*Berlin — Swinemünde,
1922*

Вместо
послесловия

Максим
Горький



Русская жестокость

362

Я видел и пережил много жестокостей. Я никогда не мог понять сущности жестокости. Всю жизнь меня мучил этот вопрос: где дно ее, из каких инстинктов вытекает человеческая жестокость?

Когда-то давно я прочел книгу под зловещим названием: «Прогресс — эволюция жестокости». Автор пытался доказать посредством целого ряда художественно сопоставленных и истолкованных примеров, что прогресс человечества содействует выявлению скрытого в крови человека наслаждения — мучить себе подобных телесно и духовно. Я с негодованием читал эту книгу, она меня не убедила, и скоро парадоксы эти изгладились в моей памяти.

Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых оргий революции, теперь я опять задумался об этих парадоксах. Но нужно заметить, что именно в русской жестокости никакого, кажется, прогресса нет; ее формы не изменились.

В начале XVII века в России практиковались следующие способы пытки: в рот жертве набивали порох и поджигали. У женщин разрезывали груди, через раны протягивали веревки и потом вешали жертву за эти веревки.

В 1918—1919 годах те же самые способы практиковались на Дону и на Урале: замучивали своих жертв до смерти — вбивая в пищевод патроны и поджигая их.

Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера — жестокость, так же, как юмор — превалирующая черта английского национального характера. Это — жестокость специфическая, это — своего рода хладнокровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивления, силы жизненности.

Самая характерная черта русской жестокости — художественная изобретательность, дьявольская утонченность. Вряд ли можно объяснить эту особенность словами «психоз», «садизм» и др. Эти слова ничего не объясняют... Последствия алкоголя? Я не думаю, чтобы русский народ был более отравлен алкоголем, чем другие европейские народы, хотя нужно оговориться, что действие алкоголя на психику в России должно быть разрушительнее, чем где бы то ни было, т.к. в России питание простого народа хуже, чем в других странах.

Единственное, что способствует, по моему глубокому убеждению, развитию утонченной жестокости в России, это чтение житий святых, мучеников — излюбленное занятие наших грамотных крестьян.

Я говорю о жестокости не как о проявлении вовне извращенной или больной души отдельных индивидуальностей, такие случайности — дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости.

В одной сибирской деревне крестьяне придумали следующее: вырыли целый ряд ям, поместили в них, головой вниз, пленных красноармейцев, потом засыпали ямы землей наполовину, так что из земли торчали только

ноги до колен. После этого они с любопытством следили за судорогами ног; по этим судорогам они могли судить о степени выносливости жертв.

В Тамбовской губернии пленных коммунистов прибивали гвоздями к стволам деревьев — гвозди вбивались только в левую руку да левую ногу, — и люди забавлялись видом того, как «полураспятые» бились свободной рукой и ногой...

Одного пленного пытали следующим образом: разрезали живот, вытащили конец тонкой кишки и гвоздем прибили к дереву (или телеграфному столбу); потом гнали несчастного вокруг дерева (или столба), наблюдая, как кишка выматывалась через рану.

Часть пленных офицеров была раздета донага; на плечах вырезали куски кожи величиной с погон и на место звездочек вбили гвозди. Потом содрали кожу на ногах полосами-ремнями — «лампасами». Эта операция повторялась потом часто и стала обыкновенным явлением. Это называлось «надеть мундир». Несомненно, эта операция требовала немало времени и большой ловкости.

Таких и еще худших злодеяний развелось в России в последние годы множество; я не буду приводить более примеров.

Кто жесточе — красные или белые? Вероятно, одинаково, потому что все они — и красные и белые — одинаково русские.

Впрочем, на вопрос о степени жестокости дам определенный ответ. Именно: чем активнее, чем действеннее, тем жесточе...

Я не знаю, существует ли такое место на земле, где бы с женщиной обращались ужаснее и беспощаднее, чем в русской деревне, и, наверное, нигде нет такого множества таких жутких поговорок, как в России: «Бей ее дубиной, — бей, брат! Посмотри, дышит ли? Врет она, шельма, ей еще хочется!» «Баба любя, как в дом ведешь да как на кладбище несешь». «За бабу да скотину и суда нет». «Хочешь вкусно поесть — поучи свою бабу».

В русской деревне — сотни таких афоризмов, содержащих в себе накопленную веками народную мудрость. Дети слышат их ежедневно, на них воспитывается молодежь.

И с детьми в деревне обращаются ужасно. Когда недавно я заинтересовался статистикой преступлений в Московской губернии и перелистывал судебные протоколы за десять лет — 1901—1910, — ужаснулся того огромного числа случаев жестокости по отношению к детям и других преступлений над несовершеннолетними. Вообще, в России любят бить — безразлично кого. «Народная мудрость» видит в избиении человека что-то крайне необходимое и полезное. «За битого двух небитых дают», — гласит поговорка.

Я неоднократно спрашивал участников гражданской волны, не противно ли им убивать друг друга.

Ответ бывал всегда один и тот же: «Нет, нам не противно. У него оружие — и у меня оружие: мы в равных условиях. Что из того, что мы убиваем друг друга. На земле еще довольно нашего брата останется».

Однажды я обратился с этим вопросом к солдату, участвовавшему в европейской войне, а впоследствии получившему в командование большую красноармейскую часть. Он дал мне следующий весьма оригинальный ответ: «Что внутренняя война! Вот война с чужими — это совсем другое, эта за душу хватает. Я вам правду скажу, товарищ: русского убить ничего не стоит; у нас людей хоть отбавляй, и делá у нас дрянь. Например, вот тут деревня — пропади она пропадом, куда она годна, кому она нужна? И вообще, всё наше хозяйство, и все наши дела, и всё — ну их к черту! Другое дело — у пруссаков. Когда мы шли на них, ох и жаль мне было этого народа! Их деревней, их городов — и, вообще, их устройства! Что за чудный порядок! А мы все это разрушили. И за что?.. С ума сойти можно было... Я рад был, когда меня ранило, — не участвовать больше в этом безумии... Потом я побывал на Кавказе. Там нам попадались и турки, и другие черти черные — жалкий народ все, а вот — всё зубоскалит, и черт знает почему. Мне было их жаль — каждому ведь свое. Каждый имеет свою манеру, не правда ли? Каждый — свою жизнь...»

Этот человек был по-своему человеколюбив: он хорошо относился к своим солдатам; они любили и уважали его, и сам он любил свое военное ремесло.

Я попробовал рассказать ему о России и ее значении в мире. Он слушал, задумавшись, куря свою папироску.

Наконец его глаза сделались грустными, и он вздохнул. «Да, конечно, — сказал он, — когда мы имели сильную государственную власть, мы представляли из себя нечто. А теперь? Теперь мы беспомощны, как крысы».

Я думаю, война создала немало такого рода людей, и наши бесчисленные «массовые вожди» — именно такие люди...

Когда речь идет о русской жестокости, нельзя обойти молчанием еврейские погромы. Тот факт, что еврейские погромы организовывались с одобрения глупых, подкупленных представителей власти, не извиняет ничего и никого. Те дураки и негодяи, которые разрешали грабить и бить евреев, не призывали к пыткам, не призывали отрезать груди у евреек, убивать их детей или вбивать гвозди в лоб евреям. Все эти кровавые ужасы являются плодом инициативы самих масс.

Но где же — спрашивается наконец — тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убежденно описывала русская литература XIX века?

В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но — я его не нашел. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который, когда это бывало ему выгодно, умел прикидываться дураком. От природы он далеко не дурак, этот мужик, — и он знает это. Он сочинил много печальных песен, много суровых, диких, жестоких былин и составил тысячи поговорок, в которых нашли себе выражение его тяжелые, утомительные жизненные опыты.

Он знает, что «мужик — не дурак, а мир — овца» и что «мир силен, как река, а глуп, как свинья».

Он говорит: «Не бойся черта, а бойся человека» и «бей своих, бойся чужих».

О правде он не особенно высокого мнения: «Правда не кормит», «Хоть кривда, да кормит» и т.д.

Таких и подобных афоризмов у него тысячи, и он при всяком удобном случае умеет воспользоваться ими; он слышит их постоянно с детства и уже с детства чувствует, сколько в них суровой истины, горькой печали и презрения к человеку. Люди — особенно городские — мешают ему жить; он считает их лишними на земле — на той земле, которую он любит мистической любовью и в которую

верит мистической верой. Земля, с которой он органически связан и душой и телом, которая — «его кровная собственность», — эта земля хищнически отнята у него. Русский крестьянин, еще задолго до лорда Байрона, знал, что «пот крестьянина дороже, чем имущество господ».

Наша народническая литература, со своей идеализацией крестьянина, преследовала определенную политическую цель. Но уже в конце XIX века в отношении литературы к деревне и крестьянину произошла перемена — литература стала менее жалостливой и более искренней. Новый взгляд на простонародье проводится уже Антоном Чеховым в его рассказах «Мужик» и «Бездна».

В первых годах XX века выходит том рассказов «Деревня» — одного из величайших русских художников слова Ивана Бунина. В этих рассказах, особенно в «Ночном разговоре», высказывается новый, почти критический взгляд на крестьянина, в этом рассказе — истина неприкрашенная.

Бунина обвиняли в аристократизме, говорили, что он как аристократ относится к мужику отрицательно, даже враждебно. Конечно, это — неверно. Бунин в высшей степени художник, исключительно художник.

Но в русской литературе настоящего столетия найдутся еще более ужасные доказательства духовной темноты русской деревни. Я особенно хочу указать на рассказ «Юность» орловского крестьянина Ивана Вольного и на рассказы москвича Семена Подъячева и сибиряка Всеволода Иванова. Этих писателей нельзя ведь заподозрить в аристократической вражде к мужику, все они из крестьян и принадлежат деревне телом и душой. Лучше, чем кто-либо, знают и понимают они жизнь простого народа, деревенские горести и грубые радости, слепоту разума крестьянина и жестокость его чувств.

Я заканчиваю эту невеселую статью рассказом: один участник научной Уральской экспедиции 1921 года сообщил мне: один из крестьян деревни, где останавливалась экспедиция, обратился к нему со следующим вопросом: «Вот вы ученый, разъясните мне. На прошлой неделе башкир один убил мою корову. Я, конечно, убил башкира, а потом забрал его корову. Скажите мне теперь: могут меня засудить за корову эту?»

Когда его спросили, не боится ли он, что его засудят за то, что убил башкира, мужик спокойно ответил: «Люди в нынешние времена дешевы».

Характерно тут слово «конечно». Убийство стало совсем обычным явлением, оно вошло в привычку. В этом ужас всей гражданской войны, всего грабежа.

Еще маленький пример, как деревенская мысль приспособляется к новым идеям. Деревенский учитель, сын крестьянина, пишет мне: «Так как известный ученый Дарвин научно подтверждает необходимость немилосердной борьбы за существование и ничего не имеет против удаления из жизни слабых и бесполезных людей, и так как в старину морили стариков голодом в землянках или сажали их на высокие деревья, чтобы потом отрясти их — и убить, то я хочу предложить удаление ненужных людей из жизни более человеческим способом — так как я протестую против всякой жестокости. Мое предложение: отравлять вкусным ядом. Такие методы смягчили бы борьбу за существование. Таким манером нужно бы действовать и по отношению к слабоумным или идиотам, к обойденным природой и, может быть, также к неизлечимо больным, горбатым, слепым и т.д. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей интеллигентной молодежи, но пришло время перестать считаться с их консервативными и контрреволюционными идеалами. Содержание бесполезных людей стоит народу слишком дорого, оборот этого товара нужно привести к нулю».

Многие сейчас в России выступают с такими и подобными письмами, проектами и просьбами. Они действуют удручающе, почти ошеломляюще, но, отбросив эту дикость, они все же дают ощущение, что мысль в деревне проснулась и что она, хотя еще грубая и молодая, начала работать в направлении, совершенно чуждом деревне до сего времени. Деревня пытается думать о государстве и его целях.

В 2017 году в серии «Русское поле экспериментов»
выйдет несколько сборников, посвященных событиям
первых лет Советской России:

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

1917 ГОД ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ

КРАСНАЯ НОВЬ.

КРЕСТЬЯНСТВО НА ПЕРЕЛОМЕ (1920-е)

БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ.

НА ЗАРЕ КРАСНОГО ТЕРРОРА

СИБИРЬ В ОГНЕ.

РАССКАЗЫ 1920-х ГОДОВ ИЗ ЖУРНАЛА

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»



common place

издательская инициатива /
волонтерский DIY-проект

Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах
«Фаланстер», «Смена», «Все свободны», «Бакен»,
«Факел», «Пиотровский», «Подписные издания»,
«Кирпич»

Больше информации о проекте на сайте common.place

ВОЛЬНИЦА

Гражданская война
в забытой прозе
1920-х годов

В оформлении книги использована литогравиюра
К.К. Чеботарева из альбома «Революция» 1921 года
(собрание Галеев-галереи, г. Москва)

Выпускающий редактор — Мария Глушкова

Редакторы — Екатерина Коморникова,
Роман Матвиенко, Никита Голиков

Оформление серии — Евгения Ставицкая

Подписано в печать 04.06.2017
Формат 84x108/32
Тираж 300 экз.
Заказ № 161

commonplace1959@gmail.com

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 221-89-80